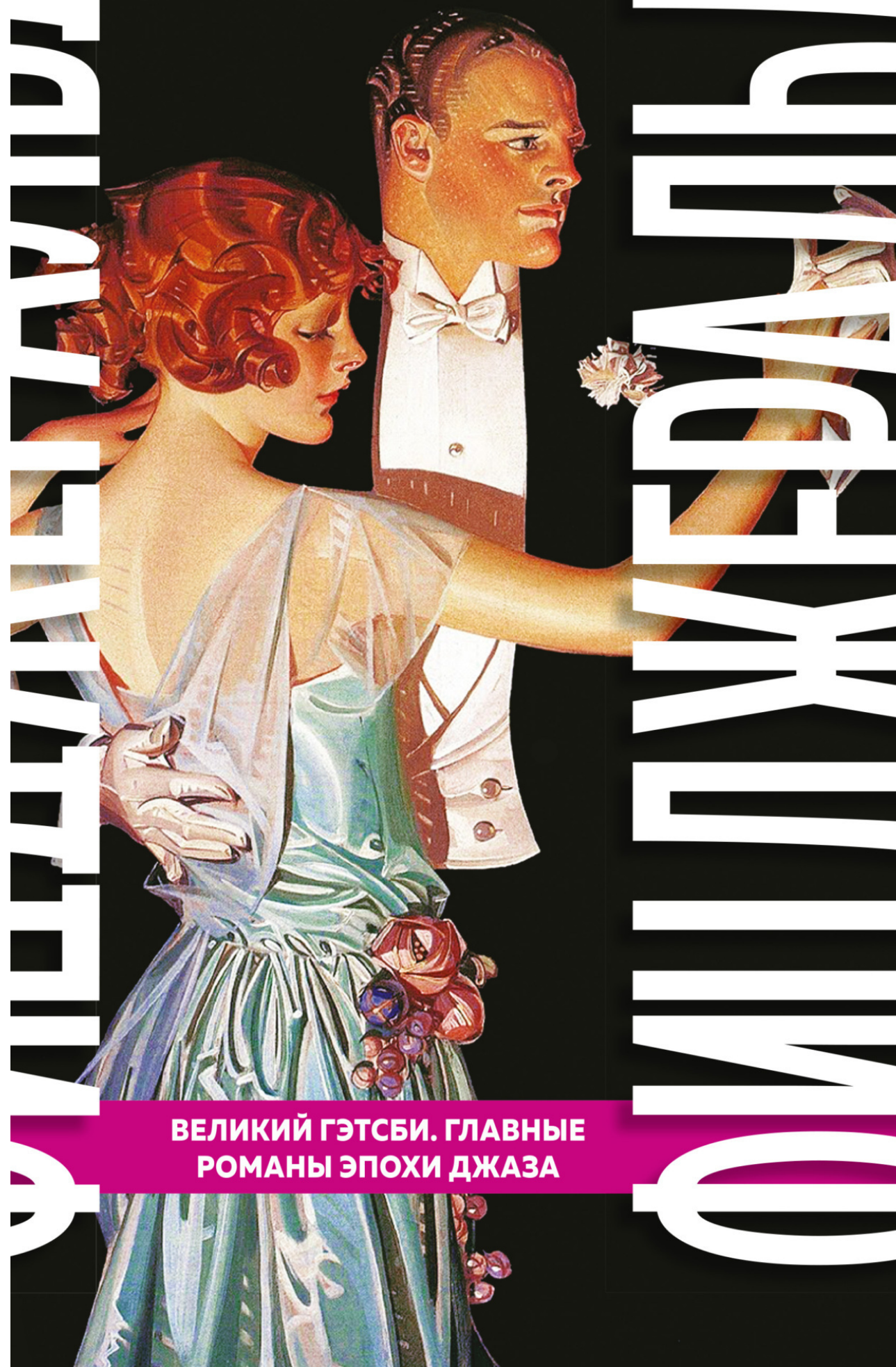


ТАНЦЕРЯ ИШЖЕ Ф

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. ГЛАВНЫЕ
РОМАНЫ ЭПОХИ ДЖАЗА



Большие буквы

Фрэнсис Фицджеральд

**Великий Гэтсби. Главные
романы эпохи джаза**

«ЭКСМО»

1920, 1922, 1925, 1934

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Фицджеральд Ф. С.

Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза /
Ф. С. Фицджеральд — «Эксмо», 1920, 1922, 1925,
1934 — (Большие буквы)

ISBN 978-5-04-159319-3

В книге представлены 4 главных романа: от ранних произведений «По эту сторону рая» и «Прекрасные и обреченные», своеобразных манифестов молодежи «века джаза», до поздних признанных шедевров – «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». «По эту сторону рая». История Эмори Блейна, молодого и амбициозного американца, способного пойти на многое ради достижения своих целей, стала олицетворением «века джаза», его чаяний и разочарований. Как сказал сам Фицджеральд – «автор должен писать для молодежи своего поколения, для критиков следующего и для профессоров всех последующих». «Прекрасные и проклятые». В этот раз Фицджеральд знакомит нас с новыми героями «ревуших двадцатых» – блистательным Энтони Пэтчем и его прекрасной женой Глорией. Дожидаясь, пока умрет дедушка Энтони, мультимиллионер, и оставит им свое громадное состояние, они прожигают жизнь в Нью-Йорке, ужинают в лучших ресторанах, арендуют самое престижное жилье. Не сразу к ним приходит понимание того, что каждый выбор имеет свою цену – иногда неподъемную... «Великий Гэтсби» – самый известный роман Фицджеральда, ставший символом «века джаза». Америка, 1925 г., время «сухого закона» и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. Но для Джея Гэтсби воплощение американской мечты обернулось настоящей трагедией, а путь наверх, несмотря на славу и богатство, привел к тотальному крушению. «Ночь нежна» – удивительно тонкий и глубоко психологичный роман. И это неслучайно: книга получилась во многом автобиографичной, Фицджеральд описал в ней оборотную сторону своей внешне роскошной жизни с женой Зельдой. В историю моральной деградации талантливого врача-психиатра он вложил те боль и страдания, которые сам пережил в борьбе с шизофренией супруги... Ликующая,

искрометная жажда жизни, стремление к любви, манящей и ускользающей, волнующая погоня за богатством, но вот мечта разбивается под звуки джаза, а вечный праздник оборачивается трагедией – об этом такая разная и глубокая проза Фицджеральда.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-159319-3

© Фицджеральд Ф. С., 1920, 1922,
1925, 1934

© Эксмо, 1920, 1922, 1925, 1934

Содержание

Великий Гэтсби	7
Глава первая	7
Глава вторая	18
Глава третья	26
Глава четвертая	37
Глава пятая	47
Глава шестая	55
Глава седьмая	63
Глава восьмая	80
Глава девятая	88
Ночь нежна	98
Часть первая	99
I	99
II	102
III	105
IV	107
V	111
VI	113
VII	117
VIII	121
IX	122
X	125
XI	127
XII	130
XIII	133
XIV	136
XV	137
XVI	140
XVII	143
XVIII	146
XIX	149
XX	153
XXI	157
XXII	159
XXIII	163
XXIV	164
XXV	168
Часть вторая	171
I	171
Конец ознакомительного фрагмента.	174

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Великий Гэтсби. Главные

романы эпохи джаза

- © Ильин С., перевод на русский язык. Наследники, 2021
- © Лорие М., перевод на русский язык. Наследник, 2021
- © Савельев К.А., перевод на русский язык, 2021
- © Шевченко А.С., сопроводительная статья, 2021
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Великий Гэтсби

*Надень золотую шляпу и скачи перед ней,
Пока она не скажет: «О возлюбленный мой!
О мой возлюбленный златошляпный прыгун,
Я буду навек с тобой!»*

Томас Парк Д'инвильерс¹

Глава первая

В пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени нейдет у меня из головы. «Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, – сказал он, – вспоминай, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю».

Вот и все, что он мне сказал, впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословьем, и потому я понял: отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений – привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хотя она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Владелец не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я их откровений отнюдь не искал и нередко, едва поняв по некоторым безошибочно узнаваемым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность; ведь интимные исповеди молодых мужчин или, по крайней мере, выражения, в которые они облачаются, как правило, отдают плагиатом либо основательно замутняются очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений – значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец и не без тщеславия повторяю я: что краеугольное качество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну.

Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундамент крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира: желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застывал по стойке «смирно», а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби, тот, именем коего названа эта книга, – Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по непрерывной череде удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее, обостренная восприимчивость к посулам жизни; он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в десяти тысячах миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура», – она была поразитель-

¹ Псевдоним Ф. С. Фицджеральда, герой его якобы автобиографического романа «По эту сторону рая» (1920).

ным даром надежды, романтической готовности ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете, Гэтсби оказался человеком замечательным – это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, – она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам наделенных куцыми крыльями людей.

Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Каррауэи – это подобие клана; согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в пятьдесят первом, отправивший кого-то взамен себя на Гражданскую войну и основавший оптовую торговлю скобяным товаром, возглавляемую ныне моим отцом.

Двоюродного дедушку мне видеть не довелось; предполагается, однако ж, что я похож на него, – доказательством служит довольно топорной работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получила название Мировой войны. Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что, и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь не уютным центром вселенной, но ее неказистой окраиной – и потому я надумал поехать на Восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами, вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и наконец постановили: «Ну, что же, д-да», сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение. Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной двадцать второго я отправился на Восток – навсегда, как я полагал.

Разумнее всего было подыскать жилище в городе, однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал выдавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному. У меня была собака – во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбежала, – старенький «Додж» и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости.

День-другой мне было одиноко, но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня.

– Не скажете, как попасть на Вест-Эгг? – сокрушенно осведомился он.

Я объяснил. И продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством: я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу.

В то утро, под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной киносъемке, ко мне вернулась привычная уверенность: с летом жизнь начинается заново.

Мне предстояло прежде всего столь многое прочитать, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные с золотом, похожие на только что отчеканенные монеты, обещающая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе – в один год написал даже для «Йель-

Ньюс» несколько весьма напыщенных и тривиальных передовых статей, – и теперь собирался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов – «широко образованным человеком». И это не праздная ирония – в конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце.

Случай распорядился так, что дом я снял в одном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном, бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на восток, – здесь среди прочих причуд природы имеется два необычных геологических курьеза. В двадцати милях от города во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд – а это самое обжитое в Западном полушарии морское пространство, – вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям «яиц», разделенных бухтой, каковую местные жители с учтивой снисходительностью именуют «заливом». Подобно колумбовым, совершенной овальностью эти «яйца» не отличаются, оба слегка приплюснуты со стороны «залива», однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера.

Я жил в Вест-Эгг, бывшем, как бы это сказать... менее фешенебельным, чем Ист-Эгг, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух островов. Дом мой стоял на самой оконечности «яйца», не более чем в пятидесяти ярдах от Пролива, и был затиснут между двумя огромными дворцами, которые сдавались за двенадцать, а то и пятнадцать тысяч в сезон. Возвышавшийся справа, колоссальный по каким угодно меркам, был, на деле, имитацией нормандского Hôtel de Ville² – с фланговой башней, новизна которой просвечивала сквозь реденькую бородку юного плюща, мраморным бассейном и сорока с лишком акрами лужаек и парков. То была обитель Гэтсби. Правильнее сказать, поскольку знакомство с мистером Гэтсби я свел не сразу, то была обитель джентльмена, носившего эту фамилию. Мой же дом представлялся бельмом на глазу, однако бельмом маленьким и потому его проглядели, а я получил возможность наслаждаться видом на Пролив и на кусочек одной из лужаек моего соседа. Утешительная близость к миллионерам – и всего за восемьдесят долларов в месяц.

На другом берегу «залива» посверкивали выстроившиеся вдоль воды белоснежные дворцы фешенебельного Ист-Эгг, и начало истории того лета пришлось, по сути, на вечер, когда я отправился туда, чтобы пообедать с мистером и миссис Том Бьюкенен. Дэйзи приходилась мне троюродной племянницей, а Тома я знал по университету. Кроме того, сразу после войны я провел с ними два дня в Чикаго.

Муж Дэйзи, обладатель множества физических достоинств, был одним из самых мощных тайт-эндов, какие когда-либо играли в футбольной команде Нью-Хейвена – фигурой масштаба, в некотором роде, национального, одним из тех, кто в двадцать один год достигает таких, пусть и до крайности узких, но высот, что дальнейшая их жизнь приобретает привкус поражения. Семья Тома была несусветно богата – даже в колледже его безудержное мотовство порождало множество нареканий, – ныне же он покинул Чикаго ради Востока с размахом попросту ошеломительным: перевезя, к примеру, из Лейк-Фореста целый табун пони для игры в поло. Трудно представить, что человек моего поколения может быть богат настолько, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Что привело их на Восток, я не знаю. Они прожили, без какой-либо на то причины, год во Франции, а после их словно вихрь какой-то носил по местам, где богатые люди играют в поло и упиваются обществом друг друга. Это последний переезд, сказала мне по телефону Дэйзи, однако я ей не поверил – читать в ее сердце я не умел, но чувствовал, что Том так и будет носиться по свету, выискивая без особой веры в успех драматическую взвинченность какого-то невозвратимого футбольного матча.

² Городской особняк (фр.). – Здесь и далее примечания переводчика.

Оттого и случилось, что теплым ветреным вечером я отправился на Ист-Эгг повидать двух давних знакомых, которых почти не знал. Дом их оказался изукрашенным даже пуще, чем я полагал, – то был глядевший на «залив» праздничный, красный с белым особняк георгианской колониальной поры. Лужайка начиналась от пляжа и на протяжении четверти мили взбегала к парадной двери, перепрыгивая через посыпанные толченым кирпичом дорожки, огибая солнечные часы и горевшие множеством красок сады, – и наконец, когда я достиг особняка, вспорхнула яркими виноградными лозами по его боковой стене, словно не сумев приостановить свой бег. Фасад прорезала череда французских окон, распахнутых в теплый ветреный послеполудень и сиявших отражениями золота, а на парадной веранде стоял, широко расставив ноги, одетый для верховой езды Том Бьюкенен.

Он изменился со времен Нью-Хейвена. Ныне это был крепкий тридцатилетний мужчина с соломенными волосами, довольно жестким ртом и высокомерной повадкой. На лице его главенствовали светившиеся надменностью глаза, которые сообщали Тому вид угрожающе подавшагося корпусом вперед человека. И даже дамская щеголеватость наезднического наряда не способна была скрыть огромную мощь его тела – казалось, что икры Тома, неимоверно напрягая шнуровку, до отказа наполняют поблескивающие высокие ботинки, а когда он поводил плечами, видно было, как под тонкой тканью сюртука ходят колоссальные бугры мышц. То было тело, способное на огромные усилия, – жестокое тело.

Голос Тома, резкий хриловатый тенор, лишь усиливал создаваемое им впечатление вздорной капризности. В голосе Тома Бьюкенена звучала – даже когда он обращался к тем, кто ему нравился, – нотка покровительственной презрительности, и я знал в Нью-Хейвене немало людей, которые его на дух не переносили.

«Я, в отличие от вас, настоящий мужчина, да и посильнее вашего буду, – казалось, желал сказать он, – однако из этого не следует, что я всегда прав». Мы состояли в одном тайном студенческом обществе, и, хотя близкими друзьями не стали, мне всегда казалось, что Том неплохо ко мне относится и испытывает смутное желание произвести на меня приятное впечатление, не поступившись, однако ж, своей вызывающей и какой-то тоскливой резкостью.

Несколько минут мы беседовали, стоя на залитой солнцем веранде.

– Недурственным я здесь обзавелся жилищем, – сказал он, окидывая беспокойным взглядом свои владения.

Он развернул меня кругом и обвел широкой плоской ладонью открывавшийся с веранды вид, охватив этим жестом притопленный в землю итальянский парк, пол-акра темных роз, которые наполняли воздух язвющим ароматом, и покачивавшуюся у берега тупоносую моторную яхту.

– Все это принадлежало Демэйну, нефтедобытчику. – Он снова развернул меня, учтиво, но резко. – Пошли в дом.

Пройдясь под высокими потолками вестибюля, мы вступили в яркое, розовых тонов пространство, которое неуверенно удерживали внутри дома французские окна, светившиеся на противоположных его краях. Окна стояли настежь, белея на свежей зелени наружной травы, казалось проникавшей отчасти и в глубь дома. Легкий ветер гулял по комнате, вдувая в нее занавеси на одном конце и выплескивая, как светлые флаги, вовне на другом, скручивая их, взметая к глазированному свадебному торту потолка, а после зыбля над виноцветным ковром, устилая его бегущими, словно по морю, тенями.

Единственным, что хранило в этой комнате совершенную неподвижность, был огромный диван, над которым парили, чуть покачиваясь, точно монгольфьеры на привязи, две молодые женщины. Обе в белом, платья обеих струились и колыхались, как будто их обладательницы только что приземлились здесь, совершив недолгий облет дома. Должно быть, я простоял несколько мгновений на пороге комнаты, вслушиваясь в хлопки и щелчки занавесей, в поставившие картины на стене. Затем раздался гулкий удар – это Том Бьюкенен захлопнул задние

окна, и пойманный в ловушку ветер испустил в комнате дух, и занавеси, и ковры, и две молодые женщины медленно опали из воздуха на свои места.

Той, что была помоложе, я не знал. Она лежала, вытянувшись на своем конце дивана, совершенно неподвижная, чуть приподняв подбородок, словно уравновесив на нем некий предмет, почти наверняка обреченный на падение. Если она и заметила меня краем глаза, то ничем этого не показала – и я, пораженный, едва не забормотал слова извинения за то, что нарушил, явившись сюда, ее покой.

Вторая женщина, Дэйзи, честно попыталась встать – чуть наклонилась вперед, но затем издала нелепый, чарующий смешок, и я, тоже усмехнувшись, вошел в комнату.

– Я п-парализована счастьем.

Она усмехнулась снова, словно сказала нечто до крайности остроумное, на миг задержала мою ладонь в своей, вглядываясь мне в лицо, заверяя меня этим взглядом, что никого на свете ей не хотелось бы видеть так сильно. Обычная ее манера. Тихим бормотком Дэйзи дала мне понять, что увлеченная странной балансировкой женщина носит фамилию Бейкер. (Да, я знаю, поговаривают, будто Дэйзи придумала свой бормоток, чтобы заставить людей склоняться к ней поближе, – пустая придирка, не делающая его менее очаровательным.)

Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она почти неприметно кивнула мне и снова откинула голову назад – надо полагать, та вещь, равновесие которой она старалась сохранить, качнулась, чуть напугав ее. И снова с моих губ едва не сорвались извинения. Почти всякое проявление довольства собой сражает меня, внушая почтительный трепет.

Я взглянул на кузину, и та начала задавать мне вопросы – негромким, проницающим душу голосом. Голосом из тех, за возвышениями и падениями которых слух наш следит поневоле, как если бы каждая произносимая ими фраза была совокупностью музыкальных нот, которая никогда больше не прозвучит. Грустное, миловидное лицо Дэйзи не лишено было живости – живые глаза, живой и страстный рот, – но в голосе пело волнение, забыть которое мужчинам, равнодушным к ней, было трудно: напевный напор, едва различимое «слушай», уверение, будто вот совсем недавно она проделала нечто веселое, волнующее и, подождите часок, – проделает снова.

Я рассказал ей, как по пути на восток задержался на день в Чикаго и как десяток людей, которых я в нем повстречал, просили передать ей сердечный привет.

– Так по мне там скучают? – восторженно вскричала она.

– Город попросту безутешен. Левое заднее колесо каждой машины выкрашено в черный цвет – вылитый похоронный венок – и во всю ночь вдоль Северного берега разносятся стенания.

– Какая роскошь! Давай вернемся туда, Том. Завтра же! – к чему она ни с того ни с сего добавила: – Ты должен взглянуть на малышку.

– С удовольствием.

– Она спит. Ей три годика. Ты ее когда-нибудь видел?

– Никогда.

– Так взгляни непременно. Она...

Беспокойно круживший по комнате Том Бьюкенен остановился, положил ладонь мне на плечо.

– Чем ты занимаешься, Ник?

– Долговыми обязательствами.

– Где?

Я назвал нашу компанию.

– Никогда о них не слышал, – решительно заметил Том.

Меня это рассердило.

– Услышишь, – отрывисто ответил я. – Если останешься на Востоке.

– О, на Востоке-то я останусь, будь уверен, – сказал он, взглянув на Дэйзи, а затем снова на меня, словно в ожидании чего-то еще. – Я был бы черт-те каким дураком, если бы поселился где-то еще.

И вот тут мисс Бейкер объявила: «Безусловно!» – столь неожиданно, что я вздрогнул, – то было первое слово, произнесенное ею со времени моего появления в комнате. Очевидно, ее оно удивило не меньше, чем меня, поскольку мисс Бейкер зевнула и в несколько проворных движений поднялась на ноги.

– Совсем одеревенела, – пожаловалась она. – Сколько себя помню, все лежу и лежу на этой софе.

– Только не смотри на меня с укоризной, – сердито отозвалась Дэйзи. – Я тебя с самого полудня пыталась в Нью-Йорк вытащить.

– Нет, спасибо, – сказала мисс Бейкер четверем коктейлям, как раз в этот миг внесенным в комнату. – Мне безусловно нужно следить за формой.

Хозяин дома уставился на нее, словно не поверив своим ушам.

– Тебе? – Он взял бокал и заглянул в него так, точно там плескалось что-то на самом донышке. – Как тебе вообще удастся чего-то достичь – это выше моего понимания.

Я смотрел на мисс Бейкер, гадая, чего же это она «достигла». Смотреть на нее было приятно. Стройная девушка с маленькой грудью, со станом, прямизну которого она подчеркивала, слегка отводя, точно юный кадет, плечи назад. Она тоже обратила ко мне взгляд серых, прищуренных от солнечного света глаз, и на ее бледном, чарующем, недовольном чем-то лице обозначилось выражение воспитанного ответного интереса. Теперь я сообразил, что где-то уже видел ее – или ее фотографию.

– Вы живете на Вест-Эгг, – надменно произнесла она. – Я там кое-кого знаю.

– А я так ни единого человека...

– Ну, Гэтсби-то вы знать должны.

– Гэтсби? – переспросила Дэйзи. – Какого Гэтсби?

Прежде чем я успел сообщить, что так зовут моего соседа, нас позвали к столу; Том Бьюкенен, властно просунув свою мускулистую руку под мою, повлек меня из комнаты, словно переставляя шашку с одной клетки на другую.

Стройные, неторопливые молодые женщины вышли, слегка подбоченившись, опережая нас, на розовых тонов веранду, глядевшую в сторону заката, подступили к столу, на котором подрагивало под стихавшим ветром пламя четырех свечей.

– А свечи-то к чему? – неодобрительно нахмурилась Дэйзи. И погасила их щелчками пальцев. – Через две недели – самый длинный в году день.

Она обратила к нам вдруг просиявшее лицо.

– Вы тоже всегда ждете самого длинного дня в году, а потом пропускаете? Я вечно жду, а потом пропускаю.

– Нужно будет что-нибудь на него придумать, – предложила, зевнув, мисс Бейкер и присела за стол так, словно в постель улеглась.

– Ладно, – сказала Дэйзи. – А что?

Она беспомощно взглянула на меня:

– Что обычно придумывают люди?

Я еще не успел ответить, как она, с испугом уставившись на свой мизинец, пожаловалась:

– Смотрите! Я поранилась.

Мы посмотрели – костяшка мизинца отливала темной синевой.

– Это твоя работа, Том, – укоризненно сказала Дэйзи. – Я знаю, ты не нарочно, но ты это сделал. Вот что я получила, выйдя замуж за такое животное, за огромный, громоздкий, нескладный образчик...

– Мне не нравится слово «нескладный», – сварливо перебил ее Том, – даже в шутку.

– Нескладный, – упрямо повторила Дэйзи.

Время от времени она и мисс Бейкер заговаривали вместе, с шутливой бессвязностью, однако назвать эти речи пустой болтовней было нельзя, в словах двух женщин неизменно присутствовало то же спокойствие, что и в их белых платьях, в безразличных, лишенных любых желаний глазах. Они были здесь, рядом, они принимали наше с Томом присутствие, они прилагали приятные, учтивые усилия к тому, чтобы развлечь нас или развлечься самим. Обе знали, что обед в скором будущем завершится, а несколько позже завершится и вечер и о нем можно будет забыть. Все это сильно отличалось от запада страны, где вечера торопливо переходят из одной стадии в другую, близясь к концу в сопровождении нервной боязни финала или неизменно обманчивых предвкушений.

– Рядом с тобой, Дэйзи, я начинаю чувствовать себя человеком нецивилизованным, – признался я под второй бокал отдававшего пробкой, бойкого, хоть и впечатляющего кларета. – Ты не могла бы порассуждать о видах на урожай или о чем-то еще в таком роде?

Я и сам не взялся бы объяснить, что хотел этим сказать, однако прием мои слова получили неожиданный.

– Цивилизация гибнет, – вдруг резко выпалил Том. – Я на этот счет большой пессимист. Ты читал «Возвышение цветных империй» Годдара?

– Нет, а что? – ответил я, немного дивясь его тону.

– Да ничего, просто хорошая книга, каждому стоит прочесть. Идея ее в том, что если мы не будем начеку, белую расу... ну, оттеснят на второй план. Книга научная, в ней все доказано.

– Том обращается в необычайно вдумчивого человека, – сказала Дэйзи, соорудив гримаску беспечной печали. – Читает серьезные книги, в которых много длинных слов. Какое это слово мы...

– Я читаю научные книги, – заявил Том, бросив на нее раздраженный взгляд. – Этот малый все просчитал. Нам, господствующей расе, следует сохранять бдительность, иначе власть над миром захватят другие расы.

– Перебить их всех, и дело с концом, – прошептала Дэйзи, свирепо подмигивая жаркому солнцу.

– Тебе следовало поселиться в Калифорнии... – начала мисс Бейкер, но Том, грузно сместившись в кресле, не дал ей закончить.

– Мысль его в том, что мы – люди нордической расы. Я, ты, и ты, и... – после кратчайшего колебания он легко кивнул Дэйзи, включив в нашу компанию и ее, и она снова мне подмигнула. – Это мы создали все, из чего состоит цивилизация – ну, там, науку, искусство и прочее. Понимаешь?

Что-то жалкое присутствовало в озабоченности Тома – казалось, ему уже не хватало самодовольства, хоть и усилившегося против прежнего. Когда же – почти сразу вслед за его вопросом – в доме затрещал телефон и дворецкий покинул веранду, Дэйзи, воспользовавшись заминкой в разговоре, склонилась ко мне.

– Я хочу открыть тебе семейную тайну, – воодушевленно прошептала она. – Насчет носа дворецкого. Хочешь узнать про нос дворецкого?

– Ради этого я к вам и приехал.

– Так вот, он не всегда был дворецким. Раньше он служил у одних людей в Нью-Йорке, отчищал их столовое серебро, а у них человек двести за стол садилось. Чистил он его, чистил с утра и до ночи, и, наконец, это занятие стало вредить его носу...

– А там и пошло – от плохого к худшему, – вставила мисс Бейкер.

– Да. Все пошло от плохого к худшему и кончилось тем, что ему пришлось отказаться от места.

На мгновение последний свет солнца с романтической нежностью коснулся ее просиявшего лица; голос Дэйзи словно притянул меня, я слушал его, затаив дыхание, но тут сияние

стало меркнуть, каждый луч покидал ее лицо с медлящим сожалением, – как ребенок, уходящий при наступлении сумерек с милой ему улицы.

Дворецкий вернулся и что-то пробормотал Тому на ухо, Том нахмурился, отодвинул свое кресло от стола и, не промолвив ни слова, ушел в дом. Его отсутствие словно подстегнуло какие-то мысли Дэйзи, она снова подалась вперед и заговорила, пылко и певуче:

– Так приятно видеть тебя за нашим столом, Ник. Ты напоминаешь мне м-м... розу, совершенную розу. Ведь так? – Она повернулась за подтверждением к мисс Бейкер. – Совершенная роза, верно?

Это неправда. На розу я не похож и отдаленно. Дэйзи всего лишь импровизировала, но источала при этом такую берущую за душу доброту, что казалось, будто само ее сердце пыталось подобраться ко мне поближе, укрывшись в одном из этих тихих, трепетных слов. А затем она вдруг бросила салфетку на стол, извинилась и тоже ушла в дом.

Мы с мисс Бейкер обменялись короткими взглядами, постаравшись не вложить в них никакого значения. Я открыл было рот, собираясь заговорить, однако мисс Бейкер настороженно выпрямилась и предостерегающе шепнула: «Чшш!» Из ближней комнаты до нас доносился приглушенный взволнованный разговор, мисс Бейкер без тени стыда вытянула шею, пытаясь расслышать произносимые там слова. Разговор поколебался на самой грани различимости, затих, снова окреп, возбужденный, и прервался насовсем.

– Тот мистер Гэтсби, о котором вы упомянули, сосед мне... – начал я.

– Помолчите. Я пытаюсь понять, что там происходит.

– А разве что-то происходит? – невинно осведомился я.

– То есть вы ничего не знаете? – искренне удивилась мисс Бейкер. – Я думала, все знают.

– Я – нет.

– Ну как же... – Она помялась. – Том завел в Нью-Йорке женщину.

– Завел женщину? – тупо переспросил я.

Мисс Бейкер кивнула.

– Могла бы и посовеститься звонить ему сюда во время обеда. Вам не кажется?

Я еще не успел вполне осознать смысл ее слов, как послышался шелест платья, скрип кожаных ботинок – Дэйзи с Томом вернулись к столу.

– Не удержалась! – с натушной веселостью воскликнула Дэйзи.

Она села, окинула изучающим взглядом мисс Бейкер, потом меня и продолжила:

– Я на минутку выглянула в парк, там так романтично. На лужайке птичка поет, наверное – соловей, переплывший Атлантику на пароходе «Кунарда» или «Белая звезда». Так разливается... – И она сама почти пропела: – Романтично, не правда ли, Том?

– Весьма, – ответил он и с жалким видом повернулся ко мне: – Если после обеда еще будет светло, я бы сводил тебя на конюшню.

В доме вновь зазвонил, испугав нас, телефон. Дэйзи взглянула на Тома, решительно покачала головой, и тема конюшни, как, собственно, и все прочие темы, растаяла в воздухе. Из разрозненных фрагментов последних пяти минут, которые мы провели за столом, я только и помню, что снова зажженные, непонятно зачем, свечи и мои старания смотреть в лицо каждому и при этом ни с кем не встречаться взглядом. О чем думали Дэйзи и Том, я догадаться не мог, полагаю, однако, что даже обладавшей своего рода стойким скептицизмом мисс Бейкер не удалось полностью отрешиться от пронзительной металлической настырности нашего пятого сотрапезника. Человеку определенного склада положение наше могло показаться занятным, меня же так и подмывало немедленно позвонить в полицию.

Лошади, о чем можно и не говорить, больше не упоминались. Том и мисс Бейкер удалились, разделенные несколькими футами сумерек, в библиотеку, словно там дожидался их бдения вполне реальный покойник, я же, прилагая усилия к тому, чтобы выглядеть человеком приятно заинтересованным и немного тугим на ухо, последовал за Дэйзи по черед

ных веранд к главной из них, парадной. Там, в уже сгустившемся полумраке, мы присели бок о бок на плетеное канапе.

Дэйзи приложила ладони к щекам, словно намереваясь ощупать прелестный овал своего лица, взгляд ее неторопливо блуждал по бархатистому сумраку. Я понимал, что ее обуревают сильные чувства, и потому принялся задавать успокоительные, как мне представлялось, вопросы об их с Томом дочери.

– Мы не очень хорошо знаем друг друга, Ник, – внезапно сказала Дэйзи. – Хотя мы и родня. Ты не приезжал на мою свадьбу.

– Я тогда еще не вернулся с войны.

– Это правда. – Она поколебалась. – Я пережила очень плохое время, Ник, и стала циничной во всем.

По-видимому, у нее имелись на то причины. Я подождал немного, однако Дэйзи ничего больше не сказала, и я вернулся, несколько неуклюже, к ее дочери.

– Я так понимаю, она разговаривает и... ест и все прочее.

– О да. – Дэйзи перевела на меня рассеянный взгляд. – Знаешь, что я сказала, когда она родилась? Хочешь это услышать?

– Очень.

– Тогда ты сможешь понять, какие чувства я испытывала к... ко всему. Ну вот, после родов прошло меньше часа, а Том – бог его знает, где он был в то время. Я очнулась от эфира, чувствуя себя всеми покинутой, и сразу спросила у медицинской сестры, мальчик у меня родился или девочка. Она ответила – девочка, и я отвернулась к стене и заплакала. «Ладно, – сказала я, – хорошо, что девочка. Надеюсь, она вырастет дурой, это лучшее, чем может стать в жизни девочка, – красивой дурочкой».

– Знаешь, по-моему, все вокруг ужасно, так или иначе, – убежденно продолжала Дэйзи. – Да все так думают, даже самые передовые люди. Но я-то знаю.

Она пробежалась по темноте полным вызова взглядом, напомнив мне Тома, и усмехнулась с презрением, от которого меня пробил зябкая дрожь.

– Умудренной – вот какой я стала, о Господи, умудренной!

Голос Дэйзи надломился, чары, удерживавшие мое внимание, поддерживавшие веру, распались, и я почувствовал коренную неискренность сказанного ею. Мне стало неловко, словно я понял вдруг, что весь этот вечер был обманом, своего рода уловкой, имевшей целью обратить меня в эмоционального соучастника всего, что здесь происходит. Я ждал продолжения, и разумеется, миг спустя Дэйзи повернула ко мне прелестное лицо, светившееся глуповатым самодовольством: ей удалось доказать свою принадлежность к тайному обществу избранных, в котором состояли она и Том.

Кармазиновых тонов комната походила на облитый светом цветок.

Том и мисс Бейкер сидели по краям длинного дивана, она читала ему вслух что-то из «Сетеди ивнинг пост» – слова, негромкие, вечно все те же, текли, словно усыпительная музыка. Свет ламп, яркий на его ботинках и тускневший в ее желтых, как осенние листья, волосах, плеснул мгновенным отблеском на бумаге, когда мисс Бейкер перевернула – отчего встрепенились тонкие мышцы ее рук – страницу.

Когда мы вошли, она подняла ладонь, призывая нас к молчанию.

– Продолжение, – вскоре сообщила мисс Бейкер, бросив журнал на стол, – в следующем номере.

Тело ее напомнило о себе подергиванием колена, она встала.

– Десять часов, – сказала она, отыскав, надо думать, на потолке невидимые часы. – Хорошим девушкам пора ложиться спать.

– Джордан завтра выступает в турнире, – пояснила Дэйзи, – в Уэстчестере.

– О, так вы – Джордан Бейкер.

Теперь я понял, откуда знаю ее лицо: привлекательное и презрительное, оно смотрело на меня со многих ротогравюр, посвященных спортивным событиям в Эшвилле, Хот-Спрингсе и Палм-Биче. Слышал я и какую-то связанную с ней историю, предосудительную, малоприятную, но какую – давно забыл.

– Спокойной ночи, – мягко сказала она. – Разбудите меня в восемь, хорошо?

– Если проснешься.

– Проснусь. Спокойной ночи, мистер Каррауэй. Скоро увидимся.

– Ну еще бы, – подтвердила Дэйзи. – Думаю, мы вас поженим. Приезжай к нам почаще, Ник, и я постараюсь – как это? – свести вас. Знаешь, буду случайно запираю вас в бельевых шкафах, сажать обоих в лодку и отпускать ее по морским волнам, ну и прочее в том же роде...

– Спокойной ночи, – повторила уже с лестницы мисс Бейкер. – Я ни слова не расслышала.

– Хорошая девушка, – сказал, выдержав паузу, Том. – Им не следует позволять ей болтаться вот так по всей стране.

– Кому это «им»? – холодно осведомилась Дэйзи.

– Ее семье.

– Ее семья состоит из единственной тетушки, которой уже тысяча лет. А кроме того, за ней станет присматривать Ник, ведь правда, Ник? Этим летом она будет проводить большую часть уик-эндов у нас. Думаю, наш дом окажет на нее благотворное воздействие.

Некоторое время Дэйзи и Том молча взирали друг на дружку.

– Она из Нью-Йорка? – поспешил спросить я.

– Из Луисвилла. Там мы провели вместе наше белое детство. Наше прекрасное белое...

– Вы с Ником успели поговорить на веранде по душам? – внезапно осведомился Том.

– Мы успели? – повернулась ко мне Дэйзи.

– Не припоминаю. По-моему, мы разговаривали о нордической расе. Да, верно. Разговор как-то завелся сам собой, мы и опомниться не успели...

– Не верь всему, что слышишь, Ник, – порекомендовал Том.

Я бодро ответил, что ничего, собственно, и не слышал, и несколько минут спустя встал, чтобы ехать домой. Они проводили меня до дверей, постояли бок о бок в квадрате веселого света. Когда я включил двигатель, Дэйзи не терпящим возражения тоном окликнула меня: «Постой!»

– Забыла спросить тебя, а это важно. Мы слышали, ты помолвлен с кем-то на Западе.

– Да, верно, – благожелательно подтвердил Том. – Говорили, что ты помолвлен.

– Навет. Я слишком беден.

– Но мы же слышали, – упорствовала Дэйзи, и лицо ее, к моему удивлению, снова раскрылось, точно цветок. – Слышали от трех людей, стало быть, это не может быть неправдой.

Разумеется, я знал, о чем идет речь, однако помолвкой тут и не пахло. Отчасти из-за того, что пересуды уже превращались чуть ли не в официальное оглашение предстоящей свадьбы, я и переехал на Восток. Не мог же я разорвать отношения с давней знакомой из-за одних только слухов, а с другой стороны, и не желал, чтобы слухи довели меня до женитьбы.

Интерес, который проявили ко мне Дэйзи и Том, пожалуй, тронул меня, сократив созданное богатством расстояние между нами, – тем не менее, покидая их особняк, я испытывал и замешательство, и легкое отвращение. Мне представлялось, что самое правильное для Дэйзи – поскорее бежать из дома, прихватив с собой ребенка, но, по-видимому, она такого намерения не питала. Что касается Тома, то обстоятельство, что он «завел в Нью-Йорке какую-то женщину», казалось мне, по правде сказать, менее удивительным, чем внушенное ему какой-то книгой мрачное состояние духа. Что-то заставляло Тома кормиться крохами замшелых идей, – похоже, рожденному телесной крепостью самомнению больше не удавалось напивать его властную душу.

От крыш придорожных баров и от заправочных станций, перед которыми красовались в лужицах света новенькие красные бензоколонки, уже тянуло совершенно летним теплом, и я, достигнув моего поместья на Вест-Эгг, загнал машину под отведенный ей навес и посидел немного на брошенном посреди двора трамбовочном катке. Ветер выдохся, оставив после себя звучную, яркую ночь с биением крыльев в кронах деревьев и ровным органным гудением: казалось, что полные воздуха мехи земли нагнетают его в гортани полных жизни лягушек. Силуэт вышедшей на прогулку кошки волнообразно проплыл мимо меня в свете луны, и, поглядев ей вслед, я обнаружил, что не одинок, – какой-то мужчина выступил футах в пятидесяти от меня из тени соседского особняка и остановился, держа руки в карманах и вглядываясь в серебристую россыпь звезд. Неторопливость его движений, уверенность, с которой попирали лужайку его туфли, навели меня на мысль, что передо мной сам мистер Гэтсби, пожелавший выяснить, какая часть здешних небес принадлежит лично ему.

Я решил окликнуть его. Мисс Бейкер упомянула о нем за обедом, для знакомства этого хватит. Но не окликнул, поскольку он дал вдруг понять, что одиночество по душе ему, – протянул странноватым движением руки к темной воде и даже при том расстоянии, что разделяло нас, я готов был поклясться, что он дрожит. Невольно взглянув на море, я не увидел ничего, кроме единственного зеленого огонька, крошечного, далекого, это мог быть фонарь на краю причала. Когда же я опять повернулся к Гэтсби, тот исчез, я снова остался один в беспокойной тьме.

Глава вторая

Примерно на середине пути от Вест-Эгг до Нью-Йорка шоссе торопливо принимает к железной дороге и на протяжении четверти мили бежит вдоль рельсов, словно сторонясь безотрадной местности. Это долина праха – умопомрачительное уголье, где прах прорастает, подобно пшенице, образуя холмы, хребты и причудливые парки, обретает обличья домов, и дымоходов, и валящего из них дыма, и наконец, после немыслимого напряжения сил – людей, смутно перемещающихся, крошащихся в рассыпчатом воздухе. Время от времени череда серых автомобилей³ выползает там на невидимую дорогу и, испустив призрачный стон, замирает, и к ней немедленно стекается рой пепельно-серых людей с тяжелыми лопатами и всколыхивает непроницаемую пелену, скрывающую от взоров их темные труды.

Однако спустя всего только миг вы различаете поверх этой серой земли – в спазмах нескончаемо плывущей над ней унылой пыли – глаза доктора Т. Дж. Экклебурга. Глаза у доктора Т. Дж. Экклебурга синие, великанские – райки их имеют в высоту целый ярд. Лица за ними нет, они смотрят сквозь огромные желтоватые очки, сидящие на несуществующем носу. Должно быть, некий оголтелый остряк-окулист водрузил их здесь, чтобы оживить свою практику в Куинсе, а сам погрузился в вечную слепоту – или переехал куда-то, забыв о них. Глазам же, слегка потускневшим, оттого что их не подкрашивали в течение многих дождливых и солнечных дней, осталось лишь вглядываться в мрачную свалку.

Одну из границ долины праха образует грязная речушка, и когда разводной мост над ней поднимают, чтобы пропустить барки, пассажиры остановившихся в ожидании поездов получают возможность созерцать унылый пейзаж порой и полчаса кряду. Поезда здесь встают непременно, самое малое на минуту, вследствие чего я и познакомился с любовницей Тома Бьюкенена.

Сам факт ее существования с упорством выставлялся им напоказ, куда бы он ни приходил. Знакомых Тома возмущало его обыкновение приводить эту женщину в какой-нибудь модный ресторан, а там оставлять за столиком и бродить по залу, заговаривая с ними. Мне было любопытно посмотреть на нее, однако сводить с ней знакомство я не собирался – и все-таки свел. Как-то после полудня я поездом отправился с Томом в Нью-Йорк, и, когда мы остановились среди шлаковых отвалов, он вдруг вскочил, ухватил меня за локоть и буквально выволок из вагона.

– Сходим! – повелительно объявил он. – Я хочу познакомить тебя с моей девушкой.

Думаю, во время ленча Том основательно заложил за воротник, отчего его решимость увлечь меня за собой отдавала насилием. Он явно исходил из надменного предположения, что лучшего занятия мне в послеполуденные воскресные часы все равно не найти.

Я перелез вслед за ним через низкую беленую ограду железнодорожных путей, и под неотвязным взором доктора Экклебурга мы прошагали вдоль них вспять около сотни ярдов. На краю сорной пустоши притулился квартал желтых кирпичных зданий, рассеченный подобием Главной улицы – коротенькая, она, прислужившись ему, удалялась в полную пустоту. Из трех здешних заведений одно сдавалось в аренду; вторым был ночной ресторанчик, к которому вела шлаковая дорожка; а третьим мастерская – «Ремонт. ДЖОРДЖ Б. УИЛСОН. Покупка и продажа автомобилей», – в нее мы и вошли.

Внутри она выглядела далеко не процветающей, голой; единственным в ней автомобилем был запыленный, наполовину развалившийся «Форд», грузно стоявший в темном углу. Мне подумалось, что этот призрак мастерской сооружен для отвода глаз, а где-то наверху кроется роскошное, романтическое жилище, но тут из двери конторы вышел, вытирая куском ветоши

³ См. рассказ А. Грина «Серый автомобиль».

руки, ее хозяин. То был светловолосый, бесцветный мужчина, худосочный и – с большими оговорками – привлекательный. Когда он увидел нас, в его светло-голубых глазах засветился унылый проблеск надежды.

– Здорово, Уилсон, старина, – сказал Том, жизнерадостно хлопнув его по плечу. – Как дела?

– Грех жаловаться, – неубедительно ответил Уилсон. – Так когда же вы продадите мне ту машину?

– На следующей неделе; сейчас ее приводит в порядок мой человек.

– Уж больно долго он возится, не думаете?

– Не думаю, – холодно обронил Том. – Но если вы недовольны, может, мне все же лучше продать ее кому-то другому?

– Я не это имел в виду, – поспешил оправдаться Уилсон. – Я просто...

Он примолк, Том окинул мастерскую нетерпеливым взглядом. И тут до меня донесся с лестницы звук шагов, а мгновение спустя свет, лившийся из конторской двери, заслонила полноватая женщина. Тридцати с чем-то лет, немного слишком дородная, она несла избыток плоти с чувственностью, доступной лишь немногим представительницам ее пола. Лицо над платьем из темно-синего в горошек крепдешина никаких признаков или отблесков красоты не являло, однако в нем мгновенно ощущалась жизненная сила, словно сжигавшая каждый нерв ее тела. Медленно улыбнувшись, она прошла, казалось, сквозь мужа, как если бы тот был призраком, протянула руку Тому, глядя ему прямо в глаза. А затем облизнула губы и, не оборачиваясь, сказала мужу голосом мягким и хрипловатым:

– Почему бы тебе не принести стулья, может, кто-нибудь присесть захочет.

– Да, конечно, – торопливо согласился Уилсон и направился к маленькой конторе, мгновенно слившись с цементного цвета стенами. Пелена белой пепельной пыли занавесила его темный костюм и светлые волосы, как занавешивала здесь все, – кроме жены Уилсона, подступившей поближе к Тому.

– Я хочу побыть с тобой, – отчетливо произнес он. – Поедем следующим поездом.

– Хорошо.

– Встретимся у газетного киоска на нижней платформе.

Она кивнула и отступила от него – как раз в тот миг, когда из двери конторы появился несший два стула Джордж Уилсон.

Мы ожидали ее у дороги, там, где нас невозможно было увидеть от мастерской. До Четвертого июля оставалось лишь несколько дней, и серый, тощий итальянский мальчишка рядом составлял вдоль рельсов петарды.

– Кошмарное место, верно? – сказал Том, обменявшись с доктором Эккебургом неодобрительными взглядами.

– Жуткое.

– Ей полезношний раз выбраться отсюда.

– Муж возражать не станет?

– Уилсон? Он думает, что она ездит в Нью-Йорк, чтобы повидаться с сестрой. Такой болван, что и помрет – ничего не заметит.

Вот так Том Бьюкенен, его любовница и я вместе отправились в Нью-Йорк – не совсем вместе, поскольку миссис Уилсон осмотрительно устроилась в другом вагоне. Том согласился на эту уступку щепетильности тех обитателей Ист-Эгг, какие могли объявиться в поезде.

Она переделалась, теперь на ней было платье из коричневого узорчатого муслина, который туго обтянул ее широковатые бедра, когда в Нью-Йорке Том помогал ей спуститься на перрон. Остановившись у газетного киоска, она купила номера «Городской сплетни» и фильмового журнала, а в вокзальной аптеке – немного кольдкрема и флакончик духов. Наверху, в отзывающемся торжественным эхо зале, куда заезжают машины, она забрала четыре такси, прежде

чем остановить свой выбор на новеньком, лавандового цвета, с серой обшивкой сидений, – в нем мы наконец выплыли из громады вокзала под яркий солнечный свет. Впрочем, миссис Уилсон сразу же резко отвернулась от окна и, наклонившись вперед, постучала по ветровому стеклу.

– Хочу одну из вон тех собак, – напористо объявила она. – Для квартиры. Они такие милые – собаки.

Машина сдала назад, к седому старику, обладавшему нелепым сходством с Джоном Д. Рокфеллером. В свисавшей с его шеи корзине жались друг к дружке новорожденные щенки неопределимой породы, их было там около дюжины.

– Какая это порода? – нетерпеливо спросила миссис Уилсон, как только он подошел к окну.

– Всякие тут. Вы какую хотите, леди?

– Мне нравятся овчарки, как у полиции. У вас такой, наверное, нет?

Старик с сомнением заглянул в корзину, окунул в нее руку и за заливку вытащил извивавшегося щенка.

– Это не овчарка, – сказал Том.

– Да, не совсем, – огорченно согласился старик. – Скорее, эрдель.

Он провел ладонью по курчавой, как мочалка, спинке щенка.

– Вы на шерсть его посмотрите. Какая шерсть! Этот пес простуду не схватит, никаких с ним хлопот.

– По-моему, она миленькая, – пылко заявила миссис Уилсон. – Сколько стоит?

– Этот? – Старик с обожанием поглядел на щенка. – Этот обойдется вам в десять долларов.

Щенок – эрдель, несомненно, принял участие в его появлении на свет, хотя лапки малыша отливали разительной белизной, – перешел из рук в руки и устроился на коленях миссис Уилсон, которая с восторгом принялась гладить антипростудную шерстку.

– Это мальчик или девочка? – деликатно осведомилась она.

– Песик-то? Мальчик.

– Сука это, – решительно объявил Том. – Вот ваши деньги. Можете купить на них еще десяток собак.

Мы ехали по Пятой авеню, такой теплой, тихой, почти буколической летним воскресным днем – я не удивился бы, увидев за ближайшим углом большую отару белых овец.

– Остановите, – попросил я, – мне нужно выйти здесь.

– Ничего тебе не нужно, – поспешил возразить Том. – Мерتل обидится, если ты не заглянешь в ее квартиру. Правда, Мерتل?

– Поедьте с нами, – попросила она. – Я позвоню моей сестре, Кэтрин. Знающие люди называют ее красавицей.

– Да я бы с удовольствием, но...

И мы поехали дальше и снова пересекли Парк-авеню, направляясь к Западным Сотым улицам. На 158-й машина остановилась у одного из ломтей большого белого торта, образованного многоквартирными домами. Окинув окрестности взглядом вернувшейся восвояси королевы, миссис Уилсон взяла под мышку щенка, собрала остальные свои покупки и надменно вступила в дом.

– Я попрошу Мак-Ки подняться к нам, – объявила она в лифте. – И, конечно, сестре позвоню.

Квартира находилась в верхнем этаже – маленькая гостиная, маленькая столовая, маленькая спальня и ванная комната. Гостиная оказалась заставленной до самых дверей великоватой для нее мебелью в гобеленовой обивке, отчего, перемещаясь по ней, я то и дело наталкивался на гулявших по садам Версаля дам. Единственной украшавшей ее стены картинкой была чрез-

мерно увеличенная фотография, которая изображала на первый взгляд курицу, сидевшую на расплывчатой скале. Впрочем, если отойти подальше, курица обращалась в шляпку, а скала – в лицо дородной пожилой женщины, с улыбкой глядевшей в комнату. На столе лежали два старых номера «Городской сплетни», роман «Симон, называемый Петром»⁴ и несколько желтых бродвейских журнальчиков. Первым делом миссис Уилсон занялась щенком. Лифтер без большой охоты отправился за набитым соломой ящиком и молоком, к коему он по собственному почину добавил жестянку больших, жестких собачьих галет – одна из них до самой ночи апатично раскисала в блюде с молоком. Тем временем Том отпер бюро и вытащил из него бутылку виски.

За всю мою жизнь я напивался всего лишь два раза, и второй пришелся на тот вечер, поэтому все, что происходило тогда, затянулось тусклым туманом, хоть до восьми вечера квартиру и заливал веселый солнечный свет. Миссис Уилсон кому-то звонила, сидя на коленях Тома; затем выяснилось, что у нас закончились сигареты, и я сходил за ними в аптеку на углу. Вернувшись, я обнаружил, что миссис Уилсон и Том куда-то исчезли, и потому рассудительно посидел в гостиной, успев прочитать главу «Симона, называемого Петром», – либо роман был ужасен, либо виски извратило все мной прочитанное, потому что никакого смысла я в нем не усмотрел.

Едва вернулись Том и Мертл, – после первой порции спиртного мы с миссис Уилсон перешли на «ты», – в квартиру стали сходить гости.

Сестра, Кэтрин, оказалась стройной, искушенной женщиной примерно тридцати лет, с густыми и колючими, коротко подстриженными рыжими волосами и напудренной до молочной белизны кожей. Брови она выщипывала и прорисовывала заново под более бесшабашным углом, однако природа норовила восстановить прежнюю линию их строя, отчего лицо Кэтрин словно размывалось. Движения ее сопровождался непрерывным побрякиванием несчетных керамических браслетов, которые перекликались на ее руках сверху вниз и снизу вверх. В квартиру она вошла с такой хозяйской поспешностью и пробежалась по мебели взглядом столь собственническим, что я погадал, не живет ли она здесь. Впрочем, когда я спросил ее об этом, она безудержно расхохоталась, громко повторила мой вопрос и сказала, что живет с подружкой в отеле.

Мистер Мак-Ки, сосед снизу, был бледным, женственным мужчиной. Только что побрившийся – на скуле его осталось белое пятнышко пены, – он приветствовал всех, кого увидел в гостиной, с чрезвычайной учтивостью. Мне мистер Мак-Ки отрекомендовался как человек, подвизающийся на «художественном поприще», а несколько позже я узнал, что он фотограф – увеличенная тусклая матушка миссис Уилсон, парившая подобно мистической эктоплазме над комнатой, была делом его рук. Супруга мистера Мак-Ки обладала пронзительным голосом, но особой была томной, привлекательной и противной. Она с гордостью сообщила мне, что за время супружества муж сфотографировал ее сто двадцать семь раз.

Миссис Уилсон успела сменить наряд на замысловатое вечернее платье из кремового шифона, сопровождавшее непрерывным шелестом ее перемещения по гостиной. Под воздействием платья претерпела изменения и ее повадка. Бьющая через край жизненная сила, столь поразившая меня в автомобильной мастерской, преобразовалась во внушительное высокомерие. Ее смех, жесты, высказывания обретали что ни миг нарочитость все более истовую, она словно разрасталась, а комната вокруг нее съеживалась, пока не стало казаться, что миссис Уилсон вращается в дымном воздухе на шумной, скрипучей оси.

– Дорогая, – крикнула она сестре голосом тонким и жеманным, – большая часть этой публики только и знает, что дурит нас. Ни о чем, кроме денег, они не думают. На прошлой

⁴ «Симон, называемый Петром» – роман Роберта Кибла (1921) о сложившейся на фронте любовной паре – священнике и медсестре.

неделе сюда приходила женщина, которая занимается моими ступнями, так я, увидев ее счет, решила, что она мне заодно и аппендикс вырезала.

– Как ее звали? – спросила миссис Мак-Ки.

– Миссис Эберхард. Она ухаживает за ногами людей прямо на дому.

– Мне нравится ваше платье, – сообщила миссис Мак-Ки. – По-моему, оно восхитительно.

Миссис Уилсон отвергла комплимент, презрительно приподняв бровь.

– Просто дурацкое старое тряпье, – сказала она. – Я надеваю его, когда мне все равно, как выглядеть.

– Однако, должна сказать, смотрите вы в нем превосходно, – стояла на своем миссис Мак-Ки. – Если бы Честеру удалось поймать вас в такой, как сейчас, позе, он, пожалуй, смог бы кое-что из вас сделать.

Все мы молча уставились на миссис Уилсон, а она, отведя с глаз прядь волос, с сияющей улыбкой воззрилась на нас. Мистер Мак-Ки внимательно изучил ее, несколько склонив голову набок, потом медленно повел ладонями взад-вперед перед своим лицом.

– Я бы изменил освещение, – сказал он, помолчав. – Мне нравится выявлять черты лица. И волосы распустил бы.

– А я бы и не подумала менять свет, – воскликнула миссис Мак-Ки. – По-моему, это...

Муж ответил ей: «Чш!», и мы снова оглядели предмет их разговора, после чего Том Бьюкенен звучно зевнул и поднялся на ноги.

– Вам, Мак-Ки, нужно что-нибудь выпить, – сказал он. – Принеси еще льда и минеральной, Мертл, пока все не заснуло.

– Говорила же я этому олуху про лед! – Мертл возвела брови: беспомощность представителей низших классов явно выводила ее из себя. – Что за люди! Все по два раза повторять приходится.

Она взглянула на меня, бессмысленно усмехнулась. Затем подскочила к щенку, восторженно поцеловала его и поплыла на кухню, всем своим видом показывая, что там ожидает ее указаний десяток поваров.

– Я сделал на Лонг-Айленде несколько хороших работ, – сообщил мистер Мак-Ки.

Том обратился к нему равнодушный взгляд.

– Парочку мы обрамили и повесили внизу.

– Парочку чего? – надменно осведомился Том.

– Этюдов. Один я назвал «Монток-Пойнт. Чайки», другой – «Монток-Пойнт. Море».

Сестра Кэтрин опустилась рядом со мной на кушетку.

– Вы тоже на Лонг-Айленде живете? – спросила она.

– На Вест-Эгг.

– Правда? С месяц назад я была там на приеме. У человека по фамилии Гэтсби. Знаете его?

– Живу с ним бок о бок.

– Говорят, он не то племянник, не то кузен кайзера Вильгельма. Потому у него и денег куры не клюют.

– Да неужели?

Она кивнула.

– Я его побаиваюсь. Не хотела бы, чтобы он заимел на меня зуб.

Этот поток увлекательных сведений оборвала миссис Мак-Ки, внезапно ткнувшая пальцем в Кэтрин.

– Честер, по-моему, ты смог бы сделать что-нибудь из нее, – выпалила она, однако мистер Мак-Ки лишь скучливо кивнул и вновь обратился к Тому:

– С удовольствием поработал бы на Лонг-Айленде еще, если бы мне позволили. Я ведь прошу лишь об одном – дайте мне показать себя.

– Обратитесь к Мертл, – ответил, коротко рассмеявшись, Том, и тут в гостиную вошла с подносом миссис Уилсон. – Ты ведь дашь ему рекомендательное письмо, верно, Мертл?

– Дам что? – ошеломленно переспросила она.

– Дашь мистеру Мак-Ки рекомендательное письмо к мужу, чтобы он сделал с него этюды? – С миг Том молча шевелил губами, придумывая продолжение. – «Джордж Б. Уилсон у бензоколонки» – что-нибудь в этом роде.

Кэтрин, наклонившись, прошептала мне на ухо:

– Каждый из них терпеть не может свою половину.

– Не может?

– Терпеть не может. – Она взглянула на Мертл, потом на Тома. – Я всегда говорю: зачем жить с ними, если вы их терпеть не можете? Я бы на вашем месте вмиг получила по разводу и поженилась.

– Но разве она не любит Уилсона?

Ответ оказался неожиданным. Дала его Мертл, до ушей которой донесся мой вопрос, и ответ этот был яростным и непристойным.

– Вот видите? – торжествующе воскликнула Кэтрин. И снова понизила голос: – На самом-то деле им мешает соединиться его жена. Она католичка, а католикам разводиться не положено.

Дэйзи вовсе не была католичкой, и изощренность этой лжи несколько ошеломила меня.

– Поженившись, – продолжала Кэтрин, – они уедут на Запад и проживут там, пока не уляжется шум.

– Благоразумнее было бы уехать в Европу.

– О, так вам нравится Европа? – удивленно вскричала она. – Я совсем недавно вернулась из Монте-Карло.

– Вот как?

– В прошлом году. Ездила туда с одной девушкой.

– И надолго?

– Да нет, мы просто доехали до Монте-Карло и вернулись. Через Марсель. У нас было двенадцать сотен долларов, но тамошнее жулье за два дня обчистило нас в отдельных кабинетах игорных домов. Как мы назад добирались, это отдельный кошмар. Господи, до чего же я ненавижу этот город!

На миг предвечернее небо разукрасилось за окном медовой синевой Средиземноморья, – а затем пронзительный голос миссис Мак-Ки вернул меня в гостиную.

– Я тоже чуть не совершила ошибку, – напористо сообщила она. – Едва не вышла за жидка, который несколько лет ухлестывал за мной. Я понимала, что он мне не пара. Все говорили мне и по многу раз: «Люсиль, он же совсем не ровня тебе!» Но если бы я не встретила Честера, он бы наверняка меня получил.

– Да, но, знаете ли, – сказала, кивая, Мертл Уилсон, – по крайней мере, вы за него не вышли.

– Знаю, что не вышла.

– Вот, а я за него вышла, – двусмысленно объявила Мертл. – В этом-то и разница между вами и мной.

– А зачем вышла-то, Мертл? – спросила Кэтрин. – Никто же тебя не заставлял.

Мертл задумалась.

– Вышла, потому что считала его джентльменом, – в конце концов ответила она. – Думала, у него хоть какие-то понятия о приличных манерах есть, а он и мизинца моего не стоил.

– Одно время ты по нему с ума сходила, – заметила Кэтрин.

– Я, по нему! – воскликнула Мертл, словно не поверив своим ушам. – Кто это сказал, что я сходила по нему с ума? Ничуть не больше, чем вот по этому мужчине.

И она вдруг ткнула пальцем в меня, и все обратили ко мне осуждающие взоры. Я же постарался придать моему лицу выражение, говорящее, что я ни малейшего отношения к прошлому ее не имею.

– Я сошла с ума всего один раз – когда согласилась выйти за него. И мигом поняла, что ошиблась. Для свадьбы он занял у какого-то приятеля его лучший костюм, а мне об этом ничего не сказал, и в один прекрасный день, когда Джорджа не было дома, тот мужик заявился к нам за костюмом. – Она повела взглядом вокруг, пытаясь понять, кто из нас ее слушает. – «Ах, это ваш костюм? – сказала я. – Впервые об этом слышу». Но, конечно, костюм отдала, а потом повалилась на кровать и ревела до самой ночи так, что стены тряслись.

– Ей и вправду лучше бы бросить его, – повернувшись ко мне, подвела итог Кэтрин. – Они уж одиннадцать лет над той мастерской живут. А Том – первый дружок за всю ее жизнь.

К этому времени бутылка виски, вторая, уже стала пользоваться серьезным спросом – у всех, кроме Кэтрин, сказавшей, что ей «и так хорошо». Том звонком вызвал швейцара и отправил его за некими знаменитыми сэндвичами, которые сами по себе были отменным ужином. Мне хотелось покинуть квартиру, пойти в мягком сумраке на восток, к парку, но всякий раз, пытаясь проделать это, я увязал в каком-нибудь бурном, крикливом споре и он, словно веревкой, утягивал меня назад в кресло. И все-таки желто горевшая высоко над городом череда наших окон наверняка вносила свой вклад в совокупность людских тайн, томившую случайного созерцателя этого света, а я был и им тоже, глядящим вверх, теряющимся в догадках. Я находился внутри и вовне, и неисчерпаемое разнообразие жизни одновременно и обвораживало и отвращало меня.

Мертл пододвинула свое кресло к моему, и неожиданно ее теплое дыхание оваяло меня историей их с Томом знакомства.

– Мы сидели лицом друг к другу на коротеньких скамейках, которые до последнего остаются в вагоне свободными. Я ехала в Нью-Йорк повидать сестру и заночевать у нее. А он был во фраке, в лакированных туфлях, я глаз от него отвести не могла, но каждый раз, как он посматривал на меня, притворялась, будто разглядываю висевшее над его головой рекламное объявление. Когда мы уже выходили из вагона, он оказался рядом со мной, и белая грудь его рубашки прижалась к моей руке, и я сказала ему, что мне придется позвать полицейского, но он знал, что я вру. Я так разволновалась, что, садясь с ним в такси, едва понимала, что это машина, а не вагон подземки. А в голове у меня вертелось только одно, снова и снова: «Живем только раз, живем только раз».

Тут она повернулась к миссис Мак-Ки и наполнила гостиную звонким наигранным смехом.

– Дорогая, – крикнула она, – я подарю вам это платье, как только вылезу из него. Завтра новое куплю. Но сначала составлю список всего, что я должна переделать – побывать у массажистки, завиться, купить собачий ошейник, и еще хитрую пепельницу с пружинкой, и венок с черным шелковым бантом на мамину могилу, такой, чтобы его на все лето хватило. Да, придется составить список, не то я что-нибудь непременно забуду.

Было девять часов, – однако, когда я почти сразу за тем посмотрел на часы, выяснилось, что уже десять. Мистер Мак-Ки спал в кресле, уложив стиснутые кулаки на колени – ни дать ни взять фотография человека, переделавшего множество дел. Я вытащил носовой платок и стер с его щеки пятнышко засохшей пены, которое весь вечер не давало мне покоя.

Песик сидел на столе, вглядываясь полуслепыми глазами в табачный дым и время от времени тихо постанывая. Люди исчезали, появлялись снова, договаривались пойти куда-то, потом теряли друг дружку из виду, принимались искать и находили в нескольких футах от себя.

Ближе к полуночи Том Бьюкенен с миссис Уилсон стояли лицом к лицу и яростно спорили о том, имеет ли она хоть какое-то право произносить имя Дэйзи.

– Дэйзи! Дэйзи! Дэйзи! – прокричала миссис Уилсон. – Когда захочу, тогда и скажу! Дэйзи! Дэй...

И Том Бьюкенен коротким умелым ударом открытой ладони расквасил ей нос.

Окровавленные полотенца на полу ванной комнаты, бранчливые женские голоса, перекрывающий их долгий, прерывистый вопль боли. Мистер Мак-Ки пробудился от дремоты и ошалело направился к двери. На полпути к ней он обернулся и обозрел всю картину – свою жену и Кэтрин, сновавших среди теснящейся мебели туда и сюда с бинтами и ватой, выкрикивая слова брани и утешения; в отчаянии распластавшуюся по кушетке окровавленную женщину, пытавшуюся прикрыть гобеленные сцены Версаля номерами «Городской сплетни». Затем мистер Мак-Ки повернулся и продолжил шествие к двери. Я, сняв с канделябра мою шляпу, последовал за ним.

– Давайте как-нибудь позавтракаем вместе, – предложил он, пока мы спускались в стоящем лифте.

– Где?

– Да где угодно.

– Рычаг не трогайте, – рявкнул лифтер.

– Прошу прощения, – с достоинством ответил мистер Мак-Ки. – Я и не заметил, как коснулся его.

– Ладно, – согласился я, – с удовольствием.

...Я стоял у кровати, он сидел на ней с большой, содержавшей его работы папкой в руках – сидел в одном нижнем белье, накинув на плечи одеяло.

– «Красавица и чудовище»... «Одиночество»... «Старая лошадь бакалейщика»... «Бруклинский мост»...

А потом я лежал в полудреме на скамье холодной нижней платформы Пенсильванского вокзала, таращился на утренний выпуск «Трибюн» и ждал четырехчасового поезда.

Глава третья

Летними ночами из поместья моего соседа неслась музыка. В синеве его парка мужчины и женщины появлялись и скрывались из глаз и кружили, словно мотыльки, среди шепотов, шампанского и звезд. После полудня, в часы прилива, я смотрел, как его гости ныряют с сооруженной на плоту вышки или загорают на горячем песке пляжа, как два его катера рассекают воду Пролива, а за ними летят, поднимая фонтаны пены, аквапланы. По уик-эндам его «Роллс-Ройс» обращался в омнибус, доставлявший ватаги гостей из города и в город – начиналось это в девять утра и продолжалось далеко за полночь, – и принадлежавший ему моторный фургон бегал, словно шустрый желтый жук, встречая все поезда подряд. А в понедельник восемь слуг и приходящий садовник в их числе трудились с утра до вечера, орудуя швабрами, щетками, молотками и садовыми ножницами, устраняя следы разора, учиненного ночными гостями.

Каждую пятницу нью-йоркский фруктовщик доставлял в дом пять корзин апельсинов и лимонов – и каждый понедельник эти же апельсины и лимоны, обратившиеся в пирамиды лишенных мякоти полушарий, покидали дом через заднюю дверь. На кухне его стояла машинка, способная за полчаса выжать сок из двухсот апельсинов – при условии, что слуга двести раз придавит на ней большим пальцем кнопку.

Не реже чем раз в две недели некая обслуживавшая банкеты и тому подобное фирма присылала в поместье своих людей, и они привозили сотни ярдов брезента и разноцветные лампочки в количествах, достаточных для того, чтобы превратить огромный парк Гэтсби в рождественскую елку. Буфетные стойки украшались поблескивавшими закусками, пряная буженина теснилась на них среди многоцветных, как арлекины, салатов, и запеченных в слоеном тесте сарделек, и каким-то волшебством обращенных в слитки темного золота индеек. В главной зале особняка воздвигалась барная стойка с настоящей медной подставкой для ног, и стену за ней заполняли бутылки джина самых разных сортов, и вин, и наливок, позабытых уже так давно, что гости в большинстве своем оказывались слишком молодыми, чтобы определить разницу между одной и другой.

К семи часам появляется оркестр – не горстка из пяти музыкантов, но столько гобоев, тромбонов, саксофонов, альтов, корнетов, пикколо и барабанов, больших и малых, что ими можно заполнить оркестровую яму. Последние пловцы подтягиваются с пляжа и переодеваются наверху; на автостоянке выстраиваются в пять рядов машины из Нью-Йорка, а залы, салоны и веранды уже разукрашиваются основными цветами, и странными стрижками на новейший манер, и шальями, о которых Кастилия может только мечтать. Бар работает в полную силу, флотилии коктейлей vyplывают в парк, и наконец воздух его наполняется говором, смехом, мимоходными двусмысленностями, звуками забываемых не сходя с места знакомств и восторженными вскриками дам, встречающих подружек, имен которых они никогда не знали.

Земля, накрываясь, отворачивает от солнца, свет лампочек становится ярче, оркестр уже наигрывает легкую, не требующую, чтобы ее слушали, музыку, а опера голосов звучит тоном выше. Смех с каждой минутой становится все беззаботнее, рассыпается все расточительнее, выплескиваясь в радостный мир. Стайки гостей изменяются все быстрее, их пополняют новоприбывшие, компании рассыпаются и составляются на одном дыхании, и уже появляются блуждающие звезды – уверенные в себе девушки, что снуют здесь и там между женщин более дородных и устойчивых, и становятся на отчетливый, радостный миг центром какой-либо компании, и сразу покидают ее, триумфально скользя среди переменчивых лиц, голосов, красок под постоянно меняющимся светом.

Неожиданно одна из этих цыганочек в трепещущем на ней опаловом платье выхватывает из воздуха коктейль, залпом выпивает его для храбрости и, поводя руками, как Фриско⁵, принимается танцевать на обтянутом брезентом помосте. Мгновенная тишь; дирижер услужливо принаравливает к ней ритм оркестра; новый всплеск суесловия, распространяющий ложную весть: она – дублерша Гильды Грей⁶ из «Варьете». Прием начался.

Я почти уверен, что при первом посещении этого дома я был одним из очень немногих гостей, действительно туда приглашенных. Гостей в поместье не звали – они приезжали сами. Садились в автомобили, и те несли их по Лонг-Айленду и почему-то останавливались у дверей Гэтсби. А когда гости оказывались в доме, кто-нибудь, знавший хозяина, представлял их, и затем они следовали нормам поведения, принятым в развлекательных парках. Временами же прибывали и убывали, Гэтсби так и не повидавав, – просто заявлялись на его приемы в простоте сердечной, которая сама по себе была их входным билетом.

Но я получил настоящее приглашение. Одним ранним субботним утром шофер в голубой, точно яйцо дрозда, униформе пересек мою лужайку и вручил мне на удивление чопорную записку его хозяина: я окажу Гэтсби большую честь, говорилось в ней, если приду этой ночью на его «небольшую вечеринку». Он несколько раз видел меня и давно уж намеревался навесить, однако странные стечения обстоятельств препятствовали этому – подписано размашисто и величаво: «Джей Гэтсби».

После семи вечера я, облачившись в белую фланель, пришел на его лужайку и стал бродить, ощущая некоторую неловкость, по парку, среди водоворотов и завихрений толпы, в которой никого не знал, – хоть время от времени мне и попадались лица, уже замеченные мною в пригородном поезде. Меня сразу поразило обилие молодых англичан; все как один элегантные, все с голодным блеском в глазах и все беседующие, негромко и серьезно, с плотными преуспевающими американцами. Я не сомневался, что каждый из них норовил что-то продать: облигации, страховки, автомобили. Как бы там ни было, они мучительно сознавали, что совсем рядом, только руку протяни, рассыпаны шальные деньги, и не сомневались: довольно будет произнести несколько правильно подобранных слов, и деньги эти достанутся им.

Едва придя туда, я попытался найти хозяина дома, однако двое-трое людей, у которых я спрашивал о его местонахождении, смотрели на меня с таким изумлением и с таким пылом отрицали наличие у них сведений о его перемещениях, что я побрел к уставленному коктейлями столу, единственному в парке месту, где одинокий мужчина мог мешкать, не производя впечатление праздношатающегося нелюдима.

Я был уже близок к тому, чтобы из одного только смущения напиться в стельку, когда из дома вышла и остановилась вверху марша мраморных ступеней, чуть отклонившись назад и с презрительным интересом оглядывая парк, Джордан Бейкер.

Обрадуется она, увидев меня, или нет, я не ведал, но мне представлялось необходимым прилепиться к кому-нибудь, пока я еще не начал приставать с задушевными разговорами к проходящим мимо меня людям.

– Здравствуйте! – завопил я, направляясь к ней. Собственный голос показался мне ненатурально громким, слышимым во всех уголках парка.

– Так и думала, что встречу вас здесь, – равнодушно заметила она, когда я приблизился. – Помнила, что вы живете бок о бок с...

Она бесстрастно взяла меня за руку, словно пообещав заняться мною через минуту, и повернулась к двум девушкам в одинаковых желтых платьях, остановившимся у подножия лестницы.

⁵ Джо Фриско (1889–1958) – американский водевильный актер, начинавший как танцор джаза.

⁶ Гильда Грей (1901–1959) – сценический псевдоним Марианны Михальска, водевильной танцовщицы, которой обязан своей популярностью танец «шимми». С 1922 г. выступала на Бродвее в серии постановок под названием «Варьете Зигфрида».

– Привет! – единогласно прокричали они. – Как жаль, что вы не победили.

Речь шла о гольфовом турнире. Неделю назад Джордан проиграла его финал.

– Вы нас не помните, – сказала одна из девушек в желтом, – но мы познакомились с вами здесь примерно месяц назад.

– С тех пор вы перекрасились, – отметила Джордан, и я немного смутился, однако девушки уже двинулись дальше, словно забыв о ней, а замечание ее оказалось обращенным к слегка недозрелой луне, несомненно, привезенной сюда, как и ужин, поставщиками закусок. Нежная золотистая рука Джордан так и осталась в моей, мы спустились по ступеням и неторопливо пошли парком. Из сумерек на нас выплыл поднос с коктейлями, и мы присели за стол, уже приютивший двух девушек в желтом и троицу мужчин, каждый из которых представился нам как мистер Бурбурбур.

– Часто вы бываете на этих приемах? – осведомилась Джордан у ближней к ней девушки.

– В последний раз была, когда познакомилась с вами, – живо и уверенно ответила та. И повернулась к своей спутнице: – Ты ведь тоже, Люсиль?

Да, Люсиль тоже.

– Мне тут нравится, – сказала Люсиль. – На что тратить время, мне все равно, ну я и живу в свое удовольствие. Последний раз порвала тут о стул платье, так Гэтсби записал мое имя и адрес, а через неделю я получила из «Круарье» большой пакет с вечерним платьем.

– Вы его не вернули? – спросила Джордан.

– Конечно нет. Собралась надеть сегодня, да оно оказалось широковатым в груди, придется зауживать. Потрясающе синее и расшито лавандовым бисером. Двести шестьдесят пять долларов.

– В человеке, который делает такое, есть что-то подозрительное, – с горячностью заявила вторая девушка. – Он старается ладить со *всеми*.

– Кто старается? – спросил я.

– Гэтсби. Мне говорили...

Девушки и Джордан заговорщицки сдвинули головы.

– Некоторые уверены, что он когда-то человека убил.

Нас проняла дрожь. Три мистера Бурбурбур вытянули к девушкам шеи, чтобы получше слышать.

– Ну, не думаю, что уж прямо до такого дошло, – скептически возразила Люсиль, – скорее верно, что он шпионил во время войны на немцев.

Один из мужчин утвердительно покивал.

– Я слышал об этом от человека, который знает его как облупленного, вырос с ним вместе в Германии, – уверенно объявил он.

– Да нет, – сказала первая девушка, – быть того не может, он же воевал в американской армии.

И, поняв, что овладела нашим вниманием, с энтузиазмом склонилась к нам:

– Вы приглядитесь к нему, когда он думает, что никто на него не смотрит. Поспорить могу – убил человека.

Она прищурилась и содрогнулась. Люсиль просто содрогнулась. Все мы заозирались по сторонам в поисках Гэтсби. Услышанное мной лишний раз показало, какие романтические толки он возбуждал, – на его счет шушукались даже те, кто мало усматривает в нашем мире причин для разговора вполголоса.

Наступило время первого ужина – второй ожидался после полуночи, – и Джордан предложила мне присоединиться к ее компании, которая занимала стол на другом краю парка. Компанию составляли три супружеские четы и кавалер Джордан, настырный старшекурсник, питавший склонность к запальчивым колкостям и явно считавший, что рано или поздно Джордан придется в той либо иной мере отдалиться ему на милость. Эти люди не болтали без складу и ладу,

но сохраняли величавое единообразие, полагая своим долгом представлять здесь почтенную загородную аристократию – Ист-Эгг, снизошедшее до Западного, – и старательно гнушаясь калейдоскопическими увеселениями последнего.

– Уйдем, – прошептала мне Джордан после бессмысленного, потраченного нами впустую получаса. – Для меня они слишком благовоспитанны.

Мы встали, она объяснила, что нам необходимо отыскать хозяина дома, – я с ним еще не знаком, сказала Джордан, и оттого чувствую себя неловко. Старшекурсник покивал, цинично и меланхолично.

Бар, в который мы заглянули первым делом, был переполнен, но Гэтсби в нем отсутствовал. Мы поднялись по лестнице, Джордан окинула парк взглядом, однако и там его не обнаружила, не было Гэтсби и на террасе. Войдя в дом, мы наудачу открыли торжественного обличья дверь и оказались под высокими потолками готической библиотеки, обшитой резным английским дубом и, вероятно, целиком перевезенной сюда из каких-то заокеанских развалин.

На краешке огромного стола сидел пьяненький тучный джентльмен средних лет, с довольно шаткой сосредоточенностью разглядывавший сквозь огромные совиные очки книжные полки. Когда мы вошли, он резко повернулся к нам, обозрел с головы до пят Джордан, а затем вызывающим тоном осведомился:

– Ну, что скажете?

– О чем?

Он махнул рукой в сторону полок.

– Об этом. На самом-то деле, можете не проверять, я уже проверил. Они настоящие.

– Книги?

Он кивнул.

– Совершенно настоящие – и страницы есть, и все прочее. Я думал, они из хорошего крепкого картона сделаны. А они, на самом-то деле, совершенно настоящие. Страницы и... постойте! Я вам покажу.

Считая, по-видимому, наш скептицизм само собой разумеющимся, он поспешил к полкам и вернулся с первым томом «Лекций» Стоддарда⁷.

– Смотрите! – торжествующе воскликнул он. – Самая настоящая типографская работа. А я-то, дурак, попался на удочку. Здешний малый – истинный Беласко⁸. Это шедевр. Какая тщательность! Какой реализм! Но и остановиться вовремя тоже умеет – страницы не разрезал. Ну да чего ж вы хотите? Чего от него ждать?

Он выдернул из моих рук книгу и торопливо вернул ее на место, пробормотав, что, если вынуть один кирпич, так, глядишь, вся библиотека обрушится.

– Вас кто привез? – спросил он. – Или вы сами приехали? Меня вот привезли. И большую часть других тоже.

Джордан, смотревшая на него с веселой настороженностью, ничего не ответила.

– Меня привезла женщина по фамилии Рузвельт, – продолжал он. – Миссис Клод Рузвельт. Знаете такую? Я с ней прошлой ночью познакомился, не помню где. Я уж неделя как пью, вот и подумал: может, протрезвею, если в библиотеке посижу.

– И помогло?

– Да вроде помогло немного. Точно пока не скажешь. Я тут всего час провел. Насчет книг я вам говорил? Они настоящие. У них...

– Говорили.

⁷ Джон Лусон Стоддард (1850–1931) – американский писатель, разъезжавший по США с лекциями о своих путешествиях по свету, которые затем публиковались (всего получилось 11 томов). Любопытно, что его сын Теодор Лотроп Стоддард (1883–1950) написал книгу «Нарастающее сопротивление цветных мировому владычеству белой расы», на которую, собственно, и ссылается в 1-й главе Том.

⁸ Дэвид Беласко (1853–1931) – американский театральный деятель, прославившийся реалистичностью своих декораций.

Мы обменялись с ним чинными рукопожатиями и покинули дом.

Теперь на расстеленном в парке брезенте танцевали – старики толкали спинами вперед юных дев, описывая с ними бесконечные тяжеловесные круги; пары более умелые извилисто прижимались друг к дружке на новомодный манер и держаться старались в уголках потемнее; а многие девушки танцевали сами с собой или просто старались избавить оркестр от необходимости брэнчать на банджо и бить в барабаны. К полуночи веселье стало еще более бурным. Прославленный тенор спел что-то по-итальянски, печально известная контральто исполнила джаз, а между номерами многие из гостей откалывали по всему парку «штучки-дрючки», и взрывы глупого счастливого смеха уносились в летнее небо. Пара сценических «близнецов» – ими оказались те самые девушки в желтом, – показала, должным образом переодевшись, сценку из жизни малых детишек, шампанское подавали уже в бокалах такой величины, что в них можно было ополоснуть все пять пальцев, а то и десять. Взошла луна, по Проливу поплыл треугольник серебристых чешуек, слегка подрагивавших под густую жестяную капель банджо.

Я все еще пребывал в обществе Джордан Бейкер. Мы сидели за столом с мужчиной моих примерно лет и вульгарной девчушкой, по малейшему поводу раздражавшейся неудержимым смехом. Мне было хорошо. Я успел выпить две полоскательницы шампанского, и все, что окружало меня, изменилось, обретя значительность, натуральность и глубокий смысл.

Оркестр смолк, мужчина повернулся ко мне, улыбнулся.

– Ваше лицо мне знакомо, – учтиво сообщил он. – Вы не служили во время войны в Третьей дивизии?

– Ну да. В девятом пулеметном батальоне.

– А я в седьмом пехотном – до июня восемнадцатого. То-то мне все казалось, что я вас где-то видел.

Мы немного потолковали о сырых и серых французских деревушках. По-видимому, он жил где-то поблизости, поскольку сказал мне, что совсем недавно купил гидроплан и собирается опробовать его нынче утром.

– Не хотите составить мне компанию, старина? Пролетим вдоль берега над Проливом.

– В какое время?

– В любое – какое вам больше нравится.

Я совсем уж было собрался спросить его имя, но тут Джордан, оглянувшись на нас, улыбнулась мне.

– Ну что, вам повеселее стало?

– Намного, – и я снова обратился к моему новому знакомцу. – Я не привычен к таким приемам. Даже хозяина не видел. А живу вон там... – и я махнул рукой в направлении невидимой зеленой изгороди, – и этот господин, Гэтсби, прислал ко мне шофера с приглашением.

Несколько мгновений он смотрел на меня, словно чего-то не понимая, а потом вдруг сказал:

– Это я – Гэтсби.

– Что?! – вскричал я. – О, прошу прощения.

– Я думал, вы знаете, старина. Боюсь, хозяин я не из лучших.

Он улыбнулся мне с пониманием – с чем-то намного большим понимания. То была одна из тех редких, бесконечно утешительных улыбок, какие нам удастся увидеть за всю нашу жизнь всего лишь четыре-пять раз. На миг она обращалась – или казалась обращенной – ко всему внешнему миру, а затем отдавалась тебе с неотразимым, явно предвзятым благоволением. Она словно понимала тебя ровно настолько, насколько тебе хотелось быть понятым, верила в тебя так, как ты сам хотел в себя верить, убеждала тебя, что ты производишь именно то впечатление, какое надеялся, в самых сладких твоих мечтаниях, произвести. И как только я понял все это, она истаяла – передо мной сидел хорошо одетый, но явно неотесанный человек тридцати одного – тридцати двух лет, почти нелепый в его усилиях церемонно выстраивать речь: прежде

даже, чем Гэтсби представился, у меня сложилось отчетливое впечатление, что слова он подбирает с дотошной осмотрительностью.

Почти сразу после моего знакомства с Гэтсби к нему спеша приблизился дворецкий, сказавший, что звонят из Чикаго. Гэтсби извинился, отвесив каждому из нас по небольшому поклону.

– Если вам чего-то захочется, старина, только скажите, – настоятельно попросил он меня. – Прошу прощения. Я присоединюсь к вам попозже.

Едва он отошел, я повернулся к Джордан – мне не терпелось поведать ей о моем изумлении. Я-то ожидал, что мистер Гэтсби окажется краснолицым, корпулентным господином средних лет.

– Кто он? – спросил я. – Вам о нем что-нибудь известно?

– Просто человек по фамилии Гэтсби.

– Я хочу сказать, откуда он? Чем занимается?

– Ну вот, теперь и вы туда же, – с вымученной улыбкой ответила Джордан. – Ладно... он как-то сказал мне, что учился в Оксфорде.

За фигурой Гэтсби начал вырисовываться смутный фон, впрочем, следующие слова Джордан размыли его еще пуще.

– Да только я ему не поверила.

– Почему?

– Не знаю, – резко ответила она. – Просто не думаю, чтобы он там побывал.

Что-то в ее тоне напомнило мне «я думаю, он человека убил» другой девушки и заново возбудило мое любопытство. Я без дальнейших вопросов принял бы сведения о том, что Гэтсби явился сюда из болот Луизианы или из нижней части нью-йоркского Ист-Сайда. Это было бы понятно и постижимо. Но не бывает же так – во всяком случае, мой опыт провинциала уверял: не бывает, – чтобы молодой человек преспокойно выплыл неведомо откуда и купил дворец на берегу пролива Лонг-Айленд.

– Как бы там ни было, – сказала Джордан, меняя (из воспитанной неприязни к однозначности) тему, – он устраивает большие приемы. А я люблю большие приемы. Они так интимны. На малых совершенно невозможно уединиться.

Послышался удар большого барабана, и эхололию парка перекрыл голос дирижера оркестра.

– Леди и джентльмены! – прокричал дирижер. – По просьбе мистера Гэтсби мы исполним сейчас последнее сочинение мистера Владимира Бренчаллофф, которое в прошлом мае прозвучало в Карнеги-холле и наделало много шума. Тем из вас, кто читает газеты, известно, какой оно стало сенсацией.

На лице его расцвела жизнерадостно-снисходительная улыбка, и он повторил: «Той еще сенсацией», вызвав всеобщий смех.

– Сочинение это известно, – громогласно заключил дирижер, – под названием «Джазовая история мира Владимира Бренчаллофф».

Природа музыки, которую сочинил мистер Бренчаллофф, от меня ускользнула, поскольку при первых же ее тактах на глаза мне попался Гэтсби, который одиноко стоялверху мраморной лестницы, переводя одобрительный взгляд с одной компании гостей на другую. Загорелая кожа приятно обтягивала его лицо, короткие волосы выглядели так, точно их подстригали каждый день. Ничего зловещего мне в нем различить не удалось. Я погадал, не помогает ли ему воздержание по части спиртного отстраняться от гостей, ибо мне показалось, что с разгулом панибратского веселья он становился все более церемонным. Под конец «Джазовой истории мира» девушки принялись на шенячий, компанейский манер укладывать головы на плечи мужчин, другие же навзничь падали им на руки в шуточные обмороки – особенно в компаниях, где можно было не сомневаться, что кто-нибудь их непременно подхватит, – однако на

Гэтсби не падал никто, и ничьи по-французски коротко остриженные локоны не ложились ему на плечо, и никакие певческие квартеты с ним во главе не составлялись.

– Прошу прощения.

Рядом с нами вдруг объявился дворецкий Гэтсби.

– Мисс Бейкер? – осведомился он. – Прошу прощения, но мистер Гэтсби желал бы поговорить с вами наедине.

– Со мной? – удивившись, воскликнула она.

– Да, мадам.

Джордан медленно встала, изумленно приподнимая брови, и пошла за дворецким к дому. Я отметил, что вечернее платье, да и все остальные, она носит как спортивный костюм – в движениях ее присутствовала веселая живость, такая, точно ходить она училась ясными, свежими утрами на площадках для гольфа.

Я остался один, времени было без малого два. Довольно давно уже из длинной залы, многочисленные окна которой выходили на террасу, неслись невнятные, но интригующие звуки. Увильнув от студента Джордан, пожелавшего, чтобы я присоединился к разговору о родовспоможении, который он завел с двумя хористками, я вошел в дом.

Зала оказалась наполненной людьми. Одна из девушек в желтом играла на рояле, пообок от нее стояла высокая, рыжеволосая молодая леди из прославленного хора и пела. Шампанского она успела выпить немало и потому, исполняя песенку, решила – совершенно безосновательно, – что жизнь очень, очень грустна, и теперь не только пела, но и плакала. Всякая возникавшая в пении пауза отдавалась ею прерывистым задышливым рыданиям, после которых она опять принималась петь дрожащим сопрано. Слезы текли по ее щекам – не беспрепятственно, впрочем: первым делом они встречались, украшая их словно стеклярусом, с густо накрашенными ресницами, и лишь потом, насытившись тушью, проделывали остаток пути неторопливыми черными ручейками. Кто-то громко пошутил, сказав, что поет она по нотам, начерченным на ее лице, – услышав это, певица всплеснула руками, осела в кресло и погрузилась в крепкий хмельной сон.

– Она поругалась с мужчиной, который назвался ее мужем, – пояснила стоявшая рядом со мной девушка.

Я огляделся. Большая часть еще не уехавших женщин как раз и ругалась с мужчинами, называвшими себя их мужьями. Вражда разделила даже тех, с кем приехала Джордан, квартет с Ист-Эгг. Один из мужчин вел на редкость оживленный разговор с молодой актрисой, а жена его, попытавшись поначалу с достоинством и безразличием посмеяться над этим и не преуспев, сдалась и перешла к фланговым атакам – через равные промежутки времени она, походившая теперь на негодующий бриллиант, вдруг подскакивала к мужу и шипела ему на ухо: «Ты же обещал!»

Нежелание отправляться домой охватило не только ветреных мужчин. В зале присутствовала парочка прискорбно трезвых мужей и их до крайности прогневанных жен. Последние жаловались одна другой слишком, пожалуй, громкими голосами.

– Как увидит, что мне весело, так сразу домой хочет ехать.

– В жизни такого эгоиста не встречала.

– И всегда мы уходим первыми.

– Мы тоже.

– Ну, сегодня-то мы почти последние, – робко произнес один из мужчин. – Оркестр уж полчасика как уехал.

И несмотря на согласное заявление жен о том, что в подобное зловердство и поверить невозможно, диспут завершился короткой борцовской схваткой, после которой обеих дам унесли, хоть они и лягались, в темноту.

Пока я дожидался моей шляпы, дверь библиотеки отворилась, и из нее вышли Джордан Бейкер и Гэтсби. Он произносил какие-то обращенные к ней прощальные слова, но пылкость их резко затянулась узлом чопорности, едва лишь несколько гостей подошли к нему, чтобы попрощаться.

Спутники Джордан нетерпеливо окликали ее с террасы, однако она на миг задержалась, чтобы пожать мне руку.

– Я только что услышала нечто совершенно фантастическое, – прошептала она. – Сколько времени мы там пробыли?

– Ну... около часа.

– Это было... просто поразительно, – повторила Джордан, размышляя о чем-то. – Я дала слово никому не рассказывать, а вот теперь морочу вам голову.

И она изящно зевнула мне в лицо.

– Прошу вас, приезжайте повидать меня... В телефонной книге... Миссис Сигурни Говард... Моя тетя...

Произнося это, Джордан торопливо удалялась, беспечно помахивая поднятой над головой загорелой рукой, – и наконец соединилась с теми, кто ждал ее у дверей.

Немного пристыженный тем, что при первом моем визите в этот дом я задержался до столь позднего часа, я подошел к последним обступившим Гэтсби гостям. Мне хотелось объяснить, что в начале вечера я разыскивал его, извиниться за то, что не узнал его в парке.

– И говорить не о чем, – нетерпеливо прервал меня Гэтсби. – Забудьте об этом, старина.

В уже знакомом мне выражении его лица фамильярности было не больше, чем в успокоительно скользнувшей по моему плечу ладони.

– Не забудьте, однако, что завтра утром, в девять, мы собираемся полетать на гидроплане. За плечом его вновь обозначился дворецкий:

– Вас к телефону, сэр. Филадельфия.

– Хорошо, минуту. Скажите им, что я сейчас подойду... спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи. – Он улыбнулся – и мне вдруг показалось, что мой слишком поздний уход приятен ему, он как будто именно этого и желал. – Спокойной ночи, старина... Спокойной ночи.

Впрочем, сойдя по ступеням, я увидел, что вечер еще не закончился. Футах в пятидесяти от ворот поместья дюжина головных фар освещала причудливую, сумбурную картину. В придорожной канаве приткнулся покинувший подъездную дорожку Гэтсби не более пары минут назад новенький двухдверный автомобиль с отодранным колесом. В их расставании повинен был острый выступ стены, и теперь колесо стало предметом уважительного внимания полудюжины водителей. Однако, выйдя из своих машин, они перекрыли дорогу, вследствие чего к этой сцене, и без того беспорядочной, добавился неблагозвучный гомон гудков, издаваемых теми, кто ехал за ними.

Из разбитой машины выбрался и встал посреди дороги мужчина в длинном пыльнике. Он окинул веселым, озадаченным взглядом сцену аварии, отлетевшее колесо и повернулся к зрителям.

– Надо же! – воскликнул он. – В канаву сверзился.

Обстоятельство это, по-видимому, безмерно изумило беднягу – поначалу я узнал его неординарную способность дивиться увиденному и лишь затем самого мужчину, позднего посетителя библиотеки Гэтсби.

– Как все было?

Он пожал плечами и твердо объявил:

– Я в механике ничего не смыслю.

– Но как все случилось-то? Вы в стену врезались?

– Не спрашивайте, – ответил, словно умывая руки, Совиноглазый. – Я и о вождении мало что знаю – почти ничего. Так вышло – вот все, что мне известно.

– Ну, если вы такой плохой водитель, зачем было вести машину ночью?

– А я и не вел, – рассердился Совиноглазый. – Даже и не пытался.

Все испуганно замерли.

– Убиться, что ли, надумали?

– Хорошо еще, что вам только колесо оторвало. Никчемный водитель – и даже не пытался вести!

– Вы не поняли, – пояснил преступник. – Я вообще до руля не дотрагивался. В машине остался еще кое-кто.

Вызванное этой новостью потрясенное молчание было прервано сдавленным «Оххх!», прозвучавшим, когда начала медленно приоткрываться дверца автомобиля. Толпа – теперь ее уже можно было назвать толпой – непроизвольно подалась назад и, едва лишь дверца отворилась окончательно, смолкла снова, точно ожидая увидеть призрака. Из разбитой машины очень медленно, словно бы по частям, выбрался, с опасливой неуверенностью нащупав землю большой, обутой в бальный туфель ступней, бледный, расхлябанный мужчина.

Ослепленный светом фар, сбитый с толку непрерывным стенанием клаксонов, призрак пару мгновений простоял, покачиваясь, а затем взгляд его обратился к мужчине в пыльнике.

– В чем дело? – мирно осведомился призрак изрядно заплетающимся языком. – У нас бензин кончился?

– Смотрите!

Полдюжины пальцев указали на ампутированное колесо – призрак некоторое время созерцал его, а затем возвел глаза к небу, словно заподозрив, что колесо свалилось именно оттуда.

– Отлетело, – пояснил кто-то.

Призрак кивнул:

– Я сначала и не заметил, что мы остановились.

Пауза. Затем он тяжело вздохнул, расправил плечи и решительным тоном осведомился:

– Может, кто-нибудь скажет мне, где тут заправка?

Человек самое малое десять – у некоторых язык заплетался немногим меньше, чем у него, – принялись втолковывать ему, что между машиной и колесом не существует более никакой физической связи. Призрак, недолго подумав, предложил:

– Можно задним ходом сдать.

– Так колеса же нет!

Призрак поколебался немного и сказал:

– Ну, попытка – не пытка.

Кошачий концерт автомобильных гудков достиг кульминации, я повернулся и пошел лужайкой к моему дому. И только раз оглянулся назад. Облатка луны сияла над особняком Гэтсби, ночь, пережившая веселье и гомон все еще освещенного парка, была по-прежнему хороша. А из окон и огромных дверей особняка, казалось, сочилась теперь пустота, обрекая на полное одиночество фигуру его хозяина, стоявшего на террасе, подняв в церемонном жесте прощания руку.

Перечитав все написанное мною до сей поры, я увидел: оно создает впечатление, будто меня только и занимали, что эти три ночи, отделенные одна от другой несколькими неделями. Ничего подобного, они были всего лишь пустяковыми эпизодами того заполненного множеством событий лета и до времени куда более позднего занимали меня бесконечно меньше, чем мои личные обстоятельства.

Большую часть времени я работал. Ранними утрами, когда солнце отбрасывало мою тень к западу, я торопливо шагал по белым ущельям «нижнего» Нью-Йорка в свой «Честный траст».

Я уже знал по именам наших клерков и молодых продавцов ценных бумаг, людей, с которыми завтракал в темных, переполненных рестораниках – свиные сосиски, картофельное пюре, кофе. У меня завелся даже короткий роман с девушкой, жившей в Джерси-Сити и работавшей в нашей бухгалтерии, однако ее брат начал косо поглядывать на меня, и, когда она в июле отправилась в отпуск, я позволил роману тихо угаснуть.

Ужинал я обычно в «Йельском клубе» – невесть почему, это было самым гнетущим событием моего дня, – а после поднимался в его библиотеку и тратил час на добросовестное изучение инвестиций и залогов. Шумной публики в клубе обычно хватало, однако библиотеку она обходила стороной, и потому работалось там хорошо. Затем, если вечер был тих и тепел, я совершал прогулку по Мэдисон-авеню и, миновав старый отель «Мюррей-Хилл», сворачивал на Тридцать третью стрит и доходил по ней до Пенсильванского вокзала.

Я понемногу влюблялся в Нью-Йорк, в его пряные, полные приключений вечера, в удовольствие, доставляемое ненасытному взору мельканием и мерцанием его женщин, мужчин, машин. Мне нравилось прохаживаться по Пятой авеню, выбирать в людской толпе романтического облика женщин и на несколько минут воображать, как я войду в их жизни и никто не узнает об этом и не осудит меня. Иногда я мысленно провожал их до квартир, занимаемых ими на углах затаившихся улиц, и женщины оборачивались и улыбались мне, прежде чем растаять в теплой темноте за дверью. В зачарованном сумраке огромного города на меня нападало порой одиночество, которое я ощущал и в других – в бедных молодых клерках, переминавшихся перед витринами магазинов, ожидая, когда наступит время одинокого ужина в ресторане, – в людей, которые попусту растрчивали в полумраке самые острые мгновения и ночи, и жизни.

И снова в восемь вечера, когда темные сороковые уставлялись в пять рядов дрожащими таксомоторами⁹, желавшими полететь к кварталу театров, я чувствовал, как валится куда-то мое сердце. Чьи-то тела кособочились в ожидавших такси, пели голоса, кто-то смеялся над не услышанным мной анекдотом и раскуривал сигареты, и огоньки их очерчивали неразличимую извне жестикуляцию сидевших в машинах людей. Воображая, что и мне тоже будет дано мчаться навстречу их увеселениям, разделять их сокровенное волнение, я желал им всего самого лучшего.

Джордан Бейкер я потерял на какое-то время из виду, но потом, в середине лета, нашел снова. Поначалу мне было лестно появляться с ней там и сям, поскольку она была известной гольфисткой и имя ее знали все. Потом к этому чувству добавилось другое. Я не то чтобы влюбился, но начал испытывать к ней нежное любопытство. Что-то крылось под скучающим, надменным лицом, обращаемым Джордан к миру, – почти всякая манерность становится в итоге маской, даже если поначалу ничего она не прикрывала, – и в конце концов я сообразил, что таилось под ним. Когда мы поехали с ней в Уорик погостить у ее друзей, она оставила под дождем, не закрыв верх, взятую напрокат машину, а после измыслила в свое оправдание какую-то ложь – и я вдруг вспомнил связанную с Джордан историю, которая все ускользала от меня в тот вечер у Дэйзи. Во время первого в ее жизни большого гольфового турнира Джордан обвинили в том, что она сдвинула в полуфинальной игре неудачно лежавший мяч, и эта история едва не попала в газеты. Дело могло дойти до скандала, но его удалось замять. Подвозивший клюшки служитель взял свои слова назад, еще один свидетель, единственный, заявил, что мог и ошибиться. Однако случай этот и имя Джордан остались в моей памяти неразделимы.

Джордан Бейкер инстинктивно сторонилась людей умных и проницательных, и теперь я понял – происходило это потому, что она чувствовала себя в большей безопасности там, где любое отклонение от каких-либо правил почитается вполне допустимым. Она была неизлечимо нечестна. Всякое неблагоприятное для нее положение представлялось Джордан нестер-

⁹ Комментаторы романа полагают, что это отсылка к «Бесплодной земле» Т. С. Элиота: «Машина в ожидании дрожит, как таксомотор» (Перевод А. Сергеева).

пимым, и, думаю, она еще в ранней юности начала изобретать увертки, которые позволяли ей взирать на мир с холодной, надменной улыбкой, потакая между тем требованиям своего крепкого, хваткого тела.

Меня-то все это оставляло равнодушным. Мы никогда не переживаем бесчестность женщины всерьез, я мимоходом прощал ее, а там и забывал. Возвращаясь тогда из гостей, мы завели занятный разговор о вождении автомобиля. Начался он после того, как Джордан принеслась в такой близости от дорожных рабочих, что сорвала крылом машины пуговицы с куртки одного из них.

– Водишь ты черт знает как, – возмутился я. – Либо будь поосторожней, либо не садись за руль.

– Я и так осторожна.

– Вот уж чего нет, того нет.

– Ладно, зато осторожны другие.

– Другие-то тут при чем?

– А они под колеса ко мне не лезут, – заявила Джордан. – Для несчастного случая нужны двое.

– Но что, если тебе попадется человек, такой же беспечный, как ты?

– Надеюсь, не попадется, – ответила она. – Терпеть не могу беспечных людей. Потому-то ты мне и нравишься.

Серые, прищуренные от солнца глаза Джордан смотрели вперед, однако она сумела намеренно переменить тон наших с ней отношений, и на миг мне показалось, что я люблю ее. Однако я тугодум, да еще и руководствуюсь целым сводом внутренних правил, воздействующих на мои желания, как тормозные колодки, и потому счел, что первым делом обязан распутать клубок оставленных мною дома отношений. Раз в неделю я посылал туда письма, завершая их словами «С любовью, Ник», и единственным, о ком я думал сейчас, была теннисистка с призрачными усиками пота на верхней губе. Думал-то думал, но понимал, хоть и не ясно, что свободным я стану, лишь тактично порвав с нею.

Каждый из нас подозревает в себе носителя хотя бы одной из кардинальных добродетелей, и моя была вот какой: я – один из очень немногих встреченных мною в жизни совестливых людей.

Глава четвертая

Воскресными утрами, когда в прибрежных городках названивали церковные колокола, весь свет и дамы полусвета возвращались в поместье Гэтсби, чтобы затопить суетливой веселостью его лужайку.

– Он бутлегер, – уверяли юные леди, перемещаясь от коктейлей Гэтсби к его цветникам. – И однажды убил человека, прознавшего, что он приходится племянником фон Гинденбургу и троюродным братом дьяволу. Добудь мне розу, милый, и плесни последнюю каплю вон в тот хрустальный бокал.

Как-то раз я записал на полях расписания поездов имена людей, которые посещали тем летом поместье Гэтсби. Расписание, на котором значится: «Действительно до 5 июля 1922», давно устарело и пообтрепалось на сгибах. Но посеребрившие имена еще различимы, и они позволят вам лучше, чем общие мои рассуждения, понять, что за люди пользовались гостеприимством Гэтсби и в благодарность приносили ему лукавую дань полного неведения о том, кто он и что он.

С Ист-Эгг приезжали Честер Беккерс, и Пьявкисы, и мой йельский знакомый Бунзен, и доктор Уэбстер Виверра, прошлым летом утонувший в Мэне. Приезжали Грабы и Вилли Вольтер с супругой, и целый клан Газелов, эти всегда забивались в какой-нибудь угол и, если кто-то приближался к ним, трясли на козлиный манер головами. Приезжали Исмеи и Кристи (а вернее сказать, Губерт Ауэрбах и жена мистера Кристи), и Эдгар Нутрий, про которого рассказывали, что в один зимний денек он без всякой на то причины побелел как лунь.

Насколько я помню, с Восточного же Яйца приехал и Кларенс Эндиви. Приехал всего один раз, в белых бриджах, и подрался в парке с лоботрясом по фамилии Этти. С дальнего конца Айленда приезжали Чидлы и О. Р. П. Шредеры, Джексон «Каменная Стена» Абрамс¹⁰ из Джорджии, и Фишгарды, и Рипли Улит с женой. Снелл провел в поместье три дня, по истечении коих сел в тюрьму, и под конец третьего напился до того, что упал на гравиевой подъездной дорожке, и машина миссис Улисс Сьюитт переехала его правую руку. Приезжала также чета Дэнси, и С. Б. Анчоус, которому было уже под семьдесят, и Морис А. Флинк, и супруги Акулло, и табачный импортер Белуга, и дочери Белуги.

Вест-Эгг представляли Поляки, и Малреды, и Сесил Косуль, и Сесил Шён, и сенатор штата Гулик, и Ньютон Орхид, управляющий компании «Филмз Пар Экселленс», и Экхост, и Клайд Коэн, и Дон С. Шварце (сын), и Артур Мак-Карти, все они так или иначе подвизались в кинематографии. А еще появлялись Кэтлипы, и Бемберги, и Дж. Эрл Малдун, брат того самого Малдуна, что впоследствии задушил свою жену. Приезжали также импресарио Де Фонтано, Эд Легрос, Джеймас Б. («Гнилушка») Куниц, Де Джонги и Эрнст Лилли – все до единого картежники (если Куниц выходил в парк, это означало, что он проигрался дотла и на завтра акции «Ассошиэйтед трэкшн» подорожают).

Некто по фамилии Клипспрингер заглядывал в поместье так часто и так надолго, что его прозвали «поселенцем», – я вообще сомневаюсь, что у него имелось другое пристанище. Из людей театра там бывали Гас Уэйз, Хорас О’Донаван, Лестер Мейер, Джордж Даквид и Фрэнсис Буль. Кроме того, наезжали из Нью-Йорка Хромы, Бэкхайссоны, Денникеры, Рассел Бетти, Корриганы, Келлехеры, Дьюары, Скалли, С. У. Белчер, Смэрки, молодые Куинны, теперь они уже развелись, и Генри Л. Пальметто, впоследствии покончивший с собой, прыгнув под поезд подземки на станции «Таймс-Сквер».

¹⁰ Генерал армии конфедератов Томас Джонатан Джексон (1824–1863) получил после сражения при Бул-Ране (1861) прозвище «Каменная Стена».

Бенни Мак-Кленаган неизменно появлялся с четверкой девушек. Почти всегда разных, но до того походивших одна на другую, что каждому из нас казалось, будто мы их уже видели. Имена девушек я позабыл – вроде бы имелась среди них Жаклин, или Консуэла, или Глория, или Джуди, или Джун, а что до фамилий, то те были либо мелодичными названиями цветов и месяцев, либо звучащими куда более строго фамилиями великих американских капиталистов, в близком родстве с коими эти девицы, если их удавалось загнать в угол, и признавались.

В добавление к этому я помню по меньшей мере одно появление Фаустины О'Брайен, помню дочерей Бедекера, молодого Бровара, которому отстрелили на войне кончик носа, мистера Албруксбюргера, его невесту мисс Хааг, Ардиту Фиц-Петерс, мистера П. Джуэтта, одно время возглавлявшего Американский легион¹¹, мисс Клаудию Бедр с мужчиной, которого принято было считать ее шофером, и принца какой-то страны, коего мы называли Дюком, – имя его я если и знал, то забыл.

Вот такие люди навещали тем летом поместье Гэтсби.

Как-то в конце июля, часов в девять утра, великолепный автомобиль Гэтсби проехал, колыхаясь, по ведущей к моим дверям каменистой дорожке, и клаксон его сыграл мелодию из трех нот. До того Гэтсби ко мне не заглядывал, хоть я и побывал на двух его приемах, полетал на гидроплане и – по настоящему приглашению хозяина поместья – часто купался и загорал на его пляже.

– С добрым утром, старина. Мы с вами сегодня завтракаем в городе, вот я и подумал: а что бы нам не поехать туда вместе?

Он сидел на крыле своей машины, поддерживая равновесие гибкими движениями тела, – эта сугубо американская легкость возникает, сколько я понимаю, от того, что в юности нам не приходится перетаскивать тяжести или подолгу сидеть на одном месте, а главное, благодаря аморфной грациозности наших нервных, шальных спортивных игр. Это свойство Гэтсби то и дело проступало за церемонностью его манер. Совершенно спокойным он не бывал никогда – то ступня его постукивала по земле словно сама собой, то нетерпеливо сжималась и разжималась ладонь.

Он заметил, что я восхищенно поглядываю на его машину.

– Хороша, верно, старина? – Он спрыгнул с крыла, чтобы я мог получше ее разглядеть. – Вы ведь уже видели ее?

Я ее видел. Ее все видели. Сочного кремового цвета, сверкающая никелем, триумфально взбухающая по всей ее чудовищной длине выпуклостями отделений для шляп, закусок, инструментов, обнесенная лабиринтом стекол и щитков, в которых отражалась дюжина солнц. Усевшись за многослойными стеклами в этом обтянутом зеленой кожей парнике, мы покатали к городу.

За последний месяц мы беседовали с полдюжины раз, и я с разочарованием обнаружил, что сказать Гэтсби в сущности нечего. И потому мое изначальное представление о нем как о человеке неопределенно влиятельном постепенно выветрилось, он стал для меня просто владельцем замысловато устроенной придорожной закусочной, стоявшей рядом с моим домом.

И тут состоялась эта совершенно сбившая меня с толку поездка. Мы еще не достигли единственной деревни Вест-Эгг, а Гэтсби уже начал оставлять свои отточенные фразы недовершенными и нерешительно похлопывать себя по колену, обтянутому тканью цвета жженого сахара.

– Послушайте, старина, что вы обо мне думаете, а? – вдруг выпалил, удивив меня, он.

Несколько озадаченный, я пролепетал пару уклончивых общих мест, которых только и заслуживают такие вопросы.

¹¹ Учрежденная в 1919 году организация ветеранов войны.

– Ладно, – прервал меня Гэтсби, – я собираюсь рассказать вам кое-что о моей жизни. Не хочется, чтобы выдумки, которые вам приходится выслушивать, создали у вас неверное представление обо мне.

Стало быть, экстравагантные наветы, коими сдобривались разговоры его гостей, Гэтсби были известны.

– Расскажу вам все как на духу. – Он резко воздел правую руку, словно призывая в свидетели небеса. – Я родился на Среднем Западе, в богатой семье, родные мои все уже умерли. Вырос в Америке, но образование получил в Оксфорде, где учились все мои предки. Семейная традиция.

Гэтсби искоса взглянул на меня, и я понял, почему Джордан Бейкер решила, что он лжет. Слова «образование получил в Оксфорде» он произнес как-то торопливо, словно проглатывая их или поперхнувшись ими, – как если б когда-то они уже довели его до беды. Сомнения, внушенные мне ими, не оставляли камня на камне от всего, что говорил Гэтсби, и я вновь погадал, не кроется ли в нем все-таки нечто дурное, зловещее.

– В какой части Среднего Запада вы родились? – небрежно поинтересовался я.

– В Сан-Франциско.

– Понятно.

– Родня моя перемерла, оставив мне немалые деньги.

Он произнес это мрачно, так, словно воспоминания о внезапной кончине всей родни и поныне терзали его. На миг я заподозрил, что Гэтсби пытается одурачить меня, однако, взглянув на него, понял: это не так.

– Потом я какое-то время жил в европейских столицах – в Париже, Венеции, Риме, – как молодой раджа: коллекционировал драгоценные камни, по большей части рубины, охотился на крупную дичь, немного писал красками, исключительно для себя, и пытался забыть нечто очень печальное, случившееся со мной в давние годы.

Мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы сдержать недоверчивый смешок. Сами его фразы были истерты до таких дыр, что приводили на память лишь увенчанного тюрбаном «персонажа», из каждой поры которого сыпется песок, пока он гоняется по Булонскому лесу за тигром.

– А потом началась война. Она стала для меня большим облегчением, старина, я очень старался погибнуть, но, как видно, жизнь моя заговорена. В самом начале я пошел в армию первым лейтенантом. В Аргонском лесу я, приняв под начало два пулеметных подразделения, ушел от своих вперед, да так далеко, что пехота отстала на полмили и никак не могла к нам пробиться. Мы продержались два дня и две ночи, сто тридцать человек с шестнадцатью «люблисами», а когда пехота наконец пришла, она обнаружила в окружавших нас горах вражеских тел знаки отличия трех германских дивизий. Меня произвели в майоры, я получил награды от каждой из стран Союзников – даже от Черногории, маленькой Черногории на берегу Адриатического моря!

«Маленькой Черногории!» Он словно приподнял эти слова перед собой и покивал им, улыбаясь. Эта улыбка относилась и к бурной истории Черногории, и к отважной борьбе ее народа. Содержалось в ней и понимание тех трудностей, которые Черногории пришлось преодолеть, чтобы в конце концов вознаградить Гэтсби от всего ее маленького, горячего сердца. Мое недоверие потонуло в завороченности – слушая его, я словно пролистал с десяток журналов.

Он сунул руку в карман и опустил на мою ладонь прикрепленный к ленте кусочек металла.

– Это награда Черногории.

К моему изумлению, она производила впечатление настоящей.

Шедшая по кругу надпись гласила: «Orderi di Danilo. Montenegro, Nicolas Rex»¹².

– Переверните.

«Майору Джею Гэтсби, – прочитал я. – За исключительную отвагу».

– И вот это я тоже всегда ношу с собой. Памятку об оксфордских днях. Снимок сделан во дворе Тринити-колледжа – слева от меня стоит граф Доркастерский.

Я увидел фотографию десятерых юношей в блейзерах, стоявших в арочном проходе, за которым различались призрачные шпили. Одним из них был выглядевший моложе, хоть и ненамного, Гэтсби – с крикетной битой в руке.

Выходит, все это было правдой. Перед моими глазами поплыли тигриные шкуры, пламенившие по стенам его дворца на Гранд-канале; он сам, поднимающий крышку ларца с рубинами, дабы умерить их густым багряным свечением боль, которая угрызала его разбитое сердце.

– Я собираюсь обратиться к вам сегодня с важной для меня просьбой, – сказал он, удовлетворенно возвращая свои памятки в карман, – и потому подумал, что вам следует что-то знать обо мне. Не хотелось бы, чтобы вы считали меня пустым местом. Понимаете, обычно меня окружают чужие люди, поскольку я разъезжаю по свету, стараясь забыть то печальное, что случилось со мной.

Он замялся.

– Вы услышите об этом сегодня.

– За завтраком?

– Нет, после полудня. Я узнал стороной, что вы пригласили мисс Бейкер выпить с вами чаю.

– Вы хотите сказать, что влюблены в мисс Бейкер?

– Нет, старина, я не влюблен в нее. Однако мисс Бейкер была настолько добра, что согласилась поговорить с вами о моем деле.

Я не имел и отдаленного понятия о том, что это за «дело», но почувствовал скорее раздражение, чем любопытство. Джордан я пригласил на чай вовсе не для того, чтобы обсуждать с нею мистера Джея Гэтсби. К тому же я не сомневался, что просьба его окажется решительно несусветной, и даже пожалел на миг, что нога моя вообще ступила на переполненную людьми лужайку Гэтсби.

Больше он ни слова мне не сказал. По мере приближения к городу чинность его все возрастала. Мы миновали Порт-Рузвельт, мельком увидев красные обводы выходивших в океан судов, пронеслись по мощенному булыжником закоулку, вдоль которого выстроились темные, отнюдь не малолюдные питейные заведения с пожелтой позолотой на вывесках девятисотых годов. Потом по обеим сторонам дороги распахнулась долина праха, и я, опять-таки мельком, увидел авторемонтную мастерскую и живо сражавшуюся с бензоколонкой миссис Уилсон в разгар битвы.

Словно летя на распростертых крыльях автомобиля, разбрызгивая блики света, мы проскочили половину Лонг-Айленд-Сити, но лишь половину, ибо, едва вокруг нас закружили опоры надземки, я услышал знакомое тарахтение мотоцикла, и вскоре вровень с нами понесся взбешенный полицейский.

– Все путем, старина! – крикнул Гэтсби. Мы затормозили. Гэтсби достал из бумажника белую карточку, помахал ею перед носом полицейского.

– Ваша взяла, – признал тот и коснулся пальцами фуражки. – Теперь буду знать вас в лицо, мистер Гэтсби. Прошу прощения!

– Что вы ему показали? – поинтересовался я. – Оксфордскую фотографию?

¹² «Орден Данило. Черногория, король Никола». Князь Данило Петрович-Негош (1826–1860) – первый светский властитель Черногории. Король Никола Петрович-Негош (1841–1921).

– Как-то раз мне удалось оказать услугу комиссару полиции, с тех пор я каждый год получаю от него рождественскую открытку.

Огромный мост, отблески быющего сквозь его фермы солнца на автомобилях, город, вырастающий за рекой белыми горами, сахарными головами, которые чья-то воля воздвигла на лишенные запаха деньги. С моста Куинсборо он всегда предстает перед нами словно бы в первый раз и словно впервые без удержу сулит открыть нам все тайны, все красоты, какие только существуют на свете.

Мы миновали похоронные дроги с заваленным цветами покойником, две кареты с опущенными на окнах шторками следовали за ним, а за каретами – менее скорбные экипажи с друзьями усопшего. Друзья поглядывали на нас – трагические глаза, коротковатые верхние губы уроженцев юго-восточной Европы, – и я порадовался тому, что вид великолепной машины Гэтсби стал частью их печального уик-энда. Пока мы пересекали остров Блэквелл, навстречу нам попался лимузин с белым водителем и троицей расфуфыренных негров: двумя молодчиками и девицей. Я расхохотался, увидев, как они с кичливым превосходством вытаращились на нас.

«Теперь, когда мы миновали мост, может случиться все, – подумал я. – Все что угодно...»

Может случиться даже с Гэтсби, и ничего удивительного в этом не будет.

Шумный полдень. Я пришел, чтобы позавтракать с Гэтсби, в прохладный подвал на Сорок второй стрит. И, проморгавшись после яркого света улицы, увидел его говорившим в темном вестибюле с каким-то мужчиной.

– Мистер Каррауэй, познакомьтесь с моим другом – мистер Вольфшайм.

Низкорослый еврей с приплюснутым носом поднял ко мне большую голову, и я увидел пару густо заросших тонким волосом ноздрей. А еще миг спустя различил в полутьме и маленькие глазки.

– ...таки я бросил на него один взгляд, – сказал, рьяно сотрясая мою руку, мистер Вольфшайм, – и что я, по-вашему, сделал?

– Что? – воспитанно осведомился я.

Впрочем, обращался он, видимо, не ко мне, поскольку, отпустив мою ладонь, наставил свой выразительный нос на Гэтсби.

– Отдал деньги Кэтспо и сказал: «Так вот, Кэтспо, пока он не заткнется, не давайте ему ни пенни». Тут-то он и заткнулся.

Гэтсби взял нас под локти и повел в ресторан, и мистеру Вольфшайму пришлось проглотить следующую уже начатую им фразу, погрузившись в сомнамбулическую задумчивость.

– Хайболы? – спросил метрдотель.

– Хороший ресторан, – сказал мистер Вольфшайм, разглядывая потолочных пресвитерианских нимф. – Но тот, что по другую сторону улицы, мне нравится больше!

– Да, хайболы, – ответил Гэтсби и повернулся к мистеру Вольфшайму: – Там слишком жарко.

– Жарко и людно – да, – согласился мистер Вольфшайм, – зато какие воспоминания!

– Вы о чем говорите? – спросил я.

– О старом «Метрополе».

– Старый «Метрополь», – сумрачно повторил мистер Вольфшайм. – Сколько мертвых лиц. Сколько друзей, ушедших навсегда. До конца моих дней не забуду ночь, когда там застрелили Розы Розенталя¹³. Нас было шестеро за столом, Розы весь вечер много ел и пил. А перед самым утром к нему подошел официант с каким-то странным выражением на лице и говорит: кое-кто хочет побеседовать с вами, ждет снаружи. «Ладно», – отвечает Розы и начинает подыматься, но я дернул его за руку и снова усадил в кресло.

¹³ Розы Розенталь – реальное лицо, мошенник, убитый у входа в «Метрополь» в 1912 году.

– «Если ты нужен этим ублюдкам, Роза, пускай зайдут сюда, а тебе выходить из ресторана незачем, ей-ей». Было уже четыре утра, если бы мы подняли шторы, то увидели бы дневной свет.

– Но он все же вышел? – наивно спросил я.

– Конечно, вышел. – Мистер Вольфшайм гневно дернул в мою сторону носом. – У двери обернулся и говорит: «Не позволяйте официанту унести мой кофе!» И вышел на тротуар, и они всадили в его толстый живот три пули и уехали.

– Четверо из них попали на электрический стул, – вспомнил я.

– Вместе с Беккером – пятеро. – Он заинтересованно повернулся ко мне, снова продемонстрировав волосистые ноздри. – Я так понимаю, вам требуются деловые гонгагты?

Непосредственное соседство двух этих фраз несколько ошеломило меня. Впрочем, ответил ему Гэтсби:

– О нет, – воскликнул он, – это совсем не тот человек!

– Не тот? – Похоже, Гэтсби разочаровал мистера Вольфшайма.

– Он просто мой друг. Я же сказал, о делах мы поговорим в другой раз.

– Прошу прощения, – произнес мистер Вольфшайм. – Я малость сбился.

Подали сочное рагу, и мистер Вольфшайм, забыв о сентиментальной атмосфере старого «Метрополя», с истовым изяществом принялся за еду. Впрочем, взгляд его очень медленно скользил по залу – он закончил круговой обзор, обернувшись, чтобы посмотреть на тех, кто сидел за его спиной. Думаю, только мое присутствие помешало ему мельком заглянуть и под столик, за которым сидели мы.

– Послушайте, старина, – сказал, склонившись ко мне, Гэтсби, – боюсь, я немного рассердил вас этим утром, в машине.

На лице его снова заиграла улыбка, однако на сей раз я против нее устоял.

– Мне не нравятся тайны, – ответил я. – К тому же не понимаю, отчего вы прямо не скажете мне, что вам требуется. Почему я должен узнавать об этом от мисс Бейкер?

– О, никаких козней тут нет, – заверил меня Гэтсби. – Вы же знаете, мисс Бейкер – выдающаяся спортсменка, она никогда не сделала бы чего-то недостойного.

Он вдруг посмотрел на часы, вскочил и торопливо покинул зал, оставив меня в обществе мистера Вольфшайма.

– Звонить пошел, – сообщил, проводив его взглядом, мистер Вольфшайм. – Хороший малый, верно? Красивый и джентльмен настоящий.

– Да.

– Еще и учился в Оксфорде.

– О!

– Это такой колледж в Англии. Вы знаете Оксфордский колледж?

– Слышал о нем.

– Один из самых известных колледжей в мире.

– А вы с Гэтсби давно знакомы? – поинтересовался я.

– Несколько лет, – удовлетворенно ответил он. – Имел удовольствие повстречаться с ним сразу после войны. Мы проговорили около часа, и я понял: передо мной настоящий благовоспитанный джентльмен. И сказал себе: «Вот человек, которого ты с радостью пригласил бы в свой дом и представил матери и сестре».

Он помолчал, затем:

– Я вижу, вы посматриваете на мои запонки.

Вообще говоря, я на них не посматривал, но тут взглянул: кусочки слоновой кости какой-то странно знакомой формы.

– Превосходные образчики человеческих коренных зубов, – заметил мистер Вольфшайм.

– Да что вы! – Я пригляделся повнимательнее. – Какая интересная идея.

– О да, – он поддернул рукава рубашки, убрав запонки под манжеты пиджака. – А еще Гэтсби очень уважителен с женщинами. На жену друга он даже не взглянет никогда.

Как только предмет его инстинктивного доверия вернулся и сел за столик, мистер Вольфшайм залпом допил свой кофе и поднялся на ноги.

– Было очень вкусно, – сказал он, – но теперь, молодые люди, я покидаю вас, чтобы не злоупотреблять вашим гостеприимством.

– Не спешите, Мейер, – сказал Гэтсби, довольно равнодушно, впрочем. Мистер Вольфшайм поднял, словно благословляя нас, ладонь.

– Вы очень учтивы, но я – человек другого поколения, – торжественно возвестил он. – Посидите, побеседуйте о спорте, о ваших юных леди, о вашем...

Он заменил воображаемое существительное еще одним взмахом руки.

– А что я? Мне пятьдесят лет, и я не хочу навязывать вам мое общество.

Когда он пожимал нам руки и уходил, трагический нос его подрагивал. И я подумал, не обидел я его чем.

– По временам на него нападает отчаянная сентиментальность, – пояснил Гэтсби. – Сегодня – один из таких дней. В Нью-Йорке за ним закрепилась слава большого оригинала – и на Бродвее он свой человек.

– Он кто, кстати сказать, – актер?

– Нет.

– Дантист?

– Мейер Вольфшайм? Нет, он игрок. – Гэтсби помялся, но затем спокойно добавил: – Это он провернул в девятнадцатом аферу с результатами Мировой серии.

– Ту самую? – переспросил я.

Новость эта ошеломила меня. Я помнил, конечно, что игры бейсбольного чемпионата 1919-го оказались договорными, но если и думал об этом, то как о чем-то просто случившемся под конец некой цепочки неизбежных событий. Мне и в голову не приходило, что всего лишь один человек мог обмануть доверие пятидесяти миллионов людей – да еще и с целенаправленностью взламывающего сейф грабителя.

– Как же ему это удалось? – спросил я, промолчав целую минуту.

– Просто подвернулась такая возможность.

– А почему он не в тюрьме?

– Его не смогли уличить, старина. Он умен.

Счет оплатил по моему настоянию я. И когда официант принес сдачу, я вдруг увидел на другом конце заполненного людьми зала Тома Бьюкенена.

– Пойдемте на минутку туда, – сказал я. – Мне нужно кое с кем поздороваться.

Увидев нас, Том вскочил из-за столика и сделал с полдесятка шагов нам навстречу.

– Куда ты пропал? – требовательно спросил он. – Дэйзи сердится, что ты к нам не заглядываешь.

– Это мистер Гэтсби. Мистер Бьюкенен.

Они обменялись коротким рукопожатием, на лице Гэтсби появилось незнакомое мне выражение – напряженное и смущенное.

– Ну, как живешь? – спросил Том. – Почему заехал, чтобы поесть, так далеко от дома?

– Мы здесь завтракали с мистером Гэтсби.

Я обернулся к нему, но его больше не было рядом со мной.

В один октябрьский день семнадцатого года...

(так начала свой рассказ Джордан Бейкер, сидевшая, выпрямившись, на стуле с прямой спинкой посреди чайной отеля «Плаза»)

...я шла от дома к дому, где по тротуару, где по газону. Газон мне нравился больше, потому что я была в английских туфлях с резиновыми шпильками на подошвах, впивавшимися в мягкую землю.

На мне была новая клетчатая юбка, которую слегка вздувал ветер, и при каждом его порыве красно-бело-синие флаги всех домов туго натягивались и неодобрительно произносили «те-те-те-те».

Самый большой флаг и самый широкий газон принадлежали дому Дэйзи. Ей только что исполнилось восемнадцать, на два года больше, чем мне, и не было в Луисвилле другой девушки, которая пользовалась бы таким же успехом. Она носила все белое, и двухместный открытый автомобиль ее был белым, и в доме ее весь день звонил телефон, и кто-нибудь из молодых офицеров Кэмп-Тейлора просил, волнуясь, чтобы она оказала ему честь и провела с ним сегодняшний вечер – «или хоть часик!».

Когда я в то утро подошла к ее дому, белый автомобиль стоял у бордюра, а Дэйзи сидела в нем с лейтенантом, которого я прежде не видела. Они были настолько поглощены друг дружкой, что заметили меня лишь после того, как я приблизилась к ним футов на пять.

«Здравствуй, Джордан, – неожиданно окликнула меня Дэйзи. – Будь добра, подойди к нам».

Приглашение польстило мне, потому что я ставила ее выше любой другой взрослой девушки. Она спросила, не направляюсь ли я в Красный Крест, мы там готовили перевязки для солдат. Я туда и направлялась. Хорошо, а смогу я передать, что ее сегодня не будет? Пока Дэйзи разговаривала со мной, офицер смотрел на нее, да так, что каждой девушке захотелось бы занять ее место, и, поскольку мне это показалось безумно романтичным, я хорошо запомнила тот случай. Офицера звали Джей Гэтсби, в следующий раз я увидела его лишь четыре года спустя, на Лонг-Айленде, да и тогда не поняла, что это он самый и есть.

Это было в семнадцатом. На следующий год и у меня появилось несколько поклонников, я начала играть в турнирах и с Дэйзи виделась нечасто. Она водилась с людьми, которые были немного старше ее, – если водилась вообще. О ней ходили странные слухи – рассказывали, например, что одним зимним вечером мать застала ее за укладкой чемодана: Дэйзи собиралась поехать в Нью-Йорк, попрощаться с солдатом, уплывавшим за океан. Из дома ее не выпустили, и она несколько недель не разговаривала с родными. После этого она перестала водиться с военными, предпочитая им тех немногих плоскостопых и близоруких молодых людей нашего города, которых в армию попросту не брали.

К следующей осени она снова повеселела, стала такой, как прежде. После Перемирия¹⁴ состоялся первый ее выход в свет, а в феврале она, как поговаривали, обручилась с мужчиной из Нового Орлеана. Однако в июне вышла замуж за чикагца по имени Том Бьюкенен, и свадьба их была помпезней и пышнее всего, что когда-либо видел Луисвилл. Том привез с собой в четырех арендованных им вагонах сотню гостей, снял в отеле «Зеельбах» целый этаж, а перед венчанием подарил Дэйзи жемчужное ожерелье ценой в триста пятьдесят тысяч долларов.

Я была подружкой невесты. За полчаса до предсвадебного обеда я зашла в ее номер и увидела, что Дэйзи лежит в расшитом цветами платье на кровати, прекрасная, как июньская ночь, и пьяная, как сапожник. В одной руке она держала бутылку «сотерна», в другой – письмо.

«Поздравь меня, – пролепетала она. – Никогда прежде не п-пила, и, о, как же мне это нравится».

«Что случилось, Дэйзи?»

¹⁴ Подписанное союзниками под Компьеном перемирие с Германией (11 ноября 1918), после которого боевые действия уже не велись.

Признаюсь, я перепугалась – мне еще ни разу не доводилось видеть женщину в таком состоянии.

«Вот, д-дорогуша... – Она порылась в мусорной корзине, которая валялась рядом с ней на кровати, и вытащила жемчужное ожерелье. – С-снеси это вниз и отдай к-кому следует. И скажи всем, что Дэйзи пе-передумала. Так и скажи: «Дэйзи передумала!»

И она заплакала – и не могла остановиться. Я выскочила из номера, нашла ее мать, мы заперли дверь, затащили Дэйзи в холодную ванну. Письмо она из руки так и не выпустила. Опустилась с ним в воду и скомкала в мокрый шарик, и позволила мне оставить его в мыльнице, только увидев, что оно рассыпается, точно ком снега.

Но не сказала больше ни слова. Мы дали ей понюхать нашатырного спирта, приложили ко лбу лед, нацепили на нее платье и, через полчаса она вышла из номера с ожерельем на шее – инцидент был исчерпан. Назавтра в пять она преспокойно обвенчалась с Томом Бьюкененом и отправилась в трехмесячное путешествие по южным морям.

Когда они возвратились, я встретилась с ними в Санта-Барбаре и сказала себе, что никогда еще не видела женщину, так безумно любящую мужа. Стоило ему на минуту покинуть их отельный номер, как бедняжка начинала тревожно озираться и спрашивать: «Куда ушел Том?» – и пребывала в полной растерянности, пока он не появлялся в дверях. Она могла просидеть на песке целый час, положив голову Тома себе на колени, потирая пальцами его веки и глядя на него с безмерным упоением. Так трогательно было наблюдать за ними – это зрелище заставляло тебя смеяться, тихо и зачарованно. То было в августе. Через неделю я уехала из Санта-Барбары, и как-то ночью машина Тома врезалась на дороге в Вентуру в фургон, да так, что лишилась переднего колеса. Имя ехавшей с ним женщины тоже попало в газеты, потому что она сломала руку, – женщиной этой была горничная одного из тамошних отелей.

В следующем апреле Дэйзи родила девочку и на год уехала во Францию. Я виделась с ними весной – в Каннах, потом в Довиле, а затем они вернулись в Чикаго, чтобы обосноваться там. Как ты знаешь, в Чикаго Дэйзи любили. Люди их окружали легкие на подъем – молодые, богатые, ветреные, – однако репутация ее была безупречной. Возможно, потому, что она никогда не пила. Оставаясь трезвой в сильно пьющей компании, ты получаешь немалое преимущество. Не говоришь лишнего и, более того, можешь точно выбирать время для любых твоих маленьких шалостей, потому что все прочие окосевают настолько, что ничего не замечают или им просто наплевать. Возможно, Дэйзи так ни одной интрижки и не завела – и все же в ее голосе присутствует что-то...

Ну да ладно, месяца полтора назад она впервые за долгие годы услышала имя Гэтсби. Помнишь, как я поинтересовалась, знаком ли ты с Гэтсби, живущим на Вест-Эгг? После твоего отъезда она поднялась в мою комнату, разбудила меня и спросила: «Что за Гэтсби?», а когда я описала его – я наполовину спала, – сказала на редкость странным тоном, что, возможно, знала этого человека. Только тут я и связала Гэтсби с тем офицером в ее белой машине.

Джордан Бейкер закончила свой рассказ уже после того, как мы, покинув «Плаза», провели полчаса, катаясь в открытой коляске по Центральному парку. Солнце успело сесть за высокие, начиненные квартирами кинозвезд дома Западных Пятидесятих, в жарких сумерках звучали чистые голоса девочек, рассыпавшихся, точно сверчки, по траве. Девочки пели:

«Я – аравийский шейх,
Ты – свет моих очей.
И что ни ночь, пока ты спишь,
Я в твой шатер крадусь, как мышь...»

– Странное получилось совпадение, – сказал я.

– Вовсе не совпадение.

– То есть?

– Гэтсби купил этот дом, чтобы оказаться рядом с Дэйзи – всего лишь по другую от нее сторону бухты.

Стало быть, в ту июньскую ночь он не просто уносился мыслями к звездам. И теперь стал для меня живым человеком, внезапно явившимся на свет из утробы бессмысленного богатства.

– Он хочет знать, – продолжала Джордан, – не согласишься ли ты как-нибудь пригласить Дэйзи к себе на чашку чая и не разрешишь ли заглянуть туда и ему.

Умеренность этой просьбы поразила меня. Он прождал пять лет, купил поместье, где расточал лунный свет перед случайно залетающими к нему мотыльками, и все ради того, чтобы получить когда-нибудь возможность «заглянуть» в дом почти не знакомого ему человека.

– Разве обязательно было посвящать меня в подробности? Он же мог просто попросить о таком пустяке.

– Он боится. Так долго ждал. И еще он думал, что ты можешь оскорбиться. Видишь ли, при всем его внешнем блеске он порядочный дикарь.

И все-таки кое-что меня беспокоило.

– А почему он не попросил тебя устроить их встречу?

– Ему хочется, чтобы она увидела его дом, – объяснила Джордан. – А твой стоит совсем рядом.

– О!

– Думаю, он наполовину надеялся, что как-нибудь ночью Дэйзи забредет на один из его приемов, – продолжала Джордан, – однако она так и не появилась. Тогда он начал словно бы между прочим выпрашивать у людей, знакомы ли они с ней, и я оказалась первой, кого он отыскал. Помнишь ту ночь с танцами, когда он послал за мной? Слышал бы ты, какими замысловатыми путями он подбирался к интересовавшей его теме. Конечно, я сразу предложила завтрак в Нью-Йорке – но он просто взбесился и все повторял: «Я не затеваю ничего предосудительного! Я просто хочу встретиться с ней у соседа». Когда же я сказала, что ты – добрый знакомый Тома, он едва не отказался от своего замысла. О Томе он почти ничего не знает, хоть и говорит, что не один год читает чикагскую газету, надеясь встретить в ней имя Дэйзи.

Уже стемнело, и когда мы заехали под маленький мостик, я обнял Джордан за золотистые плечи, притянул ее к себе и попросил поужинать со мной. Внезапно я и думать забыл о Дэйзи и Гэтсби, остались лишь мысли об этой чистой, твердой, ограниченной особе, только и знавшей, что предаваться вселенскому скепсису, а сейчас беспечно откинувшейся на стиб моей руки. И в ушах моих застучали, кружа мне голову, слова: «Есть только охотники, дичь, и те, кому не до охоты, и те, кто просто устал».

– Надо же и Дэйзи получить что-то от жизни, – промурлыкала Джордан.

– А ей-то хочется увидеть Гэтсби?

– Она ничего не знает. Гэтсби не желает этого. Предполагается, что ты просто пригласишь ее на чашку чая.

Мы миновали стену темных деревьев, а следом фасад Пятьдесят девятой стрит, квартал, заливающий парк нежно-бледным светом. В отличие от Гэтсби и Тома Бьюкенена, у меня не было женщины, чье бесплотное лицо могло бы плыть вдоль темных карнизов и слепящих вывесок, и потому я, согнув руку, притянул поближе ту, что сидела рядом со мной. Бледные, презрительные губы ее разошлись в улыбке, и я притянул ее снова, еще ближе, к лицу.

Глава пятая

Возвращаясь той ночью на Вест-Эгг, я ненадолго испугался, подумав, что дом мой горит. Было два часа ночи, однако весь наш уголок полуострова заливался ярким светом, падавшим, обращая их в искусственные, на кусты и длинно отблескивавшим на тянувшихся вдоль дороги проводах. Но тут дорога произвела поворот, и я увидел, что это особняк Гэтсби светится от башни до погреба.

Поначалу я решил, что там происходит очередной прием, что буйное сборище гостей затеяло игру в прятки¹⁵ и дом предоставили в их распоряжение. Однако из него не доносилось ни звука. Только ветер шумел листвою да раскачивал провода, заставляя свет то гаснуть, то вспыхивать снова, отчего огромный особняк словно подмигивал мне в темноте. А когда такси, стеной, отъехало, я увидел, что ко мне идет через свою лужайку Гэтсби.

– Ваш дом смахивает на Всемирную выставку, – сказал я.

– Да? – Он обернулся, окинул особняк рассеянным взглядом. – Мне захотелось прогуляться по нему. Давайте поедem на Кони-Айленд, старина. В моей машине.

– Слишком поздно.

– Ну, тогда, может быть, в бассейне поплаваем? Я еще не окунался в него этим летом.

– Я предпочел бы лечь спать.

– Ладно.

Он ждал, глядя на меня со сдержанным нетерпением.

– Мы поговорили с мисс Бейкер, – сказал я после недолгого молчания. – Завтра позвоню Дэйзи и приглашу ее сюда на чай.

– О, хорошо, – небрежно откликнулся он. – Мне только не хотелось бы, чтобы у вас возникли какие-нибудь сложности.

– Какой день вас устроит?

– Какой день устроит вас? – быстро поправил меня Гэтсби. – Я не хочу доставлять вам лишние хлопоты, понимаете?

– Как насчет послезавтра?

Он на миг задумался. Затем, словно против воли, сказал:

– Надо бы траву подстричь.

Мы оба взглянули на нее – мою косматую лужайку отделяла от его, более темной, прекрасно ухоженной, отчетливая граница. По-видимому, он говорил о моей траве.

– Есть и еще одна мелочь, – неуверенно произнес он и примолк.

– Вы предпочли бы отложить все на несколько дней? – спросил я.

– О, я не о том. Во всяком случае... – Он мямлил, путаясь в словах, не зная, как начать: – Я тут подумал... наверное... послушайте, старина, вы ведь зарабатываете не так уж и много, верно?

– Не очень.

По-видимому, мой ответ как-то успокоил Гэтсби, потому что продолжил он с большей уверенностью:

– Я так и думал, простите меня за... видите ли, помимо прочего, я занимаюсь одним делом, это что-то вроде побочного бизнеса, понимаете? Ну и подумал, если вам не хватает денег... Вы ведь ценными бумагами торгуете, так, старина?

– Пытаюсь.

¹⁵ На западе также распространен вариант игры (в прятки), который называется «сардинки». В этом варианте прячется один, а ищут его все остальные. Тот, кто найдет его первым, прячется вместе с ним. Затем к ним присоединяется следующий, кто их найдет, потом по очереди все остальные. Игра кончается, когда последний игрок присоединяется к остальным. Он объявляется проигравшим и обычно прячется следующим. В сардинки часто играют в темноте.

– Ну вот, тогда это может вас заинтересовать. Времени оно займет немного, а деньги принесет приличные. Правда, дело довольно конфиденциальное.

Ныне я понимаю, что при других обстоятельствах тот разговор мог стать поворотным пунктом моей жизни. Но, поскольку предложение его было очевидной и бестактной платой за услугу, которую я ему оказывал, мне оставалось только одно – ответить отказом.

– У меня и без того работы хватает, – сказал я. – Премного благодарен, но взяться еще за одну я не смогу.

– С Вольфшаймом вам никаких дел вести не придется. – По-видимому, он решил, что меня пугают упомянутые во время недавнего завтрака «гонтагты», однако я заверил его, что он ошибается. Гэтсби подождал немного, надеясь, что я продолжу разговор, но я был слишком увлечен своими переживаниями, чтобы вести беседу, и он нехотя отправился восвояси.

Случившееся тем вечером обратило меня в человека легкомысленного, счастливого; думаю, я заснул, едва переступив порог моего дома. И потому не знаю, поехал Гэтсби на Кони-Айленд, не поехал и долго ли еще «прогуливался» он по своему ослепительно сверкавшему дому. Поутру я из офиса позвонил Дэйзи и пригласил ее на чашку чая.

– Только Тома не привози, – предупредил я.

– Что?

– Не привози Тома.

– А Том – это кто? – невинно осведомилась она.

В день, о котором мы с ней условились, шел проливной дождь. В одиннадцать утра в дверь моего дома постучал приволокший газонокосилку мужчина в дождевике – по его словам, мистер Гэтсби велел ему подстричь мою траву. Это напомнило мне, что я забыл попросить мою финскую служанку прийти пораньше, – пришлось ехать в деревню, искать ее по слякотным, заставленным белеными домами улочкам, да заодно и прикупить чашки, лимоны и цветы.

Цветы оказались лишними, поскольку в два часа дня мне доставили из дома Гэтсби содержимое целой оранжереи вместе с бесчисленными вазами для его размещения. Часом позже входная дверь моего дома нервно распахнулась, и в нее торопливо вошел Гэтсби – в костюме из белой фланели, серебристой сорочке при золотистом галстуке. Он был бледен, с темными следами бессонной ночи под глазами.

– Все в порядке? – еще с порога спросил он.

– Если вы о траве, выглядит она превосходно.

– О какой траве? – удивился Гэтсби. – А, во дворе...

Он выглянул в окно, однако, судя по выражению его лица, мало что увидел.

– Выглядит хорошо, – неуверенно сообщил он. – В какой-то газете написано, что около четырех дождь прекратится. По-моему, в «Джорнал». Вам удалось раздобыть все необходимое, чтобы... необходимое для чая?

Я отвел его в буфетную, где он окинул взглядом – не весьма одобрительным – мою финку. Затем мы осмотрели дюжину лимонных пирожных, купленных мной в деликатесной лавочке.

– Сойдут? – спросил я.

– Конечно, конечно! Отличные! – воскликнул Гэтсби и загробным голосом прибавил: – ...старина.

Около половины четвертого ливень выдохся, обратившись в сырой туман, из которого время от времени выплывали крошечные капли – словно роса садилась. Гэтсби вперялся пустым взором в «Экономику» Клея, вздрагивая от сотрясавшей кухонный пол поступи финки и время от времени поглядывая на запотевшие окна, – как будто за ними совершались невидимые нам, но зловеющие события. В конце концов он встал и робко уведомил меня, что уходит домой.

– С чего бы это?

– Никто к вам на чай не приедет. Слишком поздно! – и он посмотрел на часы – так, словно его ожидали где-то еще неотложные дела. – Я не могу ждать целый день.

– Не дурите; сейчас всего лишь без двух минут четыре.

Он с жалким видом плюхнулся, словно я толкнул его, в кресло, и тут же слышался рокот подъезжавшей к моей лужайке машины. Мы оба вскочили на ноги, и я, немного стыдясь себя, вышел во двор.

Под давно отцветшими, роняющими капли кустами сирени к моей подъездной дорожке приближался большой открытый автомобиль. Вот он остановился. Из-под треугольной лавандовой шляпы на меня смотрела, чуть наклонив голову, восторженно улыбающаяся Дэйзи.

– Так вот где ты обитаешь, бесценный мой?

Веселящие душу переливы ее голоса под дождем разом взбодрили меня. Недолгое время я просто слушал его возвышения и падения и только потом стал различать слова. Мокрая прядь волос лежала на ее щеке, точно мазок синей краски, на руке Дэйзи блеснули, когда я помог ей выйти из машины, капли воды.

– Ты ведь влюблен в меня, – негромко сказала она мне на ухо. – Иначе зачем тебе было просить, чтобы я приехала одна?

– Это тайна замка Рэкрен¹⁶. Отошли куда-нибудь на часок твоего шофера.

– Вернетесь за мной через час, Ферди, – затем серьезным шепотом: – Его зовут Ферди.

– Запах бензина не вредит его носу?

– Не думаю, – с невинным видом ответила Дэйзи. – А почему ты спрашиваешь?

Мы вошли в дом. К великому моему удивлению, гостиная оказалась пустой.

– С ума сойти! – воскликнул я.

– О чем ты?

И Дэйзи обернулась на легкий, чинный стук во входную дверь. Я открыл. Посреди большой лужи стоял бледный как смерть Гэтсби, засунув, словно гири, кулаки в карманы пиджака и трагически глядя мне в глаза.

Так и не вынув рук из карманов, он прошел мимо меня в прихожую, резко, будто марионетка на ниточке, развернулся и скрылся в гостиной. Решительно ничего смешного я в этом не усмотрел. Чувствуя, как колотится мое сердце, я потянул дверь на себя, чтобы отгородиться от разошедшегося дождя.

С полминуты я не слышал ни звука. Потом из гостиной до меня донеслось что-то вроде сдавленного бормотания, короткий смешок, а следом голос Дэйзи, произнесшей с откровенно фальшивой интонацией:

– Разумеется, я ужасно рада снова увидеть вас.

Пауза; страшно долгая. Делать мне в прихожей было нечего, и я вошел в гостиную.

Гэтсби – руки по-прежнему в карманах – стоял, прислонясь к каминной полке и натужно изображая полную непринужденность, даже скуку. Голову он откинул назад, так далеко, что уперся затылком в давно остановившиеся каминные часы, смятенный взгляд его был устремлен вниз, на Дэйзи, а та, испуганная, но изящная, сидела на краешке туго набитого кресла.

– Мы когда-то были знакомы, – пробормотал Гэтсби. Взгляд его на миг скользнул по мне, губы разделились в безуспешной попытке усмехнуться. По счастью, часы выбрали именно это мгновение, чтобы опасно наклониться под натиском его головы, заставив Гэтсби обернуться, подхватить их дрожащими пальцами и водворить на место. После чего он неуклюже опустился на кушетку, поставил локоть на ее подлокотник, и подпер подбородок ладонью.

– Прошу прощения за часы, – сказал он.

Лицо мое горело, как будто его обожгло тропическое солнце. В голове вертелась тысяча затасканных фраз, однако выговорить мне ни одной не удавалось.

¹⁶ «Замок Рэкрен» (1800) – первый в Европе исторический роман, написанный ирландкой Марией Эджуорт (1767–1849).

– Они старые, – идиотически сообщил я.

Сдается, всем нам казалось в тот миг, что часы рухнули на пол и разбились вдребезги.

– Мы уже много лет не встречались, – на редкость ровным тоном сообщила Дэйзи.

– В ноябре будет пять.

Машинальный ответ Гэтсби заставил нас умолкнуть снова – самое малое на минуту. Наконец я, из одного лишь отчаяния, предложил им помочь мне на кухне с чаем, Дэйзи и Гэтсби вскочили на ноги, и тут проклятая финка внесла поднос, на котором он и стоял, уже готовый.

Долгожданная суэта с чашками и пирожными снова вернула нашему поведению хотя бы внешнюю пристойность. Гэтсби стушевался, мы с Дэйзи беседовали, а он пристально смотрел в лицо тому из нас, кто говорил, и взгляд его был тревожным и несчастным. Но ведь мы собрались здесь не ради мирной беседы, и потому я при первой же возможности попросил извинить меня и встал.

– Куда вы? – в мгновенном испуге спросил Гэтсби.

– Скоро вернусь.

– Мне нужно поговорить с вами кое о чем перед вашим уходом.

Он торопливо последовал за мной на кухню, прикрыл дверь и жалобно прошептал:

– О господи!

– Что с вами?

– Все это ужасная ошибка, – сказал он, покачивая головой из стороны в сторону, – ужасная, ужасная.

– Вы просто смущены, вот и все, – ответил я и, по счастью, добавил: – Как и Дэйзи.

– Смущена? – недоверчиво переспросил он.

– Ровно настолько же, насколько вы.

– Говорите потише.

– Ведете себя как мальчишка, – сердито выпалил я. – Мало того, ведете себя невоспитанно. Дэйзи сидит там одна.

Он поднял ладонь, чтобы заставить меня замолчать, с незабываемым укором посмотрел мне в глаза, опасливо открыл дверь и вернулся в гостиную.

Я вышел через заднюю дверь, – как Гэтсби полчаса назад, когда он, занервничав, обошел вокруг дома, – и побежал к огромному дереву с узловатым черным стволом и густой кроной, подобием тента, способного укрыть меня от дождя. А дождь припустил снова, и моя неровная лужайка, столь чисто выбритая садовником Гэтсби, уже успела обзавестись множеством грязных трясинок и первобытных топей. Смотреть из-под дерева мне было не на что, только на огромный дом Гэтсби, ну я и смотрел целых полчаса, совершенно как Кант на церковный шпиль. Десять лет назад дом этот построил помешавшийся на «старине» пивовар, – рассказывают, что он предложил владельцам окрестных коттеджей пять лет платить за них налоги, если они заменят свои кровли соломенными. Не исключено, что их отказ сделал невозможным исполнение его замысла – стать зачинателем Прославленного Рода, – отчего жизнь пивовара быстро покатилась к печальному концу. Дети его продали дом с еще висевшим на двери похоронным венком. Американцы хоть и готовы по временам обращаться в рабов, но быть крестьянами не хотят ни в какую.

Через полчаса солнце просияло снова, а на подъездную дорожку Гэтсби завернул автомобиль бакалейщика, груженный продуктами, из которых предстояло состряпать ужин для слуг – я не сомневался, что хозяин их даже одной ложки сегодня не проглотит. Горничная начала распахивать окна верхнего этажа, на миг появляясь в каждом, а добравшись до самого большого, эркерного, высунулась в него и задумчиво плюнула в парк. Пора было возвращаться. Дождь, пока он шел, казался мне рокотом двух голосов, время от времени чуть возвышавшихся

и стихавших в приливах чувств. Теперь же все смолкло, и я почувствовал, что тишина наступила и в моем доме.

Я вошел в него, постарался наделать на кухне побольше шума – разве что плиту на пол не уронил, – думаю, впрочем, что гости мои ничего не слышали. Они сидели по разным концам кушетки, глядя друг на дружку так, словно уже был задан или сам по себе повис в воздухе некий вопрос; последние остатки владевшего ими смущения исчезли, не оставив и следа. По лицу Дэйзи были размазаны слезы, и едва я появился в гостиной, как она поднялась с кушетки, подошла к зеркалу и принялась утирать их носовым платком. А вот Гэтсби изменился разительно. Он буквально светился; новообретенное блаженство исходило им без единого ликующего слова или жеста, заполняя собой маленькую гостиную.

– О, здравствуйте, старина, – произнес он так, будто мы не виделись бог знает сколько лет. Я даже подумал на миг, что он мне сейчас руку пожмет.

– Дождь перестал.

– Правда? – поняв, о чем я говорю, заметив наконец рассыпавшиеся по комнате зайчики солнечного света, он улыбнулся, как счастливый синоптик, как восторженный ревнитель вечного возвращения света, и повторил новость Дэйзи: – Как вам это понравится? Дождь перестал.

– Я рада, Джей. – Голос ее, мучительно, горестно прекрасный, говорил сейчас лишь о неожиданном счастье.

– Я хочу, чтобы вы с Дэйзи заглянули в мой дом, – сказал Гэтсби. – Я бы показал его ей.

– Вы уверены, что я вам не помешаю?

– Абсолютно, старина.

Дэйзи поднялась наверх, умыться, – я слишком поздно вспомнил об унижительном состоянии моих полотенец, – мы с Гэтсби ждали ее на лужайке.

– Хорошо выглядит мой дом, верно? – спросил он. – Посмотрите, как его фасад ловит свет.

Я согласился: да, дом великолепен.

– Да. – Гэтсби окинул его взглядом, каждую арочную дверь, квадратную башню. – Три года ушло у меня на то, чтобы заработать деньги на его покупку.

– Я думал, деньги у вас наследственные.

– Были, старина, – с какой-то заезженной интонацией ответил он, – но большую их часть я потерял во время великой паники – паники войны.

Думаю, он едва ли понимал, что говорит, поскольку на мой вопрос о его бизнесе ответил: «Это мое дело», не успев вовремя сообразить, что такой ответ недопустим.

– О, я много чем занимался, – поправился он. – Лекарствами, потом нефтью. Однако сейчас их оставил.

И Гэтсби взглянул на меня с несколько большим вниманием:

– Вы хотите сказать, что подумали над тем моим ночным предложением?

Прежде чем я успел ответить, из дома вышла Дэйзи, и два ряда медных пуговиц ее платья блеснули под солнцем.

– Вон тот огромный дворец? – воскликнула она, указав на особняк Гэтсби.

– Вам он нравится?

– Очень, только я не понимаю, как вы живете в нем совсем один.

– А я стараюсь, чтобы его днем и ночью наполняли интересные люди. Люди, которые занимаются чем-нибудь интересным. Знаменитости.

Мы не стали срезать путь берегом Пролива, а прошли по дороге и вступили в поместье через большие боковые ворота. Дэйзи, зачарованно мурлыча, любовалась то одной, то другой частностью уходившего в небо феодального силуэта, восхищалась парком, упивалась игристым ароматом нарциссов, шипучим – боярышника и слив в цвету, бледно-золотистым – жимолости. Странно это было – приблизиться к мраморным ступеням и не увидеть ни суматошной толпы,

ни ярких нарядов, появляющихся из двери и исчезающих за нею, не услышать ни звука, кроме пения птиц в древесной листве.

А минуя музыкальные гостиные в духе Марии-Антуанетты и салоны в стиле Реставрации, я не мог отделаться от ощущения, что за каждой кушеткой и под каждым столом прячутся гости, коим приказано хранить бездыханное безмолвие, пока мы не уйдем. И готов был поклясться, что, когда Гэтсби затворил дверь «Библиотеки Мертон-Колледжа»¹⁷, я услышал за ней призрачный смешок Совиноглазого.

Мы поднялись наверх, прошли по «старинным» спальням, утопавшим в розовых и лавандовых шелках, озаренным свежими цветами, по гардеробным, и бильярдным, и ванным комнатам с утопленными в полы ваннами – и в одной из комнат наткнулись на кудлатого господина в пижамной паре, упражнявшего, сидя на полу, свою печень. Им был мистер Клипспрингер, «поселенец». Тем утром я заметил его бродившим с оголодалым видом по пляжу. В конце концов мы добрались до личных покоев хозяина дома – спальня, ванная комната, кабинет, обставленный мебелью в стиле Адама, – и там присели и выпили по рюмочке «Шартреза», бутылку которого Гэтсби достал из стенного буфета.

Он неотрывно смотрел на Дэйзи и, думаю, заново переоценивал все, увиденное нами в доме, исходя при этом из ее впечатлений, из выражения столь любимых им глаз. Впрочем, нет, время от времени он окидывал свои богатства удивленным взглядом – как будто в заправдашном, завораживающем присутствии Дэйзи все они становились нереальными. А один раз едва не слетел с лестницы.

Спальня Гэтсби оказалась наискромнейшей комнатой дома – если не считать того, что на комодке ее стоял туалетный прибор из чистого тусклого золота. Дэйзи схватила щетку и с наслаждением пригладила волосы, Гэтсби сел, прикрыл ладонью глаза и рассмеялся.

– Удивительное дело, старина, – весело сказал он. – Ничего не могу поделать... как ни стараюсь...

Гэтсби пережил у меня на глазах два отдельных состояния и вступал в третье. После начального смущения, после нерассудительной радости он весь отдался чуду присутствия Дэйзи. Он так долго думал о нем, промечтал его от начала и до конца, ждал, сцепив, так сказать, с немислимым напряжением зубы. И теперь останавливался, точно часы с перекрученным заводом.

Через минуту он пришел в себя и открыл перед нами два громадных гардероба со множеством костюмов, халатов, галстуков и рубашек, уложенных, будто кирпичи, в штабеля – по дюжине в каждом.

– Я держу в Англии человека, который покупает для меня одежду. В начале каждого сезона, весеннего и осеннего, он присылает мне готовые подборки.

Гэтсби вытащил из гардероба стопку рубашек и принялся бросать их одну за одной на стол для нашего обозрения – рубашки из чистого льна, и плотного шелка, и тонкой фланели, – падая, они расправлялись и вскоре покрыли стол многокрасочной грудой. Пока мы любовались ими, Гэтсби извлек новую стопку, и яркая груда подросла еще – рубашки в полоску, узорчатые, в коралловую и светло-зеленую клетку, лавандовые, бледно-оранжевые, с индиговыми монограммами. Неожиданно Дэйзи, сдавленно вскрикнув, уткнулась в них лицом и разразилась рыданиями.

– Какие они прекрасные, – произнесла она приглушенным тканью голосом. – Мне грустно, потому что я никогда не видела такой... такой красоты.

Мы собирались выйти из дома, чтобы осмотреть лужайки, парк, плавательный бассейн, гидроплан, летние цветы, однако опять полил дождь, и мы просто постояли у окна спальни, глядя на покрывшийся зыбью Пролив.

¹⁷ Оксфордская, старейшая в мире, научная библиотека, так и работающая со времени ее открытия (около 1373).

– Если б не дымка, мы смогли бы увидеть ваш дом на том берегу бухты, – сказал Гэтсби. – Каждую ночь на вашем причале горит зеленый огонек.

Дэйзи порывистым движением взяла его под руку, однако он, похоже, полностью ушел в мысли о только что сказанном. Возможно, ему пришло в голову, что этот огонек лишился теперь прежнего великого значения, и уже навсегда. При том огромном расстоянии, что совсем недавно разделяло их, огонек казался таким близким к Дэйзи, почти льнувшим к ней. Близким, как звезда к луне. А теперь он вновь обратился в зеленый фонарик на краю причала. И у Гэтсби стало одним волшебством меньше.

Я начал прогуливаться по комнате, разглядывая в полутьме всякие не вполне понятные мне вещи. И внимание мое привлекла большая, висевшая над письменным столом фотография пожилого мужчины в костюме яхтсмена.

– Кто это?

– Это? Это мистер Дэн Коди, старина.

Имя показалось мне отдаленно знакомым.

– Он уже умер. А в давние годы был моим лучшим другом.

На бюро стояла маленькая фотография вызывающе приподнявшего подбородок Гэтсби – восемнадцатилетний примерно, он тоже был одет как яхтсмен.

– Как мило! – вскричала, увидев ее, Дэйзи. – Волосы назад, да еще и кок! Вы никогда не говорили, что у вас была такая прическа – и яхта.

– Взгляните-ка, – поспешил предложить Гэтсби. – Это газетные вырезки – с вашим именем.

Они стояли бок о бок, перебирая бумажки. Я собрался было попросить, чтобы он показал мне рубины, но тут зазвонил телефон, и Гэтсби поднял трубку.

– Да... Ну, сейчас я разговаривать не могу... Не могу разговаривать, старина... Я же сказал: небольшой городок... Он должен знать, что такое небольшой городок... Ладно, если он считает Детройт небольшим, нам от него проку не будет...

Он положил трубку.

– Идите сюда, скорее! – крикнула от окна Дэйзи.

Дождь еще продолжался, однако на западе тьма расступилась, и над морем протянулся вал словно бы вспененных золотистых и розовых облаков.

– Посмотрите, – прошептала она и, немного помолчав, добавила: – Хорошо бы поймать одно, упрятать вас в него и не выпускать.

Я предпринял попытку уйти, однако они и слышать об этом не захотели; наверное, мое присутствие усугубляло владевшее ими чувство счастливого одиночества.

– Я знаю, чем мы займемся, – сказал Гэтсби, – заставим Клипспрингера поиграть на рояле.

Он вышел из комнаты, крича: «Юинг!», и через пару минут вернулся в сопровождении стесняющегося, слегка потасканного молодого человека с редкими светлыми волосами и в очках с черепаховой оправой. Теперь он был одет благопристойно – «спортивная рубашка» с отложным воротничком, теннисные туфли и неуяснимого цвета парусиновые штаны.

– Мы не помешали вашим занятиям? – воспитанно поинтересовалась Дэйзи.

– Да я спал! – воскликнул мистер Клипспрингер, и его даже передернуло слегка от смущения. – То есть сначала спал. А потом проснулся и...

– Клипспрингер играет на рояле, – сказал, не дав ему закончить, Гэтсби. – Ведь так, Юинг, старина?

– Ну, какое там «играет». Я не... я почти и не умею. Очень давно не упраж...

– Пошли вниз, – снова прервал его Гэтсби. И щелкнул выключателем. Серые окна исчезли, дом наполнился светом.

В музыкальной гостиной Гэтсби включил только одну лампу, у рояля. Поднеся подрагивавшую спичку к сигарете Дэйзи, он уселся с ней на диван в дальнем углу комнаты, освещенном лишь тем скудным светом, что падал из коридора, а затем отражался лакированным полом.

Клипспрингер сыграл «Любовное гнездышко», повернулся на табурете и горестными глазами отыскал в сумраке Гэтсби.

– Вот видите, очень давно не упражнялся. Говорил же я, что играть не умею. Очень давно не упраж...

– Не стоит так много болтать, старина. Играйте! – скомандовал Гэтсби.

Будь то утро,
Будь то вечер,
Мы смеемся и поем...

Снаружи шумел ветер, над Проливом полыхали проблески далеких молний. На Вест-Эгг уже горели все огни, набитые людьми электрические поезда неслись сквозь дождь из Нью-Йорка. Стоял тот час, когда в людях совершаются огромные перемены и воздух насыщается их возбуждением.

Одно скажу наверняка и нет ничего вернее,
Богач получает денежки, бедняк получает деток.
Но порой,
Но в промежутках...

Подойдя к ним, чтобы проститься, я увидел, что на лицо Гэтсби вернулось выражение замешательства, вызванное, быть может, опасливыми сомнениями в качестве его нынешнего счастья. Почти пять лет! Даже и сегодня наверняка случались мгновения, когда Дэйзи обманывала ожидания Гэтсби – не по своей вине, но по причине колоссальной мощи его мечтаний. Они были выше ее возможностей, выше всего, что существует на свете. Гэтсби отдавался им с творческой страстностью, то и дело добавляя к ним что-то новенькое, украшая их каждым цветным перышком, какое приплывало к нему по воздуху. Никакому сиянию, никакой свежести не по силам спорить с призраками, которыми человек населяет свое сердце.

Я воочию увидел, как Гэтсби пытается совладать с собой. Рука его сжала руку Дэйзи, и та негромко произнесла что-то ему на ухо, и всплеск эмоций заставил его резко повернуться к ней. Думаю, пуще всего Гэтсби пленяли переливы, переменчивая теплота ее голоса, вот уж чего он не мог преувеличить в своих мечтаниях – голоса Дэйзи с его бессмертной певучестью.

На время они обо мне забыли, но вскоре Дэйзи все-таки посмотрела на меня, протянула руку; Гэтсби же, если судить по его лицу, и знаком-то со мной не был. Я окинул их еще одним взглядом, и оба тоже глянули на меня, но как-то издали, одержимые одной лишь пронизанной сильными чувствами жизнью. И я вышел из комнаты и спустился по мраморным ступеням под дождь, предоставив их друг дружке.

Глава шестая

Примерно в это время к Гэтсби заявился как-то поутру нью-йоркский репортер, спросивший, есть ли у него что сказать.

– Сказать о чем? – вежливо осведомился Гэтсби.

– Не важно – сгодится любое заявление.

После пяти минут бесполового разговора выяснилось, что репортер слышал в редакции своей газеты, как имя Гэтсби упоминалось в некой связи, которую он либо не желал обозначить, либо толком не понял. И с похвальной предприимчивостью использовал первый же свой выходной, дабы «выяснить что к чему».

Действовал репортер на авось, однако нюх его не подвел. Зловещая известность Гэтсби, коей он был обязан сотням тех, кто пользовался его гостеприимством и в результате стал авторитетным знатоком его прошлого, разрослась за то лето настолько, что могла того и гляди выплеснуться на страницы газет. Современные легенды наподобие «подземного трубопровода до Канады» словно сами собой липли к нему, а одна выдумка отличалась особой живучестью: оказывается, Гэтсби жил вовсе не в доме, а на корабле, который выглядел совершенно как дом, и тайком переплывал туда-сюда вдоль берегов Лонг-Айленда. А вот почему такие рассказы доставляли удовольствие Джеймсу Гэтцу, уроженцу Северной Дакоты, сказать трудно.

Джеймс Гэтц – таким было настоящее или, во всяком случае, полученное им при рождении имя Гэтсби. Нынешнее он принял в семнадцать лет, в особый миг, ставший отправной точкой его карьеры, – он увидел тогда, как яхта Дэна Коди бросает якорь на одной из самых коварных отмелей Верхнего озера. В тот послеполуденный час по берегу бездельно слонялся в драной зеленой фуфайке и парусиновых штанах все еще Джеймс Гэтц, однако одолжил гребную лодку и подплыл к «Туоломи» – дабы уведомить Коди, что через полчаса может налететь ветер, который просто-напросто сломает его яхту пополам, – уже Джей Гэтсби.

Я полагаю, что имя это он примерял на себя довольно долгое время. Родителями Гэтсби были бесполовые, неудачливые фермеры, и воображение его никогда их всерьез родителями не считало. Истина такова: Джей Гэтсби с Вест-Эгг, Лонг-Айленд, был взлелеян ему же и принадлежавшей платоновской идеей его самого. Он был сыном Божиим – выражение, которое если что-нибудь и значит, то следующее: он должен исполнять Волю Отца Своего, посвятить себя служению великой, вульгарной, мишурной красоте. И он придумал Джей Гэтсби – какого только и мог придумать юноша семнадцати лет – и сохранил верность этому образу до самого конца.

Он уже больше года провел на южном берегу Верхнего озера, ловил семгу, выкапывал на отмелях съедобных моллюсков, вообще брался за все, что позволяло оплатить кров и еду. В те трудные дни то неистовой, то вялой работы его загорелое, выносливое тело жило своей естественной жизнью. Женщин он узнал рано и, поскольку они его баловали, проникся к ним презрением – к юным девственницам за неведение, к прочим – потому, что они закатывали истерики из-за того, что он, в непомерном его эгоцентризме, считал само собой разумеющимся.

Однако в душе юноши бушевала беспрестанная смута. Ночью в постели его посещали самые причудливые, несбыточные фантазии. Неопишуемая в ее безвкусной яркости вселенная разворачивалась в голове молодого человека, пока тикали на полочке умывальника часы и луна пропитывала влажным светом его одежду, грудой сваленную на полу. Каждую ночь он добавлял что-то к рисуемой его фантазией картине, пока сон не обездвигивал очередную живую сцену, заключая ее в объятия забвения. До поры до времени эти грезы служили отдушиной его воображению; они были утешительными намеками на нереальность реального, дарили надежду на то, что грузная громада мира надежно опирается на крылышко феи.

За несколько месяцев до того инстинктивное предвкушение будущего величия привело юношу в южную Миннесоту, в маленький лютеранский колледж Святого Олафа. Он провел там две недели, впав в смятение от жестокого безразличия колледжа к бою барабанов его судьбы, и в итоге отверг работу дворника, которой расплачивался за учебу. Потом он вернулся на Верхнее озеро и все еще подыскивал для себя занятие, когда на прибрежном мелководье бросила якорь яхта Дэна Коди.

Коди, к тому времени пятидесятилетний, был порождением серебряных приисков Невады, Юкона, каждой «металлической лихорадки», какие только сотрясали страну с семьдесят пятого года. Операции с добытой в Монтане медью принесли ему многие миллионы, которые застали его еще крепким физически, но уже начавшим выживать из ума, и бесчисленные женщины, учуяв это, старались разлучить Коди с его деньгами. Не слишком аппетитные происки, посредством которых Элле Кэй, газетчице, удалось, играя на слабостях Коди, занять при нем место мадам де Ментенон, а там и отправить его в долгое плавание на яхте, широко обсуждались велеречивой прессой 1902-го. Пять лет он проплавал вдоль чрезмерно гостеприимных берегов, пока наконец не добрался, приняв обличье судьбы Джеймса Гэтца, до залива Литл-Герлз.

Юному Гэтцу, который сушил весла, глядя вверх, на поручни палубы, яхта представлялась средоточием всей красоты и блеска, какие существуют на свете. Полагаю, он улыбался Коди, вероятно уже поняв к тому времени, что улыбка его нравится людям. Так или иначе, Коди задал ему несколько вопросов (в ответ на один из них и прозвучало впервые новое имя) и обнаружил, что юноша быстр умом и необычайно честолобив. Несколько дней спустя Коди свозил его в Дулут и купил ему синюю куртку, шесть пар белых парусиновых брюк и фуражку яхтсмена. И когда «Туоломи» отплыла в Вест-Индию и к Варварскому берегу, Гэтсби был на ее борту.

Частные обязанности его определены не были: состоя при Коди, он поочередно обращался в стюарда, помощника капитана, шкипера, секретаря и даже тюремного надзирателя – трезвый Дэн Коди знал, на какое расточительство способен Дэн Коди пьяный, и все в большей и большей мере полагался на Гэтсби, как на сдерживающее начало. Их отношения продлились пять лет, за которые яхта три раза обогнула континент. Могли бы продлиться и дольше, но как-то ночью в Бостоне на борт ее поднялась Элла Кэй, а через неделю Дэн Коди негостеприимно скончался.

Я помню его портрет, висевший в спальне Гэтсби: седой багроволицый мужчина с жесткими и пустыми глазами – дебошир-первопроходец, который в определенный период жизни Америки возродил на восточном побережье дикие нравы борделей и салунов фронта. Это ему (опосредованно) обязан Гэтсби своим воздержанием от спиртного. Случалось, что на развеселых приемах Гэтсби женщины орошали его волосы шампанским, однако сам он взял за правило избегать хмельных напитков.

И именно от Коди он унаследовал деньги – двадцать пять тысяч долларов. Правда, они ему не достались. Жертвой каких юридических каверз он стал, Гэтсби так и не понял, но все, что уцелело от миллионов Коди, поступило в распоряжение Эллы Кэй. Гэтсби же получил весьма и весьма пригодившийся ему впоследствии опыт, а размытые очертания образа Джея Гэтсби приобрели определенность и наполнились по-настоящему человеческим содержанием.

Все это он рассказал мне много-много позже, но я поместил его рассказ здесь, дабы уничтожить те первые дикие слухи о прошлой жизни Гэтсби, в которых не было и тени правды. Более того, рассказал в часы совершенного моего замешательства – я готов был тогда поверить всему, что о нем болтали, и не поверить ничему. Вот я и воспользовался, дабы развеять предвзятые представления о нем, этим коротким перерывом, во время которого Гэтсби переводил, так сказать, дыхание.

Помимо прочего, перерыв относился и к тому, что касалось моей причастности к делам Гэтсби. Пару недель я и не видел его, и голоса по телефону не слышал – большую часть этого времени я провел в Нью-Йорке, прогуливаясь с Джордан и стараясь снискать расположение ее дряхлой тетушки, – но в конце концов пришел после полудня одной из суббот в его дом. Я не провел там и двух минут, как кто-то затащил туда – ради выпивки – Тома Бьюкенена. Естественно, я испугался, хотя, по правде сказать, следовало бы удивляться тому, что он не появился у Гэтсби много раньше.

К дому подъехали трое верховых – Том, некий мистер Слоан и хорошенькая женщина в коричневой амазонке, здесь уже бывавшая.

– Счастлив вас видеть, – сказал вышедший на террасу Гэтсби. – Счастлив, что вы заглянули ко мне.

Как будто им было не все равно!

– Присаживайтесь. Сигареты, сигары? – Он быстро прохаживался по гостиной, дергая за шнуры звонков. – Напитки нам принесут мигом.

Появление Тома сильно подействовало на него. Впрочем, он так или иначе чувствовал бы себя неловко, пока не попотчевал их чем-либо, поскольку догадывался, хотя и смутно, что ради того они и явились. Правда, мистер Слоан решительно ничего не желал. Лимонад? Нет, спасибо. Немного шампанского? Совсем ничего, спасибо... Извините...

– Как покатались?

– Здесь очень хорошие дороги.

– Я полагаю, автомобильные...

– Да.

Уступив неодолимому искушению, Гэтсби обратился к Тому, которого ему представили, как человека незнакомого, и который молча принял это.

– Сколько я помню, мы с вами уже встречались, мистер Бьюкенен.

– О да, – с угрюмой учтивостью согласился Том, хоть и ясно было, что он их встречу забыл. – Встречались. Очень хорошо это помню.

– Недели примерно две назад.

– Да, верно. Вы тогда были с Ником.

– Я и с супругой вашей знаком, – тоном без малого вызывающим продолжал Гэтсби.

– Вот как?

Том повернулся ко мне.

– Ты где-то рядом живешь, Ник?

– В соседнем доме.

– Вот как?

Мистер Слоан в разговоре участия не принимал – просто сидел, высокомерно откинувшись на спинку кресла; женщина тоже до поры молчала, но, выпив два «хайбола», исполнилась благодушия.

– Мы все приедем на следующий ваш прием, мистер Гэтсби, – пообещала она. – Что вы на это скажете?

– Конечно, приезжайте. Буду вам рад.

– Вы очень любезны, – без тени благодарности произнес мистер Слоан. – Ну что же... по-моему, нам пора возвращаться домой.

– Прошу вас, не спешите, – настоятельно попросил Гэтсби. Он уже овладел собой, и теперь ему хотелось получше изучить Тома. – Почему бы вам... Почему бы вам не остаться на ужин? Не удивлюсь, если к нему подъедет кто-нибудь из Нью-Йорка.

– Нет, лучше вы поужинайте у меня, – с энтузиазмом объявила добрая леди. – Вы оба.

То есть и я тоже. Мистер Слоан поднялся из кресла.

– Пойдем, – сказал он, но только ей одной.

– Нет, я серьезно, – стояла на своем леди. – Вы обрадуете меня, если согласитесь. Места за столом хватит.

Гэтсби вопросительно взглянул на меня. Ему хотелось принять приглашение, а того, что мистер Слоан твердо решил обойтись без него, он не понимал.

– Боюсь, не смогу, – сказал я.

– Ну, тогда вы, – настаивала, глядя на Гэтсби, леди.

Мистер Слоан пробормотал ей что-то на ухо.

– Если отправимся сейчас, не опоздаем, – громко ответила она.

– У меня нет лошади, – сказал Гэтсби. – В армии я часто ездил верхом, но здесь лошадью так и не обзавелся. Я поеду за вами в моей машине. Извините, я на минуту отлучусь.

Все мы вышли на террасу, где Слоан и леди, отойдя в сторонку, о чем-то пылко заговорили.

– Бог ты мой, и ведь поедет, – сказал мне Том. – Неужели он не понимает, что совершенно ей не нужен?

– Она говорит, что нужен.

– У нее сегодня большой званый обед, он там никого не знает. – Том насупился. – Хотел бы я знать, где он, к дьяволу, познакомился с Дэйзи? Клянусь Богом, я, может быть, и старомоден, однако женщины в наши дни слишком часто болтаются где ни попадя, и мне это не по душе. Да еще и заводят черт знает какие знакомства.

Неожиданно мистер Слоан и леди спустились с террасы и взгромоздились на лошадей.

– Поехали, – сказал мистер Слоан Тому, – мы запаздываем. Пора.

А следом мне:

– Скажите ему, что мы не могли больше ждать, ладно?

Мы с Томом пожали друг другу руки, остальные попрощались со мной (и я с ними) холодными кивками, и они быстро затрусили вдоль подъездной дорожки, скрывшись за августовской листвой, как раз когда из парадной двери дома вышел Гэтсби, державший в руке с переброшенным через нее плащом шляпу.

По-видимому, манера Дэйзи «болтаться где ни попадя» всерьез обеспокоила Тома, поскольку в следующую субботу он приехал с ней на прием Гэтсби. Возможно, именно его присутствие и сделало атмосферу того вечера странно гнетущей – в моей памяти он стоит особняком от других приемов, которые Гэтсби устраивал тем летом. Гости были все те же, во всяком случае того же сорта, шампанское так же лилось рекой, и гомон стоял все тот же, многозвучный и многокрасочный, но я ощущал в воздухе нечто неприятное, что-то грубое, до того вечера мною не замечавшееся. Хотя, возможно, я просто свыкся, привык видеть в Вест-Эгг самодостаточный мир с собственными нормами и собственными великими фигурами, мир, бывший ничем не хуже прочих уже потому, что он не сознавал своей второсортности – а теперь я вглядывался в него заново, глазами Дэйзи. Смотреть новыми глазами на то, к чему ты успел приспособиться ценой немалых усилий, – это всегда нагоняет грусть.

Они приехали в сумерках, и пока мы шли сквозь искрившуюся толпу из сотен людей, голос Дэйзи творил чудеса, шелестя и журча в ее гортани.

– Как же меня все это возбуждает, – шептала она. – Если захочешь поцеловать меня, Ник, – в любую минуту вечера, – дай только знать, я с удовольствием это устрою. Просто произнеси мое имя. Или покажи зеленую карточку. Я теперь раздаю зеленые...

– Посмотрите вокруг, – предложил Гэтсби.

– Я и смотрю. Я чудесно...

– Вы наверняка увидите людей, о которых немало наслышаны.

Том, окинув толпу надменным взглядом, сказал:

– Мы редко выходим на люди. Собственно говоря, я, по-моему, не знаю здесь ни единой души.

– Возможно, вам известна вон та дама.

И Гэтсби указал на ослепительную, куда больше похожую на орхидею, чем на человека, женщину, восседавшую, словно напоказ, под сливовым деревом. Том и Дэйзи вгляделись в нее, и, похоже, обоих охватило странное чувство нереальности, какое возникает, когда ты видишь совсем рядом с собой остававшуюся до этой минуты призраком фильмовую знаменитость.

– Она прелестна, – сказала Дэйзи.

– Мужчина, склонившийся к ней, – ее режиссер.

Гэтсби церемонно повел Дэйзи и Тома от одной компании к другой:

– Миссис Бьюкенен... мистер Бьюкенен... – и после недолгого колебания: – Великий игрок в поло.

– О нет, – сразу же возражал Том. – Только не я.

Но, по-видимому, звучание этих слов было чем-то приятно Гэтсби – Том так и остался до конца вечера «игроком в поло».

– В жизни не видела столько знаменитостей! – воскликнула Дэйзи. – Мне понравился тот... как его звали? У него еще нос сизый.

Гэтсби назвал его, добавив, что он – средней руки продюсер.

– Ну и пусть, все равно он мне понравился.

– Я все же предпочел бы не числиться игроком в поло, – исполненным любезности тоном сообщил Том, – а лучше сидел бы себе, как в кустах, и разглядывал знаменитостей.

Дэйзи и Гэтсби потанцевали. Помню, меня удивила грациозная старомодность его фокс-трота – я еще не видел Гэтсби танцующим. Потом они неторопливо прошли до моего дома и просидели с полчаса на его ступеньках, я же нес по просьбе Дэйзи вахту в саду: «На случай наводнения, или пожара, – пояснила она, – или другого стихийного бедствия».

Том «вылез из кустов», когда мы втроем уселись ужинать.

– Ты не будешь возражать, если я устроюсь вон за тем столом? – спросил он. – Там один малый отличные анекдоты рассказывает.

– Иди, конечно, – благодушно ответила Дэйзи. – А если захочешь чей-нибудь адрес записать, вот тебе мой золотой карандашик.

Том ушел, Дэйзи, вглядевшись в «тот стол», сообщила мне, что девушка «простоватая, но хорошенькая», и я понял: если не считать получаса наедине с Гэтсби, время это она провела не так уж и весело.

Компания за нашим столом сидела на редкость хмельная. Вина тут был я – Гэтсби позвали к телефону, а я увидел за столом людей, в обществе которых веселился две недели назад. Однако то, что забавляло меня тогда, на сей раз отдавало какой-то гнилью.

– Как вы себя чувствуете, мисс Бедекер?

Девушка, к которой я обратился, уже успела попробовать прикорнуть на моем плече, но промахнулась головой мимо него. Услышав мой вопрос, она выпрямилась, открыла глаза:

– Чего?

Грузная, сонная дама, которая незадолго до этого уговаривала Дэйзи непременно поиграть с нею завтра в гольф в местном клубе, поспешила встать на защиту мисс Бедекер:

– О, сейчас она тихая. А вот как выпьет пять-шесть коктейлей, непременно визжать начинает. Я говорю ей: не трогай ты их.

– Я и не трогаю, – неубедительно заявила обвиняемая.

– Мы слышим – визжит, ну я и говорю доку Виверре, вот он сидит: «Там кой-кому помощь нужна, док».

– Она вам премного благодарна, разумеется, – сказал другой знакомый девушки, правда, в его тоне благодарностью и не пахло. – Да только, пока вы ее совали головой в бассейн, у нее все платье вымокло.

– Вот чего терпеть не могу, так это головой в бассейн, – пробормотала мисс Бедкер. – В Нью-Джерси они меня чуть не утопили.

– А вы не трогайте коктейли, – парировал этот выпад доктор Виверра.

– На себя посмотрите! – яростно взвизгнула мисс Бедкер. – У вас вон руки трясутся. Я к вам на операцию ни за что не легла бы!

Так оно и шло. Едва ли не последним, что я запомнил, было: мы с Дэйзи стоим бок о бок и наблюдаем за фильмовым режиссером и его Звездой. Они так и сидели под сливой, и лица их почти соприкасались, разделяемые лишь тонким лучом бледного лунного света. Мне вдруг пришло в голову, что режиссер, желая достичь этой близости, весь вечер медленно-медленно склонялся к ней, и теперь, глядя на них, я увидел, как он, в последний раз чуть изменив угол наклона, поцеловал ее в щеку.

– Она мне нравится, – сказала Дэйзи. – По-моему, она чудесная.

Однако все остальное представлялось ей оскорбительным – и безоговорочно, поскольку отвращение, которое она испытывала, было не показным, но подлинным. Вест-Эгг, это беспримерное «обиталище», порождение Бродвея, навязанное им рыбацкой деревушке Лонг-Айленда, пугало Дэйзи – его нагой напористостью, отвергавшей дряхлые эвфемизмы, и слишком бесцеремонной здесь судьбой, что сбивала его жителей в стадо и гнала кратчайшим путем из ничего в ничто. В самой неопишуемой простоте его Дэйзи усматривала нечто страшное, недоступное ее пониманию.

Я сидел с Томом и Дэйзи, ожидавшими своей машины, на ступенях террасы. Перед нами простиралась темнота, лишь яркая дверь выстреливала в тихое темное утро прямоугольник света. Порой над нашими головами скользила по занавесям гардеробной тень, ее сменяла другая – то было смутное шествие призраков, что румянились и пудрились, глядя в зеркало, которого мы не видели.

– Кто он, кстати сказать, такой, ваш Гэтсби? – вдруг спросил Том. – Крупный бутлегер?

– От кого ты это услышал? – поинтересовался я.

– Ни от кого. Само в голову пришло. Ты же знаешь, куча нынешних нуворишей – просто-напросто бутлегеры.

– Не Гэтсби, – коротко отрезал я.

Том ненадолго примолк. Гравий подъездной дорожки похрустывал под его подошвами.

– Ладно, ему наверняка пришлось попотеть, чтобы собрать здесь этот бродячий зверинец.

Ветерок ерошил серую дымку мехового воротника Дэйзи.

– По крайней мере, эти люди интереснее тех, с кем водимся мы, – неохотно произнесла она.

– Что-то ты не выглядела такой уж заинтересованной.

– Но была.

Том усмехнулся, повернулся ко мне.

– Ты заметил, что сделалось с лицом Дэйзи, когда та девица попросила отвести ее под холодный душ?

Дэйзи начала подпевать музыке хриловатым, ритмичным шепотом, извлекая из каждого слова смысл, которого оно никогда не имело и никогда не получит снова. На высоких нотах ее голос нежно слабел, как это бывает с контральто, и с каждым поворотом мелодии она отдавала воздуху частичку своего теплого живого волшебства.

– Очень многие заявляют сюда без приглашения, – неожиданно сказала она. – Та девушка, к примеру. Просто вламываются в дом, а хозяин его слишком воспитан, чтобы гнать их.

– А все же хотелось бы узнать, кто он и чем живет, – упорствовал Том. – И уж я постараюсь выяснить это.

– Да я тебе хоть сейчас скажу, – отозвалась Дэйзи. – Он владеет аптеками, множеством аптек. Которые сам и построил.

На дорожке показался их нерасторопный лимузин.

– Спокойной ночи, Ник, – сказала Дэйзи.

Взгляд ее, оторвавшись от меня, обратился к освещенным верхним ступеням, на которые изливался из открытой двери модный в том году чистый, печальный вальсок «Три часа утра». В конечном счете, в самой беспорядочности устроенного Гэтсби приема присутствовали романтические возможности, которых был напрочь лишен мир Дэйзи. Что крылось в песенке, которая, казалось, звала ее назад, в дом? Что может случиться там в этот темный, непредсказуемый час? Возможно, появится немыслимый гость, человек неимоверно редкостный, на которого можно только дивиться издали, или некая воистину лучезарная юная дева – и довольно будет одного ее чистого взгляда, одного мгновения магической встречи с нею, чтобы стереть из памяти Гэтсби пять лет неколебимой преданности?

Я задержался в ту ночь допоздна. Гэтсби просил меня подождать, когда он освободится, и я сидел в парке, пока с темного пляжа не прибежала непременно компания озябших, восторженных купальщиков, пока наверху, в комнатах для гостей, не погас свет. Когда он наконец спустился по ступенькам, скулы выступали на его загорелом лице с необычной резкостью, а усталые глаза словно светились.

– Ей не понравилось, – сразу сказал он.

– Конечно, понравилось.

– Не понравилось, – упорствовал Гэтсби. – Она скучала.

Гэтсби замолк, и я понял, что он неимоверно подавлен.

– Я сознаю, какое огромное расстояние нас разделяет, – сказал он. – Мне так трудно добиться, чтобы она уступила мне.

– Вы говорите о вашем с ней танце?

– Танце? – Он щелкнул пальцами, отбрасывая все танцы, в каких когда-либо участвовал. – Танцы не имеют никакого значения, старина.

Он хотел, ни больше ни меньше, чтобы Дэйзи пошла к Тому и сказала: «Я никогда не любила тебя». А после того, как она уничтожит этой фразой четыре года супружеской жизни, можно будет заняться делами более практическими. И одно из них таково: когда она получит свободу, оба вернутся в Луисвилл и поженятся, и он повезет Дэйзи под венец из ее дома – как то и было задумано пять лет назад.

– Да только она не соглашается, – сказал Гэтсби. – А прежде соглашалась на все. Мы с ней часами говорили об этом...

Он не закончил и стал прохаживаться вперед-назад по обезлюдевшей дорожке, которую усеяли яблочная кожура, выброшенные гостями сувенирчики и растоптанные цветы.

– Не стоит просить ее слишком о многом, – наконец решил я. – Прошлое невосвратимо.

– Невосвратимо? – неверяще воскликнул Гэтсби. – Еще как возвратимо!

Он диковато поозирался по сторонам – как будто прошлое затаилось где-то здесь, в тени его дома, но только в руки не дается.

– Я собираюсь сделать все таким, каким оно было раньше, – сказал он и решительно покинул. – Она еще увидит.

Гэтсби долго распространялся о прошлом, и я понял: ему хочется восстановить что-то, быть может, некую идею, образ его самого, входивший когда-то в состав его любви к Дэйзи. С той поры жизнь его запуталась, лишилась порядка, но если он сможет однажды вернуться в определенное место, туда, где все началось, и не спеша осмотреться там, то сможет и понять, чего ему теперь не хватает...

...Одним осенним вечером пятилетней давности они шли по улице, на которую падали листья, и дошли до места, где деревьев не было и тротуар белел под светом луны. Там они

остановились и повернулись друг к другу. Ночь, надо сказать, была прохладная, пропитанная таинственным волнением, какое возникает лишь при двух больших годовых переменах. Мирные огни в окнах домов что-то мурлыкали темноте, в небе суматошились звезды. Краем глаза Гэтсби заметил, что плиты тротуара образуют на самом-то деле лестницу, которая поднимается к потаенному месту над деревьями, – он мог бы взобраться по ней, если бы взбирался один, а оказавшись там – припасть к сосцам жизни и глотнуть бесподобного млека чудес.

Белеющее лицо Дэйзи приближалось к его лицу, сердце билось быстрее, быстрее. Гэтсби знал: стоит ему поцеловать эту девушку, и его несказанные видения навеки обручатся с ее бренным дыханием, и мысли никогда больше не смогут лететь стремглав, как у Бога. И потому он ждал, дольше, чем следовало, вслушиваясь в гудение камертона, ударившего по звезде. А после поцеловал ее. От прикосновения его губ она раскрылась перед ним, как цветок, и претворение совершилось.

Все, что он говорил, и даже его ужасающая сентиментальность напоминали мне что-то – неуловимый ритм, обломки утраченных слов, слышанных мною где-то давным-давно. На миг некая фраза попыталась сложиться прямо на моем языке, губы мои разделились, точно у немого, – так, словно им приходилось бороться не только с порывами испуганного воздуха, но и с чем-то другим, много бóльшим. Однако они не издали ни звука, и то, что я почти вспомнил, стало неизъяснимым уже навсегда.

Глава седьмая

И вот в одну из субботних ночей, как раз в ту пору, когда возбуждаемое Гэтсби любопытство достигло высшего накала, огни в его поместье не загорелись – он покончил с карьерой Трималхиона¹⁸ – так же необъяснимо, как начал ее. Лишь постепенно стал я замечать, что машины, которые с надеждой сворачивали на его подъездную дорожку, останавливались у дома всего на минуту, а затем обиженно уезжали прочь. «Уж не заболел ли он часом?» – подумал я и пошел к нему, проверить, и незнакомый мне дворецкий с самой злодейской физиономией подозрительно сощурился на меня, стоя в двери.

– Не заболел ли мистер Гэтсби?

– Не-а... – Он помолчал и добавил неторопливо и нехотя: «сэр».

– Он давно не выходит из дома, вот я и забеспокоился. Скажите ему, что заходил мистер Каррауэй.

– Кто-кто? – переспросил грубиян.

– Каррауэй.

– Каррауэй. Ладно, скажу, – и захлопнул дверь.

Моя финка известила меня, что неделю назад Гэтсби поувольнял всех своих слуг и нанял с полдюжины других, которые в деревне Вест-Эгг никогда не показываются, тем самым лишая тамошних лавочников возможности подкупить их, а все свои скромные заказы делают по телефону. Посыльный продуктового магазина сообщил, что кухня дома Гэтсби стала похожей на хлев, и общественное мнение деревни постановило: эти новички никакие не слуги.

На следующий день мне позвонил Гэтсби.

– Уезжать собираетесь? – поинтересовался я.

– Нет, старина.

– Я слышал, вы всех слуг уволили.

– Мне потребовались такие, что сплетничать не станут. Ко мне довольно часто заезжает после полудня Дэйзи.

Стало быть, весь его караван-сарай обрушился, точно карточный домик, под ее неодобрительным взглядом.

– А это люди, за которых просил Вольфшайм. Они – братья и сестры. Раньше держали маленький отель.

– Понятно.

Звонил он по просьбе Дэйзи – не приеду ли я завтра на ленч в ее дом? Там и мисс Бейкер будет. Через полчаса позвонила сама Дэйзи и, как мне показалось, испытала облегчение, услышав, что я приеду. Затевалось что-то серьезное. Хотя я все же не мог поверить, что они выбрали этот случай, чтобы устроить сцену – и особенно ту, душераздирающую, о которой Гэтсби мечтал при мне в парке.

Следующий день выдался опалаяющим, едва ли не последним из таких и определенно самым жарким за то лето. Когда мой поезд вышел из туннеля под солнце, только пышущие жаром гудки «Национальной бисквитной компании» и нарушали словно закипавшую на медленном огне полуденную тишь. Сплетенным из соломы сиденьям вагона оставалось до самовозгорания всего ничего; сидевшая рядом со мной женщина в белой блузке с длинным рукавом некоторое время деликатно потела, но когда под ее пальцами начала намокать газета, неутешно

¹⁸ Трималхион – персонаж романа «Сатирикон», авторство которого приписывается жившему во времена Нерона Петронию Арбитру, разбогатевший вольноотпущенник. Роман сохранился фрагментарно, основная часть – именно «Пир у Трималхиона».

вскрикнула и, утратив все надежды, откинулась на раскаленную спинку своего сиденья. Плоская сумочка ее плюхнулась на пол.

– О господи! – ахнула женщина.

Я не без труда нагнулся, поднял сумочку и протянул ее хозяйке, держа за самый уголок, дабы показать, что никаких злодейских замыслов на ее счет не питаю, – однако все мои соседи, включая и хозяйку сумочки, в них-то меня и заподозрили.

– Жарко! – повторял, увидев очередное знакомое лицо, проверявший билеты проводник нашего вагона. – Ну и погодка! Жарко! Жарко! Жарко! Вот жарища-то, а? Жарко, верно? Вот так...

Мой сезонный билет вернулся ко мне с темным следом его пальца. И кому в такую жару дело, чьи распаленные губы он целует, чья щека увлажняет нагрудный карман его пижамы – тот, под которым бьется сердце.

...По вестибюлю Тома Бьюкенена гулял сквознячок, донесший до меня и Гэтсби, ожидавших у двери, треньканье телефонного аппарата.

– Тело хозяина? – проревел в рожок аппарата дворецкий. – Простите, мадам, но его мы вам предоставить не можем. В такую жару до него и дотронуться страшно!

На самом-то деле он сказал:

– Да... да... я посмотрю.

Он повесил слуховую трубку на аппарат и направился к нам, чтобы взять наши канотье. На лице его поблескивал пот.

– Мадам ожидает вас в гостиной! – воскликнул он и без нужды указал рукой направление. При таком зное каждый лишний жест казался надругательством над общечеловеческим запасом жизненных сил.

В затененной маркизами гостиной было сумрачно и прохладно. Дэйзи и Джордан лежали, будто серебряные идола, на огромном диване, прижимая к нему ладонями свои белые юбки, чтобы под них не забрался рождаемый вентиляторами певучий ветерок.

– Даже пошевелиться не можем, – в один голос сообщили они.

Припудренные, чтобы скрыть загар, пальцы Джордан на краткий миг задержались в моей ладони.

– А где мистер Томас Бьюкенен, атлет? – осведомился я.

И тут же услышал его голос – грубоватый, приглушенный, хриплый, – говоривший что-то в телефон.

Гэтсби, стоя в середине кармазинового ковра, обводил гостиную замороженным взглядом. Дэйзи наблюдала за ним, посмеиваясь взволнованно и мелодично, и едва приметное облачко пудры взметалось над ее декольтированной грудью.

– Ходят слухи, – прошептала мне Джордан, – что позвонила женщина Тома.

Мы молчали. Голос в вестибюле раздраженно окреп.

– Что же, очень хорошо, я вам вообще продавать машину не стану... Я вам решительно ничем не обязан... И если вы еще раз полезете ко мне во время завтрака, я этого не потерплю!

– Трубку-то уже повесил, – цинично заметила Дэйзи.

– Нет, не повесил, – заверил я. – Они действительно договаривались о продаже машины. Я случайно узнал об этом.

Том распахнул дверь, на миг перекрыл ее проем своим плотным телом и торопливо вошел в комнату.

– Мистер Гэтсби! – Он протянул с умело замаскированной неприязнью свою широкую, плоскую ладонь. – Рад видеть вас, сэр... Ник...

– Принеси нам выпить, холодненького! – попросила Дэйзи.

Едва Том покинул гостиную, она встала, подошла к Гэтсби, притянула его лицо к своему и поцеловала в губы.

– Ты знаешь, как я люблю тебя, – промурлыкала она.

– Ты забыла, здесь присутствует леди, – сказала Джордан.

Дэйзи оглянулась, лицо ее выразило сомнение.

– А ты тоже Ника поцелуй.

– Какая ты неотесанная, вульгарная женщина.

– А мне все равно! – вскричала Дэйзи и принялась постукивать каблуком туфельки по каминному кирпичу. Однако, быстро вспомнив о жаре, виновато опустилась на край дивана, и тут в гостиную вошла, ведя за руку девочку, свежестиранная няня.

– Ра-дось моя бес-ценная, – заворковала Дэйзи, протягивая к девочке руки. – Иди к мамочке, она так тебя любит.

Отпущенный няней ребенок бегом пересек комнату и стыдливо зарылся лицом в подол материнского платья.

– Ра-дось бес-ценная! А мамочкина пудра на твои желтенькие волосики не осыплется? Выпрямись, скажи здрав-ствуй-те.

Мы с Гэтсби по очереди склонились к дитяти, пожали неохотно поданную нам ручку. Гэтсби смотрел на девочку не без удивления. Не думаю, что до этой минуты он всерьез верил в ее существование.

– А я к завтраку платье надела, – сказала дитя, подняв лицо к Дэйзи.

– Это потому что мама хотела тобой похвастаться. – Она прижалась щекой к единственной складке на тоненькой белой шее дочери. – Ты просто мечта, вот ты кто. Маленькая мечта.

– Да, – спокойно согласилась девочка. – У тети Джордан платье тоже белое.

– Тебе нравятся мамины друзья? – И Дэйзи развернула девочку лицом к Гэтсби. – Красивенькие, правда?

– А где папа?

– Совсем на отца не похожа, – объявила Дэйзи. – Вся в меня. И волосы мои, и овал лица. Дэйзи снова откинулась на диван. Няня, подойдя к девочке, взяла ее за руку.

– Пойдем, Пэмми.

– До свидания, любовь моя!

Хорошо вышколенное дитя, держась за руку няни и лишь один раз сокрушенно оглянувшись, покинуло гостиную, и тут же в двери показался Том; за ним следовал слуга, несший четыре высоких бокала с коктейлем «рики», в которых теснились кубики льда.

Гэтсби взял один.

– И вправду холодный, – с заметным напряжением сказал он.

Мы пили большими жадными глотками.

– Я читал где-то, что с каждым годом солнце становится все горячее, – благодушно сообщил Том. – И похоже, земля очень скоро упадет на него... хотя постойте-ка... как раз наоборот... солнце с каждым годом остывает.

– Давайте выйдем из дома, – предложил он Гэтсби. – Мне хочется показать вам, как мы тут устроились.

Я тоже вышел с ними на веранду. По отливавшему зеленому, словно оцепеневшему от зноя Проливу полз к прохладе открытого моря маленький парусник. Гэтсби миг-другой провожал его взглядом, затем поднял руку и указал через бухту:

– Мой дом прямо напротив вашего.

– Да, верно.

Мы смотрели туда поверх розовых клумб, жаркой лужайки, прибрежной полосы спаленной зноем сорной травы. Белые крылья парусника вставали над горизонтом в прохладной синеве неба. Впереди их ждал фестончатый океан и множество блаженных островов.

– Хороший спорт, – сказал, кивая, Том. – С удовольствием провел бы часок там, на палубе.

Завтракали мы в столовой, также затененной от жары, и старались утопить нервическую веселость в холодном эле.

– Чем займемся после полудня? – громко спросила Дэйзи. – И завтра, и в ближайшие тридцать лет?

– Ну что ты меланхолию разводишь? – сказала Джордан. – Осенью посвежеет, и жизнь начнется заново.

– Но ведь так жарко, – чуть ли не со слезами в голосе настаивала Дэйзи. – И все так запуталось. А давайте в город поедem!

Голос ее силился одолеть зной, бился об него, пытаясь придать его бессмысленности хоть какую-то форму.

– Мне доводилось слышать о том, что конюшню превратили в гараж, – говорил Том Гэтсби, – но я первый, кто превратил гараж в конюшню.

– Ну, кто хочет в город? – настаивала Дэйзи. Взгляд Гэтсби неторопливо поплыл в ее сторону.

– Ах, – воскликнула она, – у вас такой хладнокровный вид.

Глаза их встретились, они смотрели друг на дружку, оставшись во вселенной одни. Дэйзи с усилием опустила взгляд к столу.

– Всегда такой хладнокровный вид, – повторила она.

Так она сказала Гэтсби, что любит его, и Том Бьюкенен ее понял. И это его оглушило. Рот Тома слегка приоткрылся, он посмотрел на Гэтсби, снова на Дэйзи, словно только сию минуту признав в ней женщину, с которой был знаком когда-то давно.

– Вы походите на мужчину из рекламного объявления, – ничего не замечая, продолжала она. – Знаете, с рекламной картинки...

– Ладно, – поспешил перебить ее Том, – я согласен отправиться в город, вполне. Поднимайтесь – мы все едем в город.

Он встал, взгляд его метался между Гэтсби и женой. Никто не шелохнулся.

– Ну же! – Терпение Тома дало первую трещину. – Что с вами со всеми? Ехать так ехать.

Рука его, подрагивавшая от усилий, которые он делал, чтобы сохранить самообладание, поднесла к губам бокал с остатками эля. Тут голос Дэйзи поднял нас на ноги и вывел на слепившую глаза подъездную дорожку.

– Что, возьмем и поедem? – протестовала она. – Вот так? Может, кому-то захочется сначала сигарету выкурить?

– Мы весь завтрак курили.

– Давай все же от жизни удовольствие получать, – попросила Дэйзи. – А суетиться в такую жару вредно.

Том ничего не ответил.

– Ну, будь по-твоему, – смирилась она. – Пойдем, Джордан.

Они поднялись наверх, чтобы подготовиться к поездке, мы, трое мужчин, остались стоять на подъездной дорожке, вороша ступнями горячий гравий. На западе уже висел в небе серебристый месяц. Гэтсби начал было какую-то фразу, но передумал, хотя Том уже повернулся и смотрел, ожидая, ему в лицо.

– Так где находятся ваши конюшни? – через силу спросил Гэтсби.

– У дороги, в четверти мили отсюда.

– О.

Пауза.

– Не понимаю, зачем нам ехать в город, – гневно выпалил Том. – Женщина, если вобьет себе что в голову...

– Питье с собой взять какое-нибудь? – крикнула из окна наверху Дэйзи.

– Я возьму виски, – ответил Том. И ушел внутрь дома.

Гэтсби скованно, всем телом повернулся ко мне.

– Я в этом доме слова выговорить не могу, старина.

– Дэйзи голос не приглушает, – заметил я. – И голос ее наполнен...

Я замялся.

– Деньгами, – неожиданно сказал он.

Вот именно. Как же это я не сообразил? Голос ее наполняли деньги – они и были тем неисчерпаемым очарованием, что поднималось в нем и спадало... их перезвон, бряцанье кимвалов... высоко в белом тереме сидит королевская дочь, сидит золотая дева...

Том вышел из дома, заворачивая в полотенце литровую бутылку, за ним последовали Дэйзи и Джордан, обе в маленьких шляпках из отливавшей металлом ткани и с легкими накидками в руках.

– Давайте поедem в моей машине, – предложил Гэтсби. Он провел ладонью по горячей зеленой коже ее сиденья. – Надо было в тени поставить.

– Переключение передач у нее обычное? – спросил Том.

– Да.

– Ну, тогда берите мою двухместку, а вашу машину поведу в город я.

Гэтсби его предложение не понравилось.

– Боюсь, у моей бензина маловато, – попытался возразить он.

– Вполне достаточно, – громогласно объявил Том и посмотрел на датчик горючего. – А не хватит, так остановлюсь у какой-нибудь аптеки. В них теперь чего только не продают.

За этим внешне бессмысленным замечанием последовала пауза. Дэйзи смотрела на Тома, нахмурясь, по лицу Гэтсби скользнуло не поддающееся четкому определению выражение, одновременно и незнакомое мне и смутно узнаваемое – как будто я всего лишь слышал, как его описывали словами.

– Пошли, Дэйзи, – сказал Том, подталкивая ее к машине Гэтсби. – Поедешь со мной в этом цирковом фургоне.

Он открыл перед ней дверцу, но Дэйзи вывернулась из-под обнявшей ее за плечи руки мужа.

– Возьми Ника и Джордан. Мы поедem за вами в твоей машине.

Она прошла совсем близко от Гэтсби, скользнув тылом ладони по его пиджаку. Джордан, Том и я уселись на переднее сиденье большой машины, Том на пробу поводит вперед-назад непривычную для него ручку переключения передач, и мы вылетели в жестокий зной и очень скоро потеряли оставшихся сзади Дэйзи и Гэтсби из виду.

– Видали? – спросил Том.

– Что именно?

Он бросил на меня острый взгляд, сразу сообразив, что нам с Джордан, должно быть, давно уже все известно.

– Думаешь, я совсем тупой, а? – осведомился он. – Может, и так, но временами во мне просыпается... почти ясновидение, и оно говорит мне, как поступать. Ты можешь в это не верить, однако наука...

Он умолк. Непосредственно затронувшая Тома беда заставила его отойти от края умо-зрительной пропасти.

– Я кое-что выяснил об этом типе, провел небольшое расследование, – снова заговорил он. – Мог бы копнуть и глубже, если бы знал...

– Ты хочешь сказать, что побывал у прорицателя? – насмешливо спросила Джордан.

– Зачем? – Он недоуменно взглянул на нас, засмеявшихся. – У какого еще прорицателя?

– Ну, чтобы вызнать все о Гэтсби.

– О Гэтсби! Нет, не побывал. Просто покопался немного в его прошлом.

– И выяснил, что он учился в Оксфорде, – подсказала Джордан.

– В Оксфорде! – скептически воскликнул Том. – Черта лысого. Он же в розовом костюме разгуливает!

– Тем не менее он там учился.

– В Оксфорде, штат Нью-Мексико, – презрительно фыркнул Том, – или где-то еще в подобном же роде.

– Послушай, Том. Если ты такой сноб, зачем было приглашать его на завтрак? – сердито спросила Джордан.

– Так его Дэйзи пригласила, они были знакомы еще до того, как мы с ней поженились, – бог его знает где!

В каждом из нас выдыхавшиеся пары эля оставляли взамен себя раздражительность, и мы, сознавая это, на время погрузились в молчание. А затем, когда над дорогой показались выпцветшие глаза доктора Т. Дж. Экклебурга, я напомнил Тому об опасениях Гэтсби насчет бензина.

– До города нам хватит, – ответил он.

– Но вон же заправка, – возразила Джордан. – Не хватало еще застрять на таком пекле.

Том сердито ударил по тормозам, машина заскользила и, подняв облако пыли, резко встала под вывеской Уилсона. Миг спустя он вышел из недр своего заведения и уставился ввалившимися глазами на автомобиль.

– Залейте нам бак! – грубо крикнул Том. – Для чего мы остановились, по-вашему, – видом полюбоваться?

– Я болен, – не стронувшись с места, сказал Уилсон. – С утра занемог.

– Что с вами?

– С ног валюсь.

– И что, мне теперь самому возиться? – сердито спросил Том. – По телефону вы говорили нормально.

Уилсон с видимым усилием покинул тень дверного проема, о косяк которого опирался, и, тяжело дыша, отвинтил крышечку нашего бака. При солнечном свете лицо его оказалось зеленым.

– Я не хотел прерывать ваш завтрак, – сказал он. – Просто мне очень нужны деньги, вот я и решил узнать, что вы думаете делать с вашей старой машиной.

– А как вам нравится эта? – поинтересовался Том. – Я ее на прошлой неделе купил.

– Хороший желтый цвет, – ответил Уилсон, налегая на рычаг бензоколонки.

– Хотите ее купить?

– Не потяну, – вяло улыбнулся Уилсон. – А вот на той я мог бы подзаработать.

– Для чего вам вдруг деньги понадобились?

– Слишком долго я здесь проторчал. Хочу уехать. Мы с женой надумали на запад податься.

– С женой? – ошеломленно воскликнул Том.

– Она уж лет десять об этом твердит. – Уилсон прислонился, чтобы передохнуть, к колонке, ладонью прикрыл от солнца глаза. – А теперь поедет, хочется ей или нет. Я увезу ее отсюда.

Мимо пролетела двухместка – вихрь пыли, промельк машущей руки.

– Сколько я вам должен? – резко спросил Том.

– Я пару дней назад узнал кое-что, – сообщил Уилсон. – Потому и хочу уехать. Потому и насчет машины вас потревожил.

– Сколько?

– Доллар двадцать.

От беспощадного зноя мысли мои стали путаться, и я испугался немного, не сразу сообразив, что на Тома подозрения Уилсона пока что не пали. Он узнал, что у Мертл имеется

какая-то своя, отдельная от него жизнь в другом мире, и от потрясения заболел физически. Я посмотрел на него, потом на Тома, сделавшего менее часа назад подобное же открытие, – и мне пришло в голову, что нет среди людей различия большего, пусть даже относящегося к уму или расе, чем различие между больным и здоровым. Уилсон был болен настолько, что выглядел виновным, непростительно виновным – как если бы он только что наградил ребенком какую-то бедную девушку.

– Отдам я вам эту машину, – сказал Том. – Завтра под вечер ее пригонят сюда.

Место это всегда представлялось мне смутно опасным, даже при ослепительном после-полуденном свете, вот и сейчас я заозирался, словно меня предупредили, что кто-то подбирается ко мне со спины. Великанские глаза доктора Т. Дж. Экклебурга бдительно взирали на груды шлака, однако мгновение спустя я обнаружил, что с расстояния меньше двадцати футов за нами следят, и с необычайной внимательностью, другие глаза.

В одном из окон над мастерской шторы были немного раздвинуты, и Мертл Уилсон смотрела сквозь шелку вниз, на нашу машину. Зрелище это поглотило ее настолько, что моего взгляда она не заметила; на лице ее одно чувство сменялось другим, постепенно складываясь в цельную картину. Выражения эти были мне на удивление знакомы, я нередко видел их на женских лицах, однако на лице Мертл Уилсон они казались бессмысленными и необъяснимыми, пока я не понял, что полный ревнивых опасений взгляд направлен не на Тома, а на Джордан Бейкер, которую она приняла за его жену.

Не существует смятения большего, чем смятение простого ума, и когда мы отъехали от мастерской, Том был уже исхлестан жгучей плетью паники. Его жена и любовница, еще час назад принадлежавшие ему надежно и неотменимо, стремительно ускользали из рук. Инстинкт заставлял Тома давить на педаль акселератора – и с двойной целью: нагнать Дэйзи и оставить Уилсона далеко позади, и мы летели к Астории на скорости пятьдесят миль в час, пока не увидели под паутиными фермами надземки беззаботный синий автомобильчик.

– В больших кинотеатрах Пятидесятой сейчас так прохладно, – сказала Джордан Бейкер. – Люблю предвечерний летний Нью-Йорк, из которого все кто мог уже разбежались. В нем есть что-то очень чувственное – перезревшее, все время кажется, что сейчас в твои ладони упадут дивные плоды.

Слово «чувственное» еще пуще разбередило душу Тома, но прежде чем он придумал возражение, двухместка остановилась и Дэйзи помахала нам рукой, подзывая к себе.

– Куда поедет? – крикнула она.

– Как насчет кинематографа?

– Уж больно жарко, – пожаловалась она. – Вы поезжайте. Мы покатаемся по городу, а после где-нибудь встретимся с вами.

Она поднапряглась немного, придумывая подходящую шутку.

– На каком-нибудь углу. Я буду мужчиной с двумя сигаретами в зубах.

– Здесь спорить не место, – нетерпеливо сказал Том: остановившийся за нами грузовик коротко погудел, словно выругался. – Поезжайте за мной к южной стороне Центрального парка, я буду ждать вас перед «Плазой».

По пути Том несколько раз оборачивался, чтобы взглянуть на них, и если они отставали, задержанные другими машинами, сбавлял ход и ехал медленно, пока двухместка снова не появлялась в поле его зрения. Думаю, он опасался, что они увильнут в боковую улицу и навсегда исчезнут из его жизни.

Однако этого не случилось. И мы совершили не вполне объяснимый поступок, сняв в отеле «Плаза» номер люкс, в гостиной коего и расположились.

Этому предшествовали долгие и бурные препирательства, подробности которых ускользают теперь от меня, хотя я отчетливо помню, что по ходу их мои кальсоны все липли и липли к ногам, точно влажные змеи, а по спине сбегали одна за другой холодные капли пота. Для

начала Дэйзи предложила снять пять номеров с ванными комнатами, чтобы каждый из нас мог понежиться в прохладной ванне, но затем разговор у нее пошел более разумный – о «месте, где можно угоститься мятным джулепом». Все мы повторяли и повторяли, что это «безумная идея», обращаясь к сбитому с толку портю все разом, и думали или делали вид, будто думаем, что нам бог весть как весело...

Гостиная оказалась большой, душной, и, хоть времени было уже четыре пополудни, в ее открытые окна влетали только порывы горячего ветра, который раскачивал кусты парка. Дэйзи подошла к зеркалу, встала спиной к нам, приводя в порядок растрепавшиеся волосы.

– Шикарный номер, – уважительным шепотом сообщила Джордан, и все рассмеялись.

– Откройте еще одно окно, – потребовала, не обернувшись, Дэйзи.

– Открывать больше нечего.

– Ну, тогда позвоните, пусть нам топор принесут...

– Самое правильное – забыть о жаре, – нетерпеливо прервал ее Том. – От твоего нытья она в десять раз хуже становится.

Он размотал полотенце, в которое была завернута бутылка виски, и поставил ее на стол.

– Что вы цепляетесь к ней, старина? – сказал Гэтсби. – Это же вы захотели поехать в город.

На миг наступило молчание. Телефонный справочник внезапно сорвался с гвоздя, на котором висел, и шлепнулся на пол, и Джордан прошептала: «Прошу прощения», – однако на сей раз никто не засмеялся.

– Я подниму, – вызвался я.

– Ничего, я сам.

Гэтсби осмотрел лопнувшую бечевку, заинтересованно хмыкнул и бросил толстую книгу на кресло.

– Это ваше любимое словечко, верно? – резко спросил Том.

– Какое?

– Я про «старину». Где вы его подцепили?

– Послушай-ка, Том, – сказала, оборачиваясь от зеркала, Дэйзи, – если ты начнешь переходить на личности, я здесь и минуты не останусь. Позвони и вели принести лед для джулепа.

Едва Том снял трубку, как сгущенный зной взорвался звуками музыки – из находившейся под нами бальной залы понеслись помпезные аккорды «Свадебного марша» Мендельсона.

– Представляете, кто-то женится в такую жару! – скорбно воскликнула Джордан.

– Ну и что – я вышла замуж в середине июня, – припомнила Дэйзи. – Июнь в Луисвилле! В церкви кто-то в обморок грохнулся. Кто это был, Том?

– Билокси, – коротко ответил он.

– Мужчина по фамилии Билокси. «Болван» Билокси, занимался он производством баулов – ей-богу, – а родом был из Билокси в штате Теннесси.

– Его отнесли в наш дом, – подхватила тему Джордан, – потому что мы жили в двух шагах от церкви. И он засел там недели на три, и в конце концов, папа сказал ему, что пора бы и честь знать. Он уехал, а через день папа умер.

Она помолчала и, словно решив, что слова ее прозвучали неуважительно, добавила:

– Но никакой связи тут не было.

– Мне довелось знать Билла Билокси из Мемфиса, – заметил я.

– Так это его кузен. До того как он нас покинул, я успела выслушать всю историю его семьи. А еще он подарил мне алюминиевую клюшку, короткую, я ею и сейчас играю.

Музыка стихла, началась свадебная церемония, потом в окно гостиной вплыл долгий ликующий вопль, за ним последовали разрозненные «Ура, ура, ура!» и, наконец, грянул джаз – начались танцы.

– Стареем, – сказала Дэйзи. – Будь мы помоложе, уже танцевали бы.

– Вспомни про Билокси, – предостерегла ее Джордан. – Где ты с ним познакомился, Том?
– С Билокси? – Вопрос он понял не сразу. – Я его и вовсе не знал. Он был из приятелей Дэйзи.

– Да ничего подобного, – возразила она. – В глаза его ни разу не видела. Он приехал в одном из твоих вагонов.

– Ну, мне он сказал, что знает тебя. Что вырос в Луисвилле. Эйза Бёрд привел его в последнюю минуту и спросил, не найдется ли для него местечка.

Джордан улыбнулась.

– Скорее всего, малый пытался на чужой счет добраться до дому. Меня он уверял, что был в Йеле председателем вашей группы.

Мы с Томом недоуменно переглянулись.

– Билокси?

– Начать с того, что никаких председателей у нас не было...

Ступня Гэтсби отбила по полу короткую, беспокойную дробь, и Том вдруг обратился к нему:

– Кстати, мистер Гэтсби, насколько я понимаю, вы закончили Оксфорд?

– Не совсем.

– Ну как же, по моим сведениям, вы были в Оксфорде.

– Да... был.

Пауза. Затем голос Тома, недоверчивый и оскорбительный:

– Должно быть, вы учились там как раз в то время, когда Билокси учился в Нью-Хейвене.

Новая пауза. Официант постучал, вошел, принес растертую мяту и лед; тишину нарушили только его «спасибо» и тихий хлопок закрывшейся двери. Ну, сейчас наконец прояснится эта важнейшая деталь.

– Я сказал, что был в Оксфорде, – произнес Гэтсби.

– Я слышал, но мне хотелось бы узнать – когда.

– В девятнадцатом и провел я там пять месяцев. Поэтому назваться выпускником Оксфорда я не вправе.

Том обвел нас взглядом, желая понять, разделяем ли мы его недоверие. Но все мы смотрели на Гэтсби.

– После Перемирия, – продолжал тот, – некоторым из офицеров предоставили такую возможность. Мы могли поступить в любой университет Англии или Франции.

Мне захотелось вскочить и хлопнуть его по спине. Я снова испытал уже знакомый прилив веры в него.

Дэйзи встала, легко улыбаясь, и подошла к столу.

– Откупорь виски, Том, – велела она. – А я смешаю джулеп. И ты не будешь чувствовать себя таким дураком... Посмотри на мяту!

– Минутку, – огрызнулся Том. – Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос.

– Прошу вас, – вежливо согласился Гэтсби.

– Скажите, какой, собственно, скандал пытаетесь вы развязать в моем доме?

Разговор пошел наконец в открытую, и Гэтсби это устраивало.

– Это не он развязывает скандал. – Отчаянный взгляд Дэйзи перебегал с одного из них на другого. – Это ты его развязываешь. Пожалуйста, возьми себя в руки.

– В руки! – неверяще повторил Том. – Сидеть и смотреть, как мистер Никто и родом ниоткуда спит с моей женой, – да это последнее, что я сделал бы. Если тебе такое поведение представляется нормальным, то от меня его можешь не ждать... Нынешние люди начинают с глумления над семейной жизнью, над самим институтом семьи, а следом отбрасывают любые приличия и допускают браки между черными и белыми.

Упоенный собственной пылкой ахинеей, Том, похоже, видел в себе последний оплот цивилизации.

– Мы-то здесь все белые, – пробормотала Джордан.

– Я знаю, многие меня недолюбливают. Шикарных приемов я не закатываю. Полагаю, вам для того и пришлось обратиться ваш дом в свинарник, чтобы завести побольше друзей – из современного мира.

Сколько я ни был сердит – да и все мы, – едва лишь Том открывал рот, меня так и тянуло расхохотаться. Уж больно полным было его перевоплощение из распутника в резонера.

– У меня тоже есть что сказать вам, старина... – начал Гэтсби.

Однако Дэйзи угадала его намерения.

– Прошу, не надо! – беспомощно прервала она Гэтсби. – Послушайте, давайте все вернемся домой. Почему бы нам не вернуться домой?

– Хорошая мысль. – Я встал. – Поехали, Том. Все равно пить никому не хочется.

– Я желаю узнать, что имеет сказать мне мистер Гэтсби.

– Что ваша жена не любит вас, – отозвался Гэтсби. – И никогда не любила. Она любит меня.

– Да вы спятили! – машинально воскликнул Том.

Охваченный волнением Гэтсби вскочил на ноги.

– Она никогда не любила вас, слышите? – закричал он. – А вышла за вас только потому, что я был беден и она устала ждать меня. Совершила страшную ошибку, но в душе своей никогда никого не любила, кроме меня!

Тут уж мы с Джордан попытались сбежать, однако Том и Гэтсби принялись наперебой требовать, чтобы мы остались, – как будто каждому из них нечего было скрывать, а присутствие при излиянии их эмоций составляло бог знает какую привилегию.

– Сядь, Дэйзи. – Том без большого успеха попытался подпустить в свой голос отеческие нотки. – Так что между вами произошло? Я хочу услышать об этом.

– Я уже сказал вам, что между нами произошло, – ответил Гэтсби. – И происходило пять лет – без вашего ведома.

Том круто повернулся к Дэйзи:

– Ты пять лет встречалась с этим типом?

– Не встречалась, – поправил его Гэтсби. – Встреч не было. Но все эти годы мы любили друг друга, старина, а вы об этом не знали. Меня временами смех брал при мысли, что вы ничего не знаете.

Впрочем, сейчас смеха в глазах его не было и в помине.

– О – и только-то.

Том на манер священника соединил свои толстые пальцы, откинулся в кресле. Но сразу же и взорвался:

– Вы психопат! Я не могу говорить о том, что было пять лет назад, я не знал тогда Дэйзи – и будь я проклят, если понимаю, как вам удалось приблизиться к ней хотя бы на милую, разве что вы в ее дом продукты заносили через заднюю дверь. Но все остальное – богомерзкое вранье. Дэйзи любила меня, когда стала моей женой, и любит сейчас.

– Нет, – ответил, качая головой, Гэтсби.

– Конечно, любит. Беда в том, что иногда она забивает себе голову какой-нибудь дурью и сама не понимает, что делает. – Том умудренно покивал. – Больше того, я тоже люблю ее. Да, время от времени я срываюсь и пошаливаю на стороне, веду себя дурак дураком, но всегда возвращаюсь, и сердце мое принадлежит только ей.

– Ты отвратителен, – сказала Дэйзи. Она повернулась ко мне, голос ее вдруг зазвучал на октаву ниже, презрение подрагивало в нем: – Ты знаешь, почему мы уехали из Чикаго? Странно, что тебя не потешили там рассказом о его маленькой шалости.

Гэтсби подошел к ней, встал рядом.

– Все уже позади, Дэйзи, – серьезно сказал он. – И не имеет никакого значения. Просто скажи ему правду... скажи, что никогда не любила его... и этот кошмар развеется навсегда.

Дэйзи слепо уставилась на него:

– Почему... как я могла любить его... как?

– Ты никогда его не любила.

Дэйзи колебалась. Она умоляюще посмотрела на Джордан, потом на меня, словно поняв наконец, что делает, – и словно никогда, с самого начала, делать ничего не собиралась. Но теперь уже сделала. Отступать было поздно.

– Я никогда не любила его, – с явственной неохотой произнесла она.

– Даже в Капиолани? – спросил вдруг Том.

– Даже там.

Из бальной залы внизу поплыли по волнам горячего воздуха приглушенные, задышливые аккорды.

– Даже в тот день, когда я нес тебя на руках от Панч-Боул, чтобы ты не замочила ноги? – В голосе его проступила хрипловатая нежность. – ...Дэйзи?

– Прошу тебя, не надо. – Ее голос был холоден, однако озлобление ушло из него. Она посмотрела на Гэтсби: – Ну вот, Джей.

Впрочем, когда она попыталась закурить, рука ее задрожала, и Дэйзи бросила сигарету и горевшую спичку на ковер.

– Ты хочешь слишком многого! – крикнула она Гэтсби. – Сейчас я люблю тебя – неужели этого мало? А прошлое я изменить не могу. – И Дэйзи растерянно заплакала. – Я любила его когда-то – но и тебя любила тоже.

Глаза Гэтсби широко раскрылись – и закрылись.

– Меня тоже? – повторил он.

– И даже это – вранье, – яростно вмешался Том. – Она не знала, живы ли вы. Да что там, нас с Дэйзи связывают вещи, о которых вы никогда не узнаете, а мы их никогда не забудем.

Казалось, что эти слова причиняют Гэтсби физическую боль.

– Мне нужно поговорить с ней наедине, – требовательно заявил он. – Дэйзи слишком взволнована и...

– Даже наедине с тобой я не смогу сказать, что никогда не любила Тома, – жалким голосом призналась она. – Потому что это неправда.

– Конечно, неправда, – согласился Том.

Дэйзи повернулась к мужу.

– Как будто для тебя это важно, – сказала она.

– Конечно, важно. Отныне я буду лучше заботиться о тебе.

– Вы не понимаете, – произнес с ноткой паники в голосе Гэтсби. – Заботиться о ней вам больше не придется.

– Не придется? – Том округлил глаза, усмехнулся. Он уже совладал с собой. – Это почему же?

– Дэйзи уходит от вас.

– Чушь.

– Да, ухожу, – с видимой натугой подтвердила Дэйзи.

– Никуда она не уйдет! – Слова Тома падали на Гэтсби, как камни. – И уж тем более не к заурядному жулику, который, если и наденет ей на палец кольцо, так только украл его.

– Я этого не вынесу! – закричала Дэйзи. – Прошу, уйдем отсюда.

– Кто вы, собственно говоря, такой? – грянул Том. – Типчик из шайки Мейера Вольфшайма – уж это-то мне известно. Я немного покопался в ваших делишках – и завтра покопаюсь еще.

– Не отказывайте себе ни в чем, старина, – невозмутимо ответил Гэтсби.

– Я выяснил, что такое ваши «аптеки». – Том повернулся к нам и заговорил быстрее. – Он и этот Вольфшайм скупили здесь и в Чикаго кучу аптек, стоящих на тихих улочках, и продают в них из-под прилавка спиртное. И это всего лишь один из его мелких трюков. Я с первого взгляда признал в нем бутлегера – и не ошибся.

– И что же? – вежливо осведомился Гэтсби. – Сколько я знаю, гордость не помешала вашему другу Уолтеру Чейзу составить нам компанию.

– Ну да, а вы бросили его в беде, не так ли? Позволили на месяц упрятать его в тюрьму Нью-Джерси. Господи! Слышали бы вы, что говорил мне Уолтер о вас!

– Он обратился к нам, когда разорился вчистую. И был страшно доволен, что мы позволили ему разжиться деньжатами, старина.

– Перестаньте называть меня «старинной»! – заорал Том. Гэтсби промолчал. – Уолтеру кое-что известно о ваших махинациях, он мог сдать вас полиции, да только Вольфшайм запугал его, заткнул ему рот.

На лицо Гэтсби вернулось то самое незнакомое, но легко узнаваемое выражение.

– Ваш аптечный бизнес – это так, мелкая дробь, – неторопливо продолжил Том, – а вот сейчас вы проворачиваете какое-то темное дельце, о котором Уолтер побоялся мне рассказать.

Я посмотрел на Дэйзи, переводившую полный ужаса взгляд с Гэтсби на мужа и обратно, посмотрел на Джордан, которая опять принялась уравнивать на краешке подбородка нечто незримое, но требующее большой сосредоточенности. И повернулся к Гэтсби – и лицо его меня испугало. Сейчас он выглядел так, – я говорю это с полным презрением к вздорной болтовне, которую слышал в его парке, – точно и впрямь «убил человека». На миг лицо Гэтсби приняло выражение, которое можно описать лишь таким фантастическим образом.

Этот миг миновал, Гэтсби взволнованно заговорил с Дэйзи, все отрицая, защищая свое имя от обвинений, которые еще и предъявлены не были. Но с каждым его словом она все пуще и пуще замыкалась в себе, и он сдался, и пока этот день уходил от нас, лишь скончавшаяся мечта Гэтсби сражалась, стараясь дотянуться до того, что уже стало неосязаемым, пробиваясь, несчастливо и неустанно, к голосу, совсем недавно звучавшему в этой комнате.

И голос прозвучал снова – с мольбой:

– Пожалуйста, Том! Я этого больше не выдержу.

Испуганные глаза Дэйзи говорили, что, какие бы намерения она ни питала, какой бы храбрости ни набралась, от них ничего не осталось.

– Поезжайте домой вдвоем, Дэйзи, – сказал Том. – В машине мистера Гэтсби.

Она взглянула на Тома, теперь уже тревожно, однако он с великодушным презрением настоял на своем:

– Поезжайте. Он не станет тебе докучать. Думаю, он понял, что его залихватский романчик закончился.

И они ушли, не сказав больше ни слова, ничего не значащие изгои, обделенные, точно призраки, даже нашей жалостью.

Миг спустя Том встал и начал заворачивать в полотенце так и оставшуюся неоткрытой бутылку виски.

– Выпить кто-нибудь хочет? Джордан?.. Ник?

Я не ответил.

– Ник? – повторил он.

– Что?

– Хочешь немного?

– Нет... Только что вспомнил: у меня сегодня день рождения.

Тридцать лет. Предо мной пролегла предвещающая дурное, пугающая дорога еще одного десятилетия.

Когда мы уселись с Томом в двухместку и выехали к Лонг-Айленду, было семь вечера. Ликующий Том говорил без умолку, смеялся, но голос его в такой же мере не имел отношения ко мне и к Джордан, в какой и шум, долетавший до нас с тротуара, или грохот надземки вверх, над нашими головами. Человеческое сострадание имеет свои пределы, и мы были довольны, что все их трагические перекоры блекнут вместе с огнями города за нашими спинами. Тридцать лет – обещание десяти лет одиночества, скудеющего списка холостых знакомых, скудеющего запаса восторженных надежд, скудеющих волос. Но рядом со мной была Джордан, слишком, в отличие от Дэйзи, умная, чтобы тащить за собой из года в год давно забытые грезы. Когда мы проезжали под темным мостом, бледное лицо ее неторопливо легло на плечо моего пиджака, и грозный росчерк тридцатилетия стал выцветать под успокоительным нажимом ее ладони.

Так мы и ехали, приближаясь в остывающих сумерках к смерти.

Главным свидетелем был во время следствия молодой грек, Микаэлис, владелец стоявшей у шлаковых груд кофейни. Самую жару он проспал, проснулся в пять, прошелся до автомастерской и обнаружил Джорджа Уилсона в его конторе больным – по-настоящему больным, бледным, как его бесцветные волосы, трясущимся всем телом. Микаэлис посоветовал ему лечь в постель, однако Уилсон отказался, заявив, что, валяясь на кровати, можно много чего упустить. Уговаривая его, сосед слышал наверху странный грохот.

– Я там жену запер, – спокойно объяснил Уилсон. – Пусть посидит до послезавтра, а затем мы уедем.

Микаэлис изумился; прожив бок о бок с Уилсонами четыре года, он ничего даже отдаленно похожего от соседа не слышал. Вообще человеком тот был затюканным: если работы не было, сидел на стуле в проеме двери, смотрел на людей, на проезжавшие по дороге машины. Когда же с ним заговаривали, смеялся – примирительно и бесцветно. Он принадлежал жене, а не себе.

Поэтому Микаэлис, естественно, попытался выяснить, что случилось, однако Уилсон не сказал ему ни слова, а стал вместо этого бросать на гостя странные, полные подозрения взгляды и расспрашивать, где он был в такой-то день да в такое-то время. Гостю мало-помалу становилось не по себе, но тут мимо двери мастерской прошли направлявшиеся в его ресторанчик рабочие, и Микаэлис воспользовался этим, чтобы улепетнуть, решив вернуться попозже. Однако не вернулся. Забыл, наверное, вот и все. И только выйдя после семи на улицу, вспомнил об этом разговоре, потому что слышал голос миссис Уилсон, громкий и гневный, доносившийся из нижнего этажа мастерской.

– Ну, ударь меня! – вопила она. – Сбей с ног и измолоти, грязный маленький трус!

А через мгновение она выскочила в сумерки, размахивая руками и крича, и Микаэлис даже на шаг отойти от своей двери не успел, как все было кончено.

«Машина смерти», как ее потом называли газеты, не остановилась – выскочила из сгущавшейся темноты, трагически дрогнула от удара и скрылась за следующим поворотом дороги. Микаэлис даже в цвете ее уверен не был – первому появившемуся там полицейскому он сказал: светло-зеленая. Еще один, шедший в Нью-Йорк, автомобиль затормозил, проехав сотню ярдов, и водитель его бросился назад, туда, где на дороге лежала, поджав колени, Мертл Уилсон, и жизнь стремительно покидала ее, и густая, темная кровь смешивалась с пылью.

Водитель и Микаэлис подбежали к ней первыми, но, разодрав на ней еще влажную от пота блузку, увидели, что левая грудь Мертл свисает как лоскут, и пытаться услышать сердце, которое он прежде прикрывал, бессмысленно. Рот несчастной был широко раскрыт, губы в уголках надорваны – так, словно она задыхалась, извергая огромную жизненную силу, которую носила в себе столь долго.

Мы еще издали увидели не то три, не то четыре автомобиля, толпу.

– Авария! – сказал Том. – Это хорошо. Наконец-то Уилсону подзаработать удастся.

Он сбавил ход, но останавливаться не собирался, и лишь когда мы подъехали ближе и увидели застывшие лица безмолвных людей у двери мастерской, непроизвольно затормозил.

– Давайте посмотрим, что там, – неуверенно предложил он, – просто посмотрим.

Тут я осознал, что из мастерской безостановочно истекает глухое подвывание, звук, который, когда мы вылезли из машины и подошли к двери, разделился на слова: «О Боже!», снова и снова повторявшиеся, как судорожный стон.

– Там какая-то беда приключилась, – взволнованно сказал Том.

Он привстал на цыпочки, чтобы заглянуть поверх голов стоявших полукругом людей в мастерскую, освещенную только качавшейся желтой лампочкой в проволочном кожухе. А следом издал такой звук, точно у него перемкнуло горло, и, мощными руками расталкивая людей, протиснулся внутрь.

Полукруг, по которому пробежал протестующий ропот, уплотнился снова, и прошла минута, прежде чем я смог увидеть хоть что-то. Потом подошли еще люди, прежний строй нарушился, и нас с Джордан неожиданно втолкнули в мастерскую.

Тело Мертл Уилсон, завернутое, как будто ее бил на такой жаре озноб, в два одеяла, лежало на верстаке у стены; Том, повернувшись спиной к нам, склонился над ней, да так и замер. Рядом с ним возвышался, обливаясь потом, полицейский-мотоциклист, который записывал в маленькую книжицу имена присутствующих, то и дело сбиваясь и внося поправки. Поначалу я не смог обнаружить источник пронзительных стенаний, на которые отзывалась шумным эхом пустая мастерская, но затем увидел Уилсона, который стоял на высоком пороге конторы, раскачиваясь вперед-назад и держась обеими руками за дверные косяки. Какой-то мужчина негромко говорил с ним, время от времени пытаясь положить ладонь ему на плечо, однако он и не слышал его, и не видел. Взгляд Уилсона медленно спускался от качавшейся лампочки к обремененному трупом верстаку у стены, затем стремительно взмывал обратно, а сам он повторял и повторял свой тонкий жуткий призыв:

– О Бо-оже! О Бо-оже! О Бо-оже! О Бо-оже!

Наконец Том рывком поднял голову и, окинув мастерскую остекленным взглядом, пробормотал полицейскому что-то неразборчивое.

– М-а-в-... – выговаривал полицейский, – о-...

– Нет, р-, – перебил его обладатель сложной фамилии, – М-а-в-р-о-...

– Да послушайте же меня! – свирепо прошипел Том.

– р-, – повторил полицейский, – о-...

– Г-...

– Г-...

Том широкой ладонью хлопнул его по плечу, и полицейский оторвал взгляд от записной книжки.

– Вам чего, приятель?

– Я хочу знать, что случилось.

– Ее авто сбило. Умерла на месте.

– Умерла на месте, – повторил, не сводя с него глаз, Том.

– Она на дорогу выскочила. А сукин сын даже не остановился.

– Машин было две, – сказал Микаэлис, – одна туда ехала, другая сюда, понимаете?

– Куда – туда? – спросил проницательный полицейский.

– Они навстречу друг другу шли. Ну, а она... – рука Микаэлиса начала подниматься, чтобы указать на одеяла, но остановилась на полпути и упала к бедру, – ...она выбежала отсюда, и та, что шла из Нью-Йорка, миль тридцать, а то и сорок в час делала, прямо в нее и врезалась.

– Как называется это место? – спросил полицейский.

– Да никак не называется.

Сквозь толпу начал проталкиваться хорошо одетый мулат.

- Машина была желтая, – крикнул он, – большая желтая машина! Новая.
- Вы видели, как все было? – спросил полицейский.
- Нет, я только машину видел, обогнала меня на шоссе, а делала она больше сорока.

Пятьдесят-шестьдесят.

- Подойдите сюда, назовитесь. Эй там, расступитесь. Мне нужно записать его имя.

Какие-то обрывки этого разговора, по-видимому, достигли ушей покачивавшегося в двери конторы Уилсона, ибо на смену его задышным выкрикам пришли другие слова:

- Можете мне не рассказывать, какая была машина! Я знаю, какая была машина!

Я наблюдал в это время за Томом и потому увидел, как на его спине взбугрились под пиджаком мышцы. Он быстро приблизился к Уилсону и крепко взял его за плечи.

- Ну-ка, придите в себя, – грубовато, но умиротворяюще сказал Том.

Взгляд бедняги уперся в лицо Тома, Уилсон попытался подняться на цыпочки, однако ноги его не слушались, и он, пожалуй, упал бы на колени, если бы Том его не держал.

– Послушайте, – сказал, легко встряхнув Уилсона, Том. – Я приехал сюда из Нью-Йорка всего минуту назад. Привел вам «купе», как договаривались. Желтая машина, на которой я приезжал днем, была не моя, слышите? Я ее и не видел после полудня.

Только мулат и я находились достаточно близко к ним и могли слышать, что говорит Том, тем не менее полицейский уловил что-то в его интонации и свирепо уставился на него.

- Что у вас там? – резко спросил он.

– Я его друг. – Том обернулся, однако Уилсона из рук не выпустил. – Он говорит, что знает машину, которая сбила его жену... Желтую машину.

По-видимому, в голову полицейского закралась какая-то туманная мысль – взгляд его стал подозрительным.

- А ваша какая?

- Синяя, двухдверная.

- Мы только что из Нью-Йорка приехали, – прибавил я.

Какой-то следовавший за нами человек подтвердил мои слова, и полицейский отвернулся от Тома.

- Так, теперь повторите вашу фамилию по буквам...

Том поднял Уилсона, точно куклу, отнес его в контору, посадил на стул и вернулся.

– Кто-нибудь, идите туда, побудьте с ним! – резко распорядился он и застыл в ожидании на пороге конторы. В конце концов двое стоявших в первом ряду мужчин переглянулись и неохотно вошли в нее. Том захлопнул за ними дверь, сосступил, стараясь не смотреть на верстак, с порога и, проходя мимо меня, прошептал: – Пошли отсюда.

Властная рука его расчищала нам путь, мы, поживаясь от смущения, наполовину бессознательно пронизали продолжавшую разрастаться толпу и увидели торопливо шагавшего с саквояжем в руке доктора, за которым в бессмысленной надежде послали полчаса назад.

До поворота Том вел машину медленно, а там его нога вдавила педаль акселератора в пол, и машина понеслась сквозь ночь. Немного погодя я услышал негромкое хриплое рыдание и увидел, что лицо Тома залито слезами.

- Проклятый трус! – всхлипнул он. – Даже не остановился.

Внезапно из-за темных шелестящих деревьев на нас поплыл дом Бьюкененов. Том остановил машину у веранды, поднял взгляд ко второму этажу, где за плетями вьющихся растений светились два окна.

– Дэйзи дома, – сказал он. Мы вышли из машины, он взглянул на меня и слегка поморщился.

- Мне следовало забросить тебя на Вест-Эгг, Ник. Сегодня мы ничего сделать не сможем.

Том изменился, говорил веско, решительно. Пока мы шли по освещенному луной гравию к веранде, он обрисовал положение несколькими короткими фразами.

– Я позвоню, вызову такси, оно отвезет тебя домой, а до того тебе и Джордан лучше посидеть на кухне, пусть вас там покормят, если вы голодны. – Он открыл дверь. – Входи.

– Нет, спасибо. Буду рад, если ты закажешь такси. А пока подожду снаружи.

Джордан положила ладонь мне на руку.

– Может, все же зайдешь, Ник?

– Нет, спасибо.

Меня немного мутило, хотелось остаться одному. Однако Джордан задержалась у двери еще на миг.

– Всего лишь половина десятого, – сказала она.

Ну уж нет: я чувствовал, что на сегодня с меня этих людей довольно, – и неожиданно в числе «этих» оказалась и Джордан. Должно быть, она как-то поняла это по моему лицу, потому что резко развернулась и взбежала по ступенькам на веранду, а оттуда в дом. Я просидел несколько минут, сжимая руками голову, – пока не услышал, как в вестибюле дворецкий снимает с аппарата трубку и вызывает такси. И тогда встал и пошел по дорожке от дома, решив подождать машину у ворот.

Пройдя ярдов двадцать, я услышал мое имя и увидел выступившего из кустов на дорожку Гэтсби. Надо полагать, я впал к этому времени в состояние совсем уж одурелое, поскольку ни о чем, кроме того, как светится под луной его розовый костюм, думать не мог.

– Что вы здесь делаете? – спросил я.

– Просто стою, старина.

Такое препровождение времени почему-то показалось мне предосудительным. Почему знать, может, он дом собрался ограбить; я нисколько не удивился бы, увидев в темных кустах за ним злодейские физиономии «людей Вольфшайма».

– Вы на дороге ничего не заметили? – промолчав минуту, спросил он.

– Заметил.

Гэтсби замялся.

– Она погибла?

– Да.

– Я так и думал; и Дэйзи об этом сказал. Лучше так, чем ждать, когда ужасная новость свалится на нее и надорвет ей душу. Она хорошо справилась с этим ударом.

Послушать его, так единственное, что имело значение, – реакция Дэйзи.

– Я доехал проселками до Вест-Эгг, – продолжал он, – поставил машину в гараж. Не думаю, чтобы кто-нибудь нас разглядел, но, конечно, наверное сказать невозможно.

К этому времени он стал настолько противен мне, что я не считал нужным разуверять его.

– Кто была та женщина? – спросил он.

– Ее фамилия Уилсон. Муж – владелец автомастерской. Как, черт возьми, это случилось?

– Ну, я попытался вывернуть руль, однако... – Он замолк, и я вдруг догадался, как было дело.

– Машину вела Дэйзи?

– Да, – не сразу, но ответил он, – я, разумеется, заявлю, что сам сидел за рулем. Понимаете, когда мы выехали из Нью-Йорка, она разнервничалась вконец и попросилась за руль, мол, это ее успокоит, – а та женщина выбежала на дорогу, как раз когда мы почти поравнялись с другой машиной, встречной. Все произошло мгновенно, однако мне показалось, что она хотела поговорить с нами, приняла нас за кого-то из ее знакомых. Ну вот, Дэйзи вильнула от нее к другой машине, потом оробела и вильнула назад. А дотянувшись до руля, я почувствовал удар – наверное, он убил ее сразу.

– Ей оторвало...

Он сморщился:

– Избавьте меня от подробностей, старина. Так или иначе, нога Дэйзи словно вросла в педаль. Я попытался заставить ее остановиться, но она попросту не могла, мне пришлось воспользоваться ручным тормозом. После этого она упала мне на колени, и дальше машину повел я.

– К утру она оправится, – добавил после паузы Гэтсби. – А я подожду здесь, посмотрю, не надумает ли он приставать к ней из-за сегодняшней ссоры. Она заперлась у себя и, если он полезет к ней с грубостями, посигналит мне светом.

– Он не тронет ее, – сказал я. – Он и думает-то сейчас не о ней.

– Я не доверяю ему, старина.

– Но сколько же вы собираетесь ждать?

– Если понадобится, так и всю ночь. Хотя бы до того, как все улягутся спать.

В голову мне пришла новая мысль. А вдруг Том уже узнал, что машину вела Дэйзи? Он может подумать, что все произошло не случайно, – может подумать что угодно. Я окинул взглядом дом: два или три горящих окна внизу, розовое свечение в комнате Дэйзи на втором этаже.

– Пойдите здесь, – сказал я. – Пойду посмотрю, все ли там тихо.

Я возвратился назад по краю лужайки, тихо пересек гравиевую дорожку и на цыпочках взойшел на веранду. Шторы гостиной были разведены, однако она оказалась пустой. Пройдясь по веранде, на которой мы обедали тем июньским трехмесячной давности вечером, я приблизился к небольшому прямоугольнику света, лившегося, по моей догадке, из буфетной. Жалюзи ее были опущены, но над самым подоконником осталась щелка.

Дэйзи и Том сидели за кухонным столом лицами друг к другу, между ними стояли две бутылки эля и блюдо с холодной жареной курицей. Он что-то пылко втолковывал ей, неотрывно глядя в ее лицо и накрывая ладонь жены своей ладонью. Она время от времени поднимала на него взгляд и согласно кивала.

Они не выглядели счастливыми, ни к курице, ни к элю оба даже не притронулись – но не выглядели и несчастными. В картине этой присутствовала естественная интимность, и, наверное, всякий, увидев ее, сказал бы, что они о чем-то сговариваются.

На цыпочках спускаясь с веранды, я услышал, как по темному шоссе приближается к дому такси. Гэтсби ждал на дорожке, в точности там, где я покинул его.

– Все тихо? – тревожно спросил он.

– Да, все тихо. – Я колебался. – Вам лучше поехать домой и лечь спать.

Он потряс головой.

– Подожду, пока ляжет Дэйзи. Спокойной ночи, старина.

Он засунул руки в карманы пиджака и нетерпеливо отвернулся к дому – так, словно мое присутствие оскверняло святость его бдения. И я ушел, оставив его, блюстителя пустоты, стоять под светом луны.

Глава восьмая

Толком поспать я в ту ночь не смог: в Проливе, не умолкая, стонал туманный горн, и я метался, полубольной, между фантастической реальностью и дикими, пугающими снами. Услышав перед рассветом такси, заехавшее на подъездную дорожку Гэтсби, я выскочил из постели и стал одеваться – я чувствовал, что должен сказать ему кое-что, предостеречь, а утром может быть уже слишком поздно.

Переходя его лужайку, я увидел, что парадная дверь дома распахнута, а за ней различил и Гэтсби – подавленный, полусонный, он стоял в вестибюле, опираясь руками о стол.

– Ничего не произошло, – вяло сказал он. – Я ждал, а около четырех она подошла к окну, постояла с минуту и выключила свет.

Никогда еще дом Гэтсби не казался мне таким огромным, как той ночью, когда мы рыскали по его залам в поисках сигарет. Мы раздвигали шторы, похожие на полы шатра, ощупывали в поисках выключателей бесчисленные футы темных стен – один раз я, споткнувшись, налетел во мраке на клавиатуру призрачного рояля, и из него брызгами посыпались звуки. Все покрывала необъяснимо густая пыль, воздух был затхл, походило на то, что дом уже много дней не проветривали. Наконец я нашел на незнакомом столе коробку для сигар, а в ней две выдохшиеся сухие сигареты. Мы перешли в гостиную, распахнули французские окна и посидели, куря в темноте.

– Вам лучше уехать, – сказал я. – Машину вашу они отыщут, и сомневаться нечего.

– Уехать сейчас, старина?

– Переберитесь на неделю в Атлантик-Сити, а то и в Монреаль.

Он и думать об этом не желал. Не мог он оставить Дэйзи, не выяснив прежде ее намерений. Он цеплялся за какую-то последнюю надежду, а мне не хватало решимости отнять ее.

Именно в ту ночь он и рассказал мне о своей странной юности, о годах, проведенных им в обществе Дэна Коды, – рассказал потому, что безжалостная злоба Тома разбила «Джея Гэтсби» вдребезги, как стекло, и долгая феерия, которую он втайне разыгрывал, исчерпала себя. Думаю, он мог бы тогда признаться мне во всем, без утайки, но ему хотелось поговорить о Дэйзи.

Она была первой «хорошей» девушкой, какую он в своей жизни встретил. Примеряя на себя личины самые разные (о них Гэтсби распространяться не стал), он время от времени сталкивался с такими людьми, однако его всегда отделяли от них незримые ряды колючей проволоки. Ее же Гэтсби нашел головокружительно желанной. Он посещал ее дом – сначала с другими офицерами Кэмп-Тейлора, потом в одиночку. И тот поражал Гэтсби – ему еще не доводилось бывать в таком прекрасном доме. Но особым, занимающим дух электричеством насыщало воздух дома то обстоятельство, что в нем жила Дэйзи, – для нее он был так же привычен, как для Гэтсби его лагерная палатка. Дом хранил настоянные на времени тайны – намек на присутствие в верхнем этаже спален, таких роскошных и прохладных, каких нигде больше и не увидишь; на веселые, изобретательные проделки, которые когда-то устраивались во всех его коридорах; на любовные похождения – не затянувшиеся плесенью, не сберегаемые на память под слоем сушеного цвета лаванды, но живые, свежие, живые, напоминающие своим блеском только что изготовленные автомобили; на балы, чьи цветы еще не успели увянуть. Волновало его и то, что в Дэйзи уже влюблялись многие, – это заставляло Гэтсби еще пуще ценить ее. Он ощущал присутствие в доме этих мужчин, они наполняли воздух тенями и отзвуками все еще трепетных чувств.

Однако он понимал, что попал в дом Дэйзи благодаря невероятной удаче. Сколь бы ни славным могло стать его, Джея Гэтсби, будущее, покамест он оставался молодым человеком без прошлого и без гроша в кармане, а плащ-невидимка, каким был для него офицерский мун-

дир, мог в любую минуту соскользнуть с его плеч. Вот он и старался как можно лучше распорядиться тем временем, какое у него еще оставалось. Он привык брать алчно и без зазрения совести все, что шло ему в руки, и, в конце концов, одной тихой октябрьской ночью взял и Дэйзи – взял, потому что не вправе был даже к руке ее прикоснуться.

Он мог проникнуться презрением к себе, потому что взял ее обманом. Я не хочу сказать, что Гэтсби сыграл на своих фиктивных миллионах, но мысль о том, что опасаться ей нечего, он Дэйзи внушил, заставил ее поверить, что принадлежит к одному с ней кругу и вполне способен обеспечить ее. На деле же у него не было ничего – не было обладавшей достатком семьи, всегда готовой его поддержать, ничего, – жизнь Гэтсби зависела от каприза безликого правительства, способного загнать его в какой угодно уголок земного шара.

Однако презрения не было и в помине, да и обернулось все не так, как он ожидал. Он намеревался, надо думать, взять что плохо лежит да и улепетнуть, – а обнаружил, что обрек себя на пожизненные поиски Грааля. Он знал, что Дэйзи – существо неординарное, но не понимал, насколько необычайной может быть «хорошая» девушка. В ту ночь она удалилась в свой богатый дом, в богатую, полную жизнь, оставив Гэтсби – ни с чем. А он почувствовал себя обвенчанным с нею – не больше и не меньше.

Когда они встретились два дня спустя, именно у Гэтсби, не у нее, перехватило дыхание, именно он почему-то почувствовал себя обманутым. Веранда ее дома купалась в сиянии купленных за немалые деньги звезд; плетеное канапе фешенебельно скрипнуло, когда она повернулась к нему, и он поцеловал ее в любознательные, прелестные губы. Дэйзи простыла, отчего голос ее стал чуть более хриплым, чарующим, как никогда, и Гэтсби ошеломленно осознал, какую молодость и тайну взяло в заточение и питает богатство, осознал чистоту ее одежд и саму Дэйзи, поблескивавшую, как серебро, благополучную и гордую, стоящую выше потных потуг бедноты.

– Я и сказать вам не могу, старина, как удивился, поняв, что люблю ее. Я даже надеялся недолгое время, что она бросит меня, но она не бросила, потому что тоже меня любила. И считала кладезем премудрости – просто из-за того, что я знал то, чего не знала она... И вот вам – я махнул рукой на мои амбиции, и это нисколько меня не заботило, и с каждой минутой влюблялся все сильнее. Да и что было толку от великих свершений, если я мог приятно проводить время, просто рассказывая ей о том, что собираюсь совершить?

В последний перед тем, как отбыть за границу, вечер он долго сидел, обнимая Дэйзи и не говоря ни слова. Вечер был холодный, осенний, в комнате горел камин, щеки ее покраснелись. Время от времени Дэйзи поерзывала, и он немного передвигал руку, а один раз поцеловал ее темные, блестящие волосы. Вечер как-то умиротворил их – словно бы для того, чтобы снабдить обоих на время долгой, обещаемой завтрашним днем разлуки пылкими воспоминаниями. За месяц любви они ни разу не ощутили такой близости, такого полного понимания друг дружки, как в эти минуты, когда она легко и безмолвно проводила губами по плечу его кителя или когда он нежно, словно боясь разбудить Дэйзи, касался кончиков ее пальцев.

Во время войны Гэтсби проявил себя блестяще. Чин капитана он получил еще до отправки на фронт, а после сражения в Аргонском лесу его произвели в майоры и отдали ему под начало дивизионных пулеметчиков. После Перемирия он предпринимал отчаянные усилия, чтобы возвратиться домой, однако вследствие некоторых осложнений или недопонимания был отправлен в Оксфорд. Теперь его снедала тревога – в письмах Дэйзи появилась нервная нотка отчаяния. Она не понимала, почему он не может вернуться. Ощущала натиск внешнего мира и хотела увидеть Гэтсби, почувствовать его близость, обрести окончательную уверенность в своей правоте.

Ибо Дэйзи была молода, а искусственный мир, в котором она жила, наполняли орхидеи, приятный, веселый снобизм, оркестры, которые определяли ритм каждого года, подытоживая в новых мелодиях печаль и вседозволенность жизни. Ночи напролет завывали саксофоны,

выводя лишние надежды комментарии «Бил-стрит блюза» к жизни, и сотни пар серебристых и золотистых туфельек шаркали, поднимая посверкивавшую пыль. В серый час чаепитий всегда находились гостиные, которые без устали сотрясал этот негромкий сладкий озноб, и юные лица плыли там и сям по воздуху, как лепестки роз, слутые грустными трубами.

С наступлением очередного сезона Дэйзи вновь начала вращаться в этой сумеречной вселенной; и неожиданно у нее вновь стало что ни день назначаться по полудюжине свиданий с полудюжиной мужчин, и она засыпала лишь на рассвете – в бусах и смятом шифоне вечернего платья, и орхидеи умирали на полу возле ее кровати. Но все это время что-то в ней кричало, требуя, чтобы она приняла решение. Ей хотелось теперь, чтобы ее жизнь приняла какую-то форму, немедленно, чтобы некая сила – любви, денег, неистребимой практичности – заставила ее решиться на то, к чему довольно было лишь протянуть руку.

И в середине весны сила эта явилась в обличье Тома Бьюкенена. И в личности его, и в положении, которое занимал он в обществе, присутствовала благотворная цельность, льстившая Дэйзи. Нечего и сомневаться, она и боролась с собой, и испытывала определенное облегчение. Письмо ее достигло Гэтсби, когда он был еще в Оксфорде.

Над Лонг-Айлендом уже загорался рассвет, мы прошли по первому этажу, открывая окна, наполняя дом то серым, то золотистым светом. Резкая тень дерева на росе, призрачные птицы запевали в синеватой листве. В воздухе ощущался не так чтобы ветер, но неторопливое, приятное движение, обещавшее чудный, прохладный день.

– Не думаю, что она когда-нибудь любила его. – Гэтсби, отвернувшись от окна, с вызовом взглянул на меня. – Не забываете, старина, она очень волновалась вчера. Он запугал ее своими словами, попытками выставить меня дешевым жуликом. И она едва понимала, что говорит.

Он, помрачнев, опустил в кресло.

– Конечно, она могла любить его минуту-другую, когда они только еще поженились, – и одновременно любить меня, гораздо сильнее, понимаете?

За чем последовало замечание совсем уж удивительное.

– Как бы то ни было, – сказал он, – это ее личное дело.

Что мог я вывести из этого? – разве что заподозрить наличие некой неизмеримой глубины в представлениях Гэтсби об их любви.

Он возвратился из Франции, когда свадебное путешествие Дэйзи с Томом еще продолжалось, и потратил остатки армейского жалованья на горестную поездку в неодолимо влекший его Луисвилл. Провел там неделю, бродя по улицам, помнившим звук их общих шагов в ноябрьской ночи, посещая глухие окраинные уголки, в которые они приезжали на ее белой машине. Так же, как дом Дэйзи всегда казался ему более загадочным и веселым, чем все остальные, сложившийся у Гэтсби образ самого города был пропитан, хоть Дэйзи его и покинула, меланхолической красотой.

Уезжая, он не мог отделаться от мысли, что если бы искал поусерднее, то нашел бы ее – что он бросает Дэйзи на произвол судьбы. В сидячем вагоне – денег у Гэтсби практически не осталось – было жарко. Он вышел в тамбур, двери которого были открыты, опустил на откидное сиденье, и вокзал отскользнул назад, и тыльные фасады незнакомых домов поплыли мимо него. Затем поезд выбрался в весенние поля, и там за ним с минуту гнался желтый трамвай, наполненный людьми, каждый из которых мог когда-то увидеть на той или иной улице бледное, волшебное лицо Дэйзи.

Поезд повернул и теперь уходил от садившегося солнца, благословлявшего, казалось, оставленный Гэтсби город, в котором она появилась на свет. В отчаянии он протянул руку, словно пытаясь схватить клоч воздуха, сберечь кусочек тех мест, где она любила его. Но поезд шел уже слишком быстро, все размазывалось перед глазами Гэтсби, и он понял, что потерял эту часть своего прошлого, самую чистую и самую лучшую, навсегда.

Когда мы покончили с завтраком и вышли из дома, чтобы посидеть на террасе, было уже девять. За ночь погода резко переменилась, в воздухе запахло осенью. Вскоре к подножию лестницы подошел садовник, единственный из прежних слуг Гэтсби, кто сохранил свое место.

– Я собираюсь спустить сегодня воду в бассейне, мистер Гэтсби. Скоро нападают листья, а они могут трубы забить.

– Только не сегодня, – ответил Гэтсби. И повернулся ко мне с таким лицом, словно хотел извиниться за что-то. – Знаете, старина, я за все лето так в бассейне и не поплавал.

Я посмотрел на часы и встал.

– До моего поезда осталось двенадцать минут.

Ехать в город мне не хотелось. Работник из меня в тот день был никакой – а главное, я не хотел оставлять Гэтсби одного. Я пропустил и этот поезд, и следующий, но потом все же заставил себя уйти.

– Я вам позвоню, – сказал я на прощание.

– Позвоните, старина.

– Около полудня.

Мы медленно спустились на две ступени.

– Наверное, и Дэйзи тоже позвонит.

Он смотрел на меня встревоженно, словно ожидая подтверждения.

– Наверное.

– Ну – до свидания.

Мы пожали друг другу руки, и я пошел к моему дому. Но перед самой живой изгородью вспомнил кое-что и обернулся.

– Вся эта публика – сушая дрянь, – крикнул я через лужайку. – Вы один лучше их всех, вместе взятых.

Я и поныне рад, что сказал это. То был единственный комплимент, какой получил от меня Гэтсби, поскольку я с самого начала и до конца относился к нему неодобрительно. Услышав мои слова, он вежливо покивал, но затем лицо его расплылось в лучезарной, понимающей улыбке – как будто мы с ним давным-давно с восторгом сошлись на этом. Роскошный, обратившийся, впрочем, в отрепья розовый костюм Гэтсби красочным пятном светился на белых ступенях, и мне вспомнилась трехмесячной давности ночь, когда я впервые попал в это несостоявшееся «родовое поместье». На лужайке, на подъездной дорожке теснились тогда люди, строившие догадки о его растленности, – а он стоял на этих самых ступенях, храня в душе нетленную мечту, и махал им на прощание рукой.

В тот раз я поблагодарил его за гостеприимство. Мы вечно благодарили его за гостеприимство – и я среди прочих.

– До свидания! – снова крикнул я. – Завтрак был замечательный, Гэтсби.

В городе я потратил какое-то время на составление нескончаемого списка котировок ценных бумаг, а потом заснул в моем вращающемся кресле. Перед самым полуднем проснулся в испарине – разбудил телефон. Я услышал голос Джордан Бейкер, она часто звонила мне в это время, поскольку иначе ее, сновашую вечно меняющимися маршрутами между отелями, клубами и домами знакомых, уследить было невозможно. Обычно голос ее, звучавший в трубке, был чист и спокоен, и мне, слушавшему его, начинало казаться, что он долетает через окно моего офиса с покрытого дерном поля для гольфа, но в то утро в нем ощущалась сухая резкость.

– Я уехала из дома Дэйзи – сейчас в Хемпстеде, а после полудня отправлюсь, наверное, в Саутгемптон.

Надо полагать, дом Дэйзи она покинула из деликатности, однако меня этот поступок раздосадовал, а от следующих ее слов я и вовсе оцепенел.

– Этой ночью ты вел себя не очень-то любезно.

– Мне было не до любезностей.

Молчание. Затем:

– Впрочем... мне хочется увидеть тебя.

– Мне тоже.

– Допустим, я махну рукой на Саутгемптон и приеду после полудня в город.

– Нет... после полудня не получится.

– Ну хорошо.

– После полудня я не смогу. Есть разные...

Какое-то время мы проговорили таким манером, а потом разговор вдруг прервался. Не помню, кто из нас с резким щелчком повесил трубку, но помню, что меня это не взволновало. Не мог я в тот день беседовать с ней за чашкой чая, даже если это означало, что побеседовать нам на этом свете больше не доведется.

Через несколько минут я позвонил Гэтсби, у него было занято. Я звонил еще четыре раза, и, в конце концов, отчаявшаяся телефонистка сказала мне, что линию не велено занимать: ждут междугороднего с Детройтом. Я взял расписание поездов и обвел кружком тот, что уходил в три пятьдесят. А после откинулся на спинку кресла и попытался привести мысли в порядок. Было ровно двенадцать.

Проезжая утром через долину праха, я нарочно пересел на другую сторону вагона. Полагаю, у мастерской весь день стояла толпа любопытствующих, и мальчишки пытались отыскать в пыли темные пятна, и какой-нибудь словоохотливый обормот снова и снова рассказывал о случившемся, и оно становилось все менее и менее реальным даже для него, и в конце концов он иссяк, и трагический уход Мертл Уилсон начал обволакиваться забвением. Теперь же я хочу вернуться немного назад и поведать вам о том, что произошло ночью в мастерской после того, как мы ее покинули.

Отыскать сестру Мертл, Кэтрин, оказалось делом непростым. Должно быть, она нарушила в ту ночь свой зарок насчет спиртного, потому что, появившись наконец в мастерской, соображала по причине выпитого туга и никак не могла уяснить, что карета «Скорой помощи» уже увезла тело во Флашинг. Когда же ей все втолковали, она немедля упала в обморок, как будто это и было самой нестерпимой частью случившегося. Какой-то доброхот или просто любопытствующий усадил Кэтрин в свою машину и повез вслед за телом ее сестры.

И после полуночи менявшая состав толпа еще долгое время прикипала к стене мастерской и отступала, точно плещущая волна, а Джордж Уилсон продолжал раскачиваться, сидя на кушетке внутри. Некоторое время дверь конторы оставалась открытой, и каждому, кто заходил в мастерскую, не удавалось устоять перед искушением заглянуть в нее. В конце концов кто-то сказал, что это стыд и позор, и захлопнул дверь. Микаэлис и с ним еще несколько мужчин – поначалу четверо или пятеро, потом двое-трое – оставались с Уилсоном. А еще попозже Микаэлису пришлось попросить последнего из оставшихся чужаков побыть здесь минут пятнадцать, чтобы он мог сбегать домой и сварить кастрюльку кофе. После этого он просидел наедине с Уилсоном до самого рассвета.

Около трех часов в бессвязном бормотании Уилсона произошли изменения – он успокоился и заговорил о желтом автомобиле. Объявил, что знает способ найти его владельца, а следом сболтнул, что пару месяцев назад его жена вернулась из города с лицом в синяках и с распухшим носом.

Однако, услышав эти свои слова, он задрожал и снова принялся с подвыванием вскрикивать: «О Боже!» И Микаэлис предпринял неуклюжую попытку уговорить его.

– Давно вы поженились, а, Джордж? Ну, давай, попробуй посидеть минутку спокойно и ответить на мой вопрос. Давно вы поженились?

– Двенадцать лет назад.

– И детей у вас не было? Ну, Джордж, сиди же спокойно – я тебе вопрос задал. Были у вас дети?

Крепкие бурые жуки кружили по комнате, то и дело ударяясь о кожух тусклой лампочки, и всякий раз, как до Микаэлиса доносился с дороги рокот раздиравшего тьму автомобиля, ему казалось, что это тот самый, не остановившийся несколько часов назад. Выходить в мастерскую он не хотел, – там, на верстаке, где лежал труп, остались пятна крови – и потому он расхаживал по конторе (изучив к утру все, что она вмещала), а время от времени присаживался рядом с Уилсоном и пытался успокоить его.

– Есть у тебя какая-нибудь церковь, в которую ты иногда заглядываешь, Джордж? Даже если давно уже не был в ней, а? Может, мне позвонить туда, позвать священника, пусть поговорит с тобой?

– Я ни в какой вере не состою.

– А стоило бы, Джордж, на такие случаи, как нынешний. Ведь ходил же ты в церковь когда-то. Разве ты не в церкви венчался? Послушай, Джордж, послушай меня. Разве ты не венчался в церкви?

– Так это вон когда было.

Усилия, которых потребовали от Уилсона ответы, нарушили ритм его раскачивания, и он замолк, но ненадолго. И вскоре в его выцветшие глаза вернулось выражение полужизни, полунедоумения.

– Посмотри в том ящике, – сказал он, указав на письменный стол.

– В каком?

– Вон в том.

Микаэлис выдвинул ближайший к нему ящик. Там одиноко лежал маленький дорогой собачий ошейник – кожаный, украшенный серебряным кантом. Вне всяких сомнений, новый.

– Ты об этом? – спросил Микаэлис, подняв ошейник повыше.

Уилсон взглянул на него, молча кивнул.

– Я его вчера вечером нашел. Она плела какую-то чушь, но я сразу понял – дело нечисто.

– Ты думаешь, его твоя жена купила?

– Он лежал в ее комоде, завернутый в папиросную бумагу.

Микаэлис не усмотрел в этом ничего странного и назвал Уилсону с десятков причин, по которым его жена могла купить собачий ошейник. Но, как можно себе представить, Уилсон такие объяснения уже слышал – от Мертл, – потому что снова заладил свое «О Боже!», правда, шепотом, и его утешитель прервал перечисление причин, не добравшись до конца их списка.

– А потом он ее убил, – сказал вдруг Уилсон. И замер с приоткрытым ртом.

– Кто?

– Я знаю, как это выяснить.

– Ты болен, Джордж, – сказал его друг. – День был тяжелый, ты сам не знаешь, что говоришь. Ты бы попробовал успокоиться, тихонько досидеть до утра.

– Он убил ее.

– Это был несчастный случай, Джордж.

Уилсон потряс головой, прищурился, снова приоткрыл рот – казалось, с губ его только что сорвалось полное превосходства «Ха!», но то был лишь призрак этого восклицания.

– Я понимаю, – решительным тоном произнес он, – малый я доверчивый, плохого от людей не жду, но когда я что знаю, то уж знаю. Это водитель той машины. Она выбежала поговорить с ним, а он не остановился.

Вообще-то говоря, в голове Микаэлиса тоже мелькала такая мысль, однако он не придавал ей большого значения. Поскольку был уверен, что миссис Уилсон скорее убегала от мужа, чем пыталась остановить именно эту машину.

– Да зачем он ей мог понадобиться?

– Она хитрая, – сказал Уилсон, по-видимому считавший эти слова ответом на вопрос Микаэлиса. – Ох-х-х...

Он снова начал раскачиваться, Микаэлис стоял, вертя в руках ошейник.

– Может, у тебя друг какой есть, а, Джордж? Я бы ему позвонил.

Но это было пустой надеждой – он почти не сомневался в том, что друзей у Уилсона нет, его и на собственную жену-то не хватало. А немного погодя грек с радостью заметил, что в комнате произошли некоторые изменения – в окне стало синеть, – и понял: скоро рассветет. Около пяти утра синева стала настолько яркой, что он выключил свет.

Остекленелый взор Уилсона обратился к грудам золы, над которыми поднимались, принимая фантастические очертания, серые облака, колыхавшиеся под рассветным ветерком.

– Я говорил ей, – после долгого молчания пробормотал он. – Говорил, что меня-то она дурачить может, но Бога не одурачит. Подвел ее к окну... – Уилсон с трудом встал, подошел к заднему окошку, – ...и говорю: «Бог знает, что ты сделала, он все знает. Меня ты дурачить можешь, но Бога не одурачишь».

Стоявший за его спиной Микаэлис вдруг потрясенно понял, что Уилсон смотрит в блеклые, огромные глаза доктора Т. Дж. Экклебурга, только что выступившие из распадавшейся ночи.

– Бог все видит, – повторил Уилсон.

– Это же рекламный щит, – попытался урезонить друга Микаэлис. Что-то заставило его отвернуться от окна и еще раз окинуть взглядом комнату. Уилсон же простоял так долгое время, приблизив лицо к стеклу и кивая рассветному сумраку.

К шести Микаэлис выдохся окончательно и потому обрадовался, услышав подъехавшую машину. Принадлежала она одному из вчерашних зевак, пообещавшему вернуться поутру, он приготовил завтрак на троих, который и съел вместе с Микаэлисом. Уилсон к этому времени притих, и потому грек отправился домой, поспать; когда же четыре часа спустя он проснулся и поспешил назад в мастерскую, Уилсона там не было.

Впоследствии удалось установить, что он добрался, – передвигаясь пешком, – до Порт-Рузвельта, где купил сэндвич, к которому не притронулся, и чашку кофе. Должно быть, он притомился и шел медленно, потому что в Гэдз-Хилл попал лишь к полудню. Установить, что он делал до этого времени, труда не составило, – нашлись мальчишки, видевшие мужчину, который «вел себя будто чокнутый», нашлись водители, на которых он как-то странно смотрел с обочины шоссе. Затем он на три часа исчез из поля зрения. Полиция, основываясь на сказанном им Микаэлису: «Я знаю, как это выяснить», – решила, что он провел это время, переходя из одной тамошней автомастерской в другую и задавая вопросы о желтом автомобиле. С другой стороны, никто из работавших в мастерских не подтвердил, что видел Уилсона, – быть может, у него имелся более простой и надежный способ узнать то, что ему требовалось. К половине третьего он объявился на Вест-Эгг, расспрашивал, как пройти к дому Гэтсби. Стало быть, к этому времени имя Гэтсби ему уже было известно.

В два часа дня Гэтсби надел купальный костюм и велел дворецкому, чтобы тот, если кто-нибудь позвонит, бежал к бассейну. Он зашел в гараж – за надувным матрасом, который так забавлял тем летом его гостей, – шофер помог хозяину накачать эту новинку. Гэтсби велел ему ни при каких обстоятельствах открытую машину из гаража не выводить, и это было странно – правое переднее крыло ее нуждалось в починке.

Закинув матрас на плечо, Гэтсби направился к бассейну. Один раз он остановился, немного сдвинул свою ношу, и шофер спросил, не помочь ли ему, но Гэтсби покачал головой и миг спустя скрылся за пожелтевшими деревьями.

Никто так и не позвонил, однако дворецкий неусыпно ждал у телефона до четырех, а к этому времени докладывать о звонке давно уже было некому. Мне кажется, что Гэтсби и сам больше не верил в возможность звонка, а может быть, ему стало все равно. Если так, он, надо

думать, чувствовал, что утратил свой старый теплый мир, заплатил высокую цену за то, что слишком долго жил одной-единственной мечтой. Должно быть, он смотрел сквозь испуганную листву в незнакомое небо и с трепетом думал о том, как смешна и нелепа роза, как саднит солнечный свет только-только сотворенную траву. То был новый мир, материальный, но не реальный мир, по которому наугад влеклись ничтожные призраки, дышавшие не воздухом, а мечтами... что-то вроде вон той фантастической пепельной фигуры, крадущейся к нему меж хаотично расставленных деревьев.

Шофер, один из протеже Вольфшайма, слышал выстрелы, но впоследствии только и смог сказать, что не придал им значения. Я приехал в дом Гэтсби прямо со станции, в тревоге взлетел по парадным ступеням, и мое стремительное появление стало первым, что всполошило хоть кого-то. Да они уже все знали, я в этом нисколько не сомневаюсь. Не произнеся почти ни слова, мы четверо – шофер, дворецкий, садовник и я – торопливо направились к бассейну.

Слабое, почти неуловимое движение совершалось в нем – это свежая вода, вливаясь в бассейн с одного конца, продвигалась к стоку на другом. Мелкая зыбь, жалкое подобие волн, подталкивала матрас, заставляя его беспорядочно перемещаться, неся свой груз, по бассейну. Легкого порыва ветра, едва рябившего воду, довольно было, чтобы сбить матрас с навязанного ему случаям курса, чтобы он понес свое навязанное ему случаем бремя в новом направлении. Столкнувшись с малым скоплением опавших листьев, матрас медленно поворачивался, вычерчивая в воде, точно ножка циркуля, тонкий красный кружок.

Уже после того, как мы понесли Гэтсби к дому, садовник увидел в траве, несколько в стороне от нашего пути, труп Уилсона, довершивший картину кровавой требы.

Глава девятая

Прошло два года, а я все еще помню остаток того дня, ночь и следующий день как нескончаемое шествие полицейских, фотографов и репортеров, входивших в парадную дверь Гэтсби и выходивших из нее. Натянута поперек ворот веревка и полицейский при ней останавливали любопытных, однако мальчишки быстро обнаружили, что в поместье можно пробраться через мой двор, и некоторое их количество постоянно толклось, разинув рты, около бассейна. В тот вечер некий весьма уверенный в себе джентльмен, детектив быть может, обронил, склонившись над телом Уилсона, слово «безумец», и небрежная весомость его определила тон статей, появившихся на следующее утро в газетах.

По большей части статьи эти были ужасны – нелепые, обстоятельные, крикливые и полные вранья. Когда Микаэлис сообщил на дознании о подозрениях, которые Уилсон питал насчет жены, я решил, что в самом скором времени газеты обратят эту историю в пикантный пасквиль, – однако Кэтрин, которая наверняка могла рассказать многое, молчала как рыба. Она проявила редкостную стойкость – решительно глядя из-под отредактированных бровей коронеру в глаза, она поклялась, что ее сестра ни разу в жизни не видела Гэтсби, была целиком и полностью счастлива с мужем и никаких шалостей на стороне себе не позволяла. Кэтрин убедила себя в этом и так рыдала в носовой платок, точно любое предположение противного толка превышает меру того, что она способна вынести. И Уилсона объявили – для простоты картины – «помешавшимся от горя». Тем дело и кончилось.

Мне все это представлялось лишним и несущественным. Я оказался на стороне Гэтсби, но только я один. С того мгновения, как я позвонил в деревню Вест-Эгг и сообщил о катастрофе, со всеми предположениями на его счет и со всеми практическими вопросами люди обращались ко мне. Поначалу это удивляло меня и сбивало с толку, но час проходил за часом, Гэтсби лежал в своем доме, бездвижный, бездыханный и безмолвный, и понемногу я начинал понимать, что отвечаю за все, поскольку никто больше интереса к нему не проявляет – я подразумеваю тот напряженный личный интерес, на который каждый из нас имеет, когда приходит конец, невнятное право.

Через полчаса после того, как мы нашли его тело, я позвонил Дэйзи – инстинктивно и без колебаний. Однако она и Том уехали сразу после полудня и багаж с собой прихватили.

– Адреса не оставили?

– Нет.

– А когда вернутся, сказали?

– Нет.

– Какие-нибудь предположения о том, где они, у вас имеются? Как мне с ними связаться?

– Не знаю. Я не могу больше говорить.

Я хотел, чтобы хоть кто-то пришел к нему. Хотел войти в комнату, где он лежал, и успокоить его: «Я вам кого-нибудь добуду, Гэтсби. Не тревожьтесь. Доверьтесь мне, и я кого-нибудь приведу...»

Имя Мейера Вольфшайма в телефонном справочнике отсутствовало. Дворецкий назвал мне адрес его бродвейского офиса, я позвонил в справочную, однако, когда я получил номер телефона, было уже много больше пяти и трубку там никто не брал.

– Позвоните еще раз, – попросил я телефонную барышню.

– Я уже три раза звонила.

– Это очень важно.

– Простите, но, по-моему, там никого нет.

Я вернулся в гостиную и на миг принял столпившихся там государственных служащих за случайных посетителей дома. Однако, когда они откинули простыню и наставили на Гэтсби неподвижные взгляды, в голове моей вновь зазвучал его протестующий голос:

– Послушайте, старина, приведите ко мне кого-нибудь. Уж постарайтесь. Одному мне с этим не справиться.

Кто-то начал задавать мне вопросы, я отделался от него и, поднявшись наверх, стал торопливо рыться в незапертых ящиках письменного стола Гэтсби – он же не говорил мне, что его родители умерли. Однако ничего я там не нашел, только фотография Дэна Коди, символ давно забытых бурных дней, взирала на меня со стены.

На следующее утро я отправил дворецкого в Нью-Йорк с письмом к Вольфшайму с просьбой предоставить необходимые мне сведения и настоятельную просьбу приехать первым же поездом. Последняя казалась мне излишней, пока я писал письмо: я не сомневался, что он помчит на вокзал, едва увидев газеты, как не сомневался и в том, что еще до полудня получу телеграмму от Дэйзи, – однако ни телеграмма, ни мистер Вольфшайм не появились, не появился никто, кроме все тех же полицейских, фотографов и газетчиков. А когда дворецкий вернулся с ответом Вольфшайма, я почувствовал прилив неприязни, презрительной солидарности с Гэтсби, – мы, двое, стояли одни против всех.

«Дорогой мистер Каррауэй! Я испытал самое сильное в жизни моей потрясение, едва смог поверить, что это и вправду случилось. Такой безумный поступок способен заставить призадуматься любого из нас. Я не смогу приехать сейчас, поскольку связан по рукам и ногам одним очень важным делом, да и вмешиваться в эту историю мне не хочется. Если несколько позже Вам потребуется от меня какая-то помощь, дайте мне знать об этом письмом, переданным через Эдгара. Услышав о случившемся, я перестал понимать, на каком я свете, весть эта попросту ошеломила меня, сбила с ног.

*Искренне Ваш,
МЕЙЕР ВОЛЬФШАЙМ»*

А ниже – торопливая приписка:

«Сообщите мне о похоронах и так далее, про его родных мне совсем ничего не известно».

Когда после полудня зазвонил телефон, я, услышав, что меня вызывает Чикаго, подумал: ну вот, наконец, и Дэйзи. Однако в трубке прозвучал мужской голос, тонкий и далекий:

– Это Слэгл...

– Да?

Имя было мне незнакомо.

– Черт знает что, верно? Ты получил мою телеграмму?

– Никаких телеграмм я не получал.

– Молодой Парки попух, – затараторил он. – Взял при передаче облигаций. Они всего за пять минут до этого циркуляр из Нью-Йорка получили, там все номера были указаны. Представляешь, а? В нашем захолустье ни черта заранее не угадаешь...

– Алло! – прервал я его, перейдя на шепот. – Послушайте, это не мистер Гэтсби. Мистер Гэтсби мертв.

Долгая пауза, восклицание... резкий клетот, и связь прервалась.

Помнится, подписанная Генри К. Гэтцем телеграмма из Миннесоты пришла на третий день. В ней значилось только, что пославший ее немедленно выезжает и просит отложить похороны до его появления.

Это был отец Гэтсби, печальный старик, совершенно беспомощный, смятенный, прятавшийся под длинным дешевым пальто от теплого сентябрьского дня. Глаза его слезились от

волнения, и когда я отобрал у него саквояж и зонт, он принялся подергивать себя за реденькую седую бородку так часто, что избавить его от пальто оказалось делом непростым. Опасаясь, что он того и гляди свалится с ног, я отвел его в музыкальную гостиную, усадил и попросил слугу принести для него какой-нибудь еды. Однако есть старик не стал, а молоко, стакан с которым он взял трясущейся рукой, расплескал.

– Я узнал обо всем из чикагской газеты, – сказал он. – Там все было. И сразу поехал.

– А я не знал, как вас найти.

Глаза его, ничего толком не видевшие, безостановочно обшаривали гостиную.

– Это дело рук сумасшедшего, – сказал старик. – Он наверняка был сумасшедшим.

– Не хотите немного кофе? – спросил я.

– Ничего не хочу. Я уже пришел в себя, мистер...

– Каррауэй.

– Да, со мной все в порядке. Куда увезли Джимми?

Я отвел старика в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Какие-то мальчишки, поднявшись на террасу, заглядывали в вестибюль, я сказал им, кто приехал, и они неохотно удалились.

Спустя некоторое время приотворилась дверь, и из нее вышел мистер Гэтц – приоткрытый рот, чуть покрасневшее лицо, из глаз капают беспорядочные, редкие слезы. В его годы смерть уже не кажется страшной неожиданностью, и когда он, оглядевшись вокруг, впервые увидел высоту и пышность вестибюля и огромные комнаты, уходящие от него к другим таким же, к горю старика начала примешиваться благоговейная гордость. Я помог ему подняться в спальню наверху и, пока он избавлялся от пиджака и жилета, объяснил, что все приготовления были отложены до его приезда.

– Я не знаю, чего вам хотелось бы, мистер Гэтсби...

– Я не Гэтсби, я Гэтц.

– ...мистер Гэтц. Я думал, может быть, вы пожелаете увезти тело на Запад.

Он покачал головой.

– Восток всегда нравился Джимми сильнее. Он и добился-то всего на Востоке. Вы дружили с моим мальчиком, мистер...?

– Да, мы были близкими друзьями.

– Знаете, его ожидало большое будущее. Совсем молодой, а вот тут у него много чего было.

Он важно прикоснулся ко лбу, я кивнул.

– Остался бы жив, стал бы великим человеком. Вроде Джеймса Дж. Хилла. Из тех, что строят нашу страну.

– Это верно, – согласился я, ощущая некоторую неловкость.

Он повозился с расшитым покрывалом, пытаясь стянуть его с кровати, неуклюже прилег – и мгновенно заснул.

В ту ночь мне позвонил явно чем-то напуганный мужчина, пожелавший, прежде чем назваться, узнать, кто я такой.

– Мистер Каррауэй, – сказал я.

– О... – В голосе его послышалось облегчение. – А я Клипспрингер.

Облегчение испытал и я – похоже, Гэтсби будет теперь провожать к могиле еще один человек. Я не хотел помещать в газетах объявление о похоронах, собирать толпу любопытных, и потому позвонил лишь нескольким людям. Дозваться каждого из них к телефону оказалось непросто.

– Похороны завтра, – сказал я. – В три часа, здесь, в доме. Скажите о них всем, кому это интересно.

– О, непременно, – торопливо произнес он. – Конечно, я навряд ли кого увижу, но если вдруг увижу, скажу.

Я заподозрил неладное.

– Сами вы, разумеется, будете.

– Ну, постараюсь, конечно. Я вот почему звоню...

– Минуту, – перебил его я. – Почему же не сказать, что вы приедете?

– Ну, дело в том, что... я, по правде сказать, живу сейчас в Гринвиче, у одних знакомых, а они вроде как рассчитывают, что завтрашний день я проведу с ними. В общем, у нас пикник намечается, что-то такое. Конечно, я очень постараюсь выбраться.

Я невольно выпалил: «Ха!» – и он это услышал, по-видимому, так как продолжил уже несколько нервно:

– Я позвонил потому, что оставил в доме пару туфель. Вы не могли бы велеть дворецкому прислать их мне? Понимаете, это теннисные туфли, я без них как без рук. Мой адрес можно получить у Б. Ф...

Фамилию я не услышал, потому что повесил трубку.

А потом я даже обиделся немного за Гэтсби – один из тех, до кого я дозвонился, дал мне понять, что тот получил по заслугам. Ну, тут уж я сам был виноват, поскольку этот джентльмен принадлежал к числу тех, кто, вдоволь напившись вина Гэтсби, насмеялся над ним с особенной злобой, – я мог бы и сообразить, что обращаться к нему не стоит.

В утро перед похоронами я отправился в Нью-Йорк, чтобы увидеться с Мейером Вольфшаймом; никакими иными способами достучаться до него мне не удалось. На двери, которую я толчком открыл по подсказке лифтера, значилось «Холдинговая компания «Свастика», и сначала мне показалось, что в офисе никого нет. Однако после того, как я несколько раз безрезультатно прокричал в пустоту «Эй!», за перегородкой разразился какой-то спор и в конце концов из внутренней двери вышла и окинула меня взглядом враждебных черных глаз милостивая еврейка.

– Здесь никого нет, – сказала она, – мистер Вольфшайм уехал в Чикаго.

Первая часть этого заявления была очевидной ложью, поскольку за дверью кто-то принялся немелодично насвистывать «Розарий».

– Пожалуйста, доложите, что его хочет видеть мистер Каррауэй.

– Я же не могу вернуть его из Чикаго, верно?

Тут голос, несомненно принадлежавший Вольфшайму, позвал из-за двери: «Стелла!»

– Оставьте на столе бумажку с вашим именем, – торопливо произнесла она, – когда вернется, я ему передам.

– Но я же знаю, что он здесь.

Женщина на шаг подступила ко мне и принялась гневно оглаживать ладонями бедра – вниз-вверх.

– Вы, молодые люди, считаете, что можете в любое время врывать, куда вам захочется, – сварливо заявила она. – Сил уже нет никаких. Раз я говорю, что он в Чикаго, значит, он в Чикаго.

Я назвал имя Гэтсби.

– Ох-х! – Она окинула меня еще одним взглядом. – Так вы... как, говорите, вас зовут?

Женщина скрылась за дверью. А миг спустя на пороге ее показался и протянул ко мне обе руки торжественный Мейер Вольфшайм. Он провел меня в свой офис, отметив исполненным благоговейного сокрушения тоном, что времена для всех нас настали печальные, предложил мне сигару.

– Помню, как я познакомился с ним, – сказал он. – Молодой майор, только что из армии, весь в орденах. Бедный до того, что ему приходилось носить мундир, обычный костюм купить было не на что. Впервые я увидел его, когда он пришел, ища работу, в бильярдную Вайнбрэн-

нера на Сорок третьей. К тому времени у него дня два уже и крошки во рту не было. «Присядьте, позавтракайте со мной», – сказал я. Ну и он за полчаса уплел на четыре доллара еды.

– И вы помогли ему начать бизнес? – спросил я.

– Помог! Да я, что называется, сделал его.

– О!

– Он был никем, я его, можно сказать, из канавы вытащил. Он мне сразу понравился – приятной внешности молодой человек с манерами джентльмена, ну а когда он сказал, что учился в Оксфорде, я понял: мне от него одна только польза будет. Устроил его в Американский легион, он там мигом в гору пошел. Сразу же провернул одно дельце для моего клиента из Олбани. Мы с ним во всем были неразлейвода, вот так. – Вольфшайм поднял два пухлых пальца.

Я погадал, распространилось ли их партнерство и на проделанный в 1919-м фокус с Мировой серией.

– Теперь он мертв, – помолчав, сказал я. – Вы были ближайшим его другом, и потому я не сомневаюсь, что вы приедете сегодня после полудня на его похороны.

– Хотелось бы.

– Так приезжайте.

Волоски в его ноздрях чуть дрогнули, а глаза, когда он покачал головой, наполнились слезами.

– Не могу... я не могу впутываться в такую историю, – сказал он.

– Да ведь тут и впутываться не во что. Все кончено.

– Когда убивают человека, я не могу позволить себе оказаться хоть как-то причастным к этому. В моей молодости все было иначе, – если умирал, не важно как, мой друг, я оставался с ним до конца. Вам это может показаться сентиментальным, но так и было – до самого горестного конца.

Поняв, что по какой-то вedomой только ему причине он решил на похоронах не появляться, я встал.

– А вы тоже колледж закончили? – вдруг спросил он.

Я решил было, что он вознамерился предложить мне «гонтагты», однако Вольфшайм лишь покивал и пожал мою руку.

– Давайте научимся показывать людям нашу дружбу, пока они живы, а не после их смерти, – предложил он. – Это одно мое правило, а другое – не лезть не в свое дело.

Выйдя из офиса Вольфшайма, я увидел, что небо потемнело, а когда вернулся на Вест-Эгг, уже моросил дождь. Переодевшись, я пошел в соседний дом и застал там мистера Гэтца, взволнованно расхаживавшего по вестибюлю. Его гордость за сына, за богатство сына все возрастала, и теперь ему хотелось кое-что мне показать.

– Эту карточку прислал мне Джимми, – сказал он, копаясь дрожащими пальцами в бумажнике. – Взгляните.

Я увидел фотографию особняка Гэтсби – с трещинками по углам, запачканную прикосновениями множества пальцев. Мистер Гэтц усердно указывал мне одну деталь за другой. «Вот сюда посмотрите!» – и заглядывал мне в глаза, ожидая увидеть в них восхищение. Старик так часто демонстрировал эту фотографию разным людям, что, думаю, она стала для него более реальной, чем сам особняк.

– Это мне Джимми прислал. Очень хорошая карточка, по-моему. Смотреть приятно.

– Да, очень. А вы давно виделись с Джимми?

– Он приезжал повидаться со мной года два назад, купил мне дом, в котором я нынче живу. Конечно, когда он сбежал из дома, мы разругались, но теперь-то я понимаю, у него были на это причины. Он знал, что его ждет большое будущее. И был со мной очень щедр – с тех пор, как добился успеха.

Видимо, ему не хотелось возвращать фотографию в бумажник – он еще с минуту держал ее перед моими глазами. Но все же вернул и тут же вытащил из кармана старую потрепанную книжку под названием «Хопалонг Кэссиди»¹⁹.

– Вот, посмотрите, он читал эту книгу еще мальчиком. Сейчас вы все поймете.

Он отпахнул заднюю обложку, перевернул книгу, чтобы я мог прочесть написанное на форзаце. Там было отпечатано: РАСПОРЯДОК ДНЯ, под ним дата – 12 сентября 1906. А еще ниже:

Подъем 6.00 утра.

Упражнения с гантелями, перелезание через забор 6.15–6.30.

Изучение электричества и др. 7.15–8.15.

Работа 8.30–4.30 вечера.

Бейсбол и др. спорт 4.30–5.00.

Упражнения в красноречии, осанка и как ее приобрести 5.00–6.00.

Обдумывать, какие изобретения нужно сделать 7.00–9.00.

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

Не тратить время на Шефтерса или [имя, неразборчиво].

Больше не курить и не жевать резинку.

Мыться каждый день.

Прочитывать одну развивающую книгу или журнал в неделю.

Откладывать 5 долларов [перечеркнуто] 3 доллара в неделю.

Лучше относиться к родителям.

– Я на эту книгу случайно напал, – сказал старик. – Она многое объясняет, верно?

– Многое.

– Джимми просто не мог не добиться успеха. То такое решение примет, то эдакое, и так все время. Вы заметили, что он про развивающую книгу написал? В этом он разобрался. Однажды сказал мне, что я журу как свинья, так я его поколотил.

И книжку закрывать ему тоже не хотелось. Он прочитал все записи вслух, значительно поглядывая на меня. По-моему, он почти ожидал, что я перепишу их для собственного употребления.

Незадолго до трех из Флашинга приехал лютеранский священник, и я начал невольно поглядывать в окно, надеясь увидеть и другие машины. То же и отец Гэтсби. Но время тянулось, пришли и в ожидании выстроились вдоль стены вестибюля слуги, и старик начал беспокойно помаргивать, говорить что-то невнятное и тревожное насчет дождя. Священник несколько раз посмотрел на часы, я отвел его в сторону, попросил подождать еще полчаса. Без толку. Никто не приехал.

Около пяти наша состоявшая из трех машин вереница достигла кладбища и остановилась под густой моросью у ворот – впереди катафалк, до ужаса черный и мокрый, за ним лимузин, в котором сидели мистер Гэтц, священник и я, а за нами немного отставший моторный фургон Гэтсби с четырьмя-пятью слугами и почтальоном Вест-Эгг – все промокшие до нитки. Когда мы проходили в ворота, я услышал, как затормозила еще одна машина, и кто-то зашлепал, нагоняя нас, по раскисшей земле. Я оглянулся. То был мужчина в совиных очках – тот, что три месяца назад дивился в библиотеке Гэтсби на книги.

С той ночи я его ни разу не видел. Не знаю, откуда ему стало известно о похоронах, даже имени его не знаю. Струи дождя стекали по толстым стеклам его очков, и он снял их и протер,

¹⁹ Хопалонг Кэссиди – выдуманный ковбой, герой рассказов и романов американского писателя Кларенса Малфорда (1883–1956); первый рассказ опубликован в 1904 г.

чтобы посмотреть, как из вырытой для Гэтсби могилы вытаскивают и скатывают защищавший ее от воды брезент.

Я попытался думать о Гэтсби, однако он ушел уже слишком далеко, и я вспомнил только, без негодования впрочем, что Дэйзи не прислала ни телеграммы, ни цветов. До ушей моих донеслось невнятное бормотание, что-то вроде: «Блаженны мертвые, на коих падает дождь», а затем Совиноглазый произнес молодецким голосом: «Воистину так!»

Мы торопливо пошли под дождем к машинам. В воротах он заговорил со мной:

– Прямо к дому я не поспел.

– И никто не поспел.

– Да что вы, – испугался он. – О Господи, как же так? Они же к нему сотнями приезжали!

Он снял очки, снова протер стекла снаружи и изнутри и сказал:

– Несчастный сукин сын!

Определенная часть самых живых моих воспоминаний связана с предрождественскими возвращениями на Запад из частной школы, а позже – из университета. Те, кому предстояло ехать дальше Чикаго, сходились в шесть часов декабрьского вечера на тусклом, старом вокзале Юнион-Стейшн, чтобы торопливо попрощаться с несколькими чикагскими друзьями, уносимыми потоком каникулярного веселья. Помню шубки девушек, возвращавшихся домой из пансиона мисс Такой или Этакой, их щебет, парок изо ртов, поднятые над головами ладони, которыми мы помахивали, увидев давних знакомых, помню взаимные приглашения: «Ты к Ордуэям заглянешь? А к Херси? А к Шульцам?» – и длинные зеленые билеты, крепко сжимаемые руками в перчатках. И помню, наконец, стоявшие у перрона мрачно-желтые вагоны железной дороги «Чикаго, Милуоки и Сент-Пол», казавшиеся такими же веселыми, как само Рождество.

Когда паровоз вытягивал нас в зимнюю ночь, и настоящий снег, наш снег, распростирался вокруг, мерцающая за окнами, и тусклые огни маленьких висконсинских станций проносились за ними, воздух внезапно становился резким, девственным, крепким. Возвращаясь из вагона-ресторана, мы в каждом холодном тамбуре вдыхали этот воздух полной грудью, без всяких слов сознавая наше единство со страной – всего на один странный час, а когда он закончится, мы снова растворимся в ней без следа.

Таков мой Средний Запад – не хлеба, не прерии, не затерянные в них шведские городки, но подрагивающие возвратные поезда моей юности, и уличные фонари, и санные колокольчики в морозном мраке, и тени венков из ветвей остролиста, бросающиеся люющим из окон светом на снег. Я – неотъемлемая часть всего этого, немного высокопарная оттого, что память моя хранит те долгие зимы, немного самодовольная потому, что вырос я в доме Каррауэев, в городе, чьи здания многие десятилетия носили имена их владельцев, да носят и сейчас. Я понимаю теперь, что рассказал, в конечном счете, историю Запада: Том и Гэтсби, Дэйзи, Джордан и я – все мы родом оттуда и все, быть может, обладаем одним общим изъяном, который мешает нам с головой уйти в жизнь Востока.

Даже в мгновения, когда Восток волновал меня пуще всего, когда я с особой силой ощущал его превосходство над скукающими, раскидистыми, расплзшимися городами, что стоят по ту сторону Огайо и зудят от бесконечных пересудов, шадящих только детей да глубоких стариков, – даже тогда я чувствовал в нем нечто извращенное, перекошенное. Особенно в Вест-Эгг, которое и поныне появляется в самых фантастических моих снах. В них оно походит на ночную сцену Эль Греко: сотни домов, одновременно и привычных, и гротесковых, припавших к земле под вздувшимся, низко нависшим небом и тусклой луной. На переднем плане четверо мужчин во фраках идут по тротуару с носилками, на которых лежит пьяная женщина в белом вечернем платье. Свисающая с носилок рука ее болтается, холодно поблескивая драгоценными камнями. Мужчины производят степенный разворот и входят в дом – не в тот, какой нужен. Впрочем, имени женщины ни один из них не знает, да оно им и не интересно.

Таким начал являться мне после смерти Гэтсби Восток – перекошенным до того, что как ни напрягал я глаза, а выправить его не мог. И когда воздух наполнился голубоватым дымком ломких листьев и ветер начал срывать с веревок зябнувшее после стирки белье, я решил вернуться домой.

Однако перед отъездом мне надлежало закончить одно неловкое, неприятное дело. Возможно, правильное было бы с ним не связываться, но мне хотелось уехать, все приведя в порядок, не оставить на берегу никакого сора, пусть даже я был уверен, что услужливое, равнодушное море быстро смоет его. И я встретился с Джордан Бейкер, и рассказал ей, что думаю о случившемся с нами и о том, что случилось со мной после, и она выслушала меня, неподвижно покоясь в большом кресле.

Джордан была одета для гольфа, и, помню, я подумал, что она походит на хорошую иллюстрацию к какому-то рассказу, – чуть приподнятый, не без франтовства, подбородок, волосы цвета осенней листвы, лицо такого же смуглого тона, как митенка на лежавшей поверх колена руке. Когда я закончил, Джордан, не снизойдя до комментариев, сказала мне, что помолвлена. Я не поверил ей – хоть и знал о существовании нескольких мужчин, за каждого из которых она могла выйти, просто кивнув ему, – однако притворился удивленным. С минуту, не больше, я гадал, не совершаю ли ошибку, но затем быстро обдумал все еще раз и встал, собираясь проститься.

– Так или иначе, но ты бросил меня, – вдруг сказала Джордан. – Тогда, по телефону. Сейчас мне на тебя наплевать, но тогда это было чем-то новеньким для меня и на недолгое время выбило из седла.

Мы пожали друг другу руки.

– Да, а помнишь наш давний разговор о водителях? – прибавила она.

– Смутно – а что?

– Ты сказал тогда, что плохому водителю ничто не грозит только до встречи с другим таким же. Ну вот я и встретила другого плохого водителя, так? Я о том, что была слишком неосторожна и оттого сильно ошиблась в моих предположениях. Я считала тебя человеком честным, прямым. Думала, что ты втайне гордишься этим.

– Мне тридцать, – ответил я. – Я уж пять лет как вышел из возраста, в котором человек врёт себе и зовет это честностью.

Она не ответила. Рассерженный, все еще наполовину влюбленный в нее, полный огромных сожалений, я ушел.

Как-то в конце октября я увидел на улице Тома Бьюкенена. Он вышагивал впереди меня по Пятой авеню с обычной его настороженной агрессивностью – руки слегка разведены в стороны, словно в готовности сбить с ног любого, кто встанет на его пути, голова резко поворачивается то вправо, то влево, едва поспевая за беспокойными глазами. Я замедлил шаг, не желая его нагонять, но тут он остановился, чтобы окинуть мрачным взглядом витрину ювелирного магазина. И вдруг заметил меня и пошел мне навстречу, протягивая руку.

– В чем дело, Ник? Ты не хочешь пожать мою руку?

– Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.

– Ты спятил, Ник, – быстро сказал он. – Спятил ко всем чертям. Не понимаю, что на тебя нашло.

– Что ты сказал в тот день Уилсону, Том? – спросил я.

Он молча уставился на меня, и я понял, что правильно догадался, куда пропал тогда на три часа Уилсон. Я повернулся, намереваясь уйти, но Том шагнул за мной следом и схватил меня за плечо.

– Я сказал ему правду, – начал он. – Уилсон пришел к двери моего дома, когда мы еще готовились к отъезду, я послал вниз слугу, сказать, что нас нет, и тогда он ворвался в дом и силой пробился наверх. Он обезумел настолько, что мог убить меня, если бы я не сказал,

чья это была машина. Все время, какое он провел в моем доме, его рука сжимала в кармане револьвер... – Том помолчал, с вызовом глядя на меня. – Ну, сказал я ему, ну и что? Этот малый все равно кончил бы плохо. Он пускал пыль в глаза – сначала тебе, потом Дэйзи, – а на деле-то был бандит бандитом. Переехал Мертл, как собаку, и даже не притормозил.

Я мог сказать ему только одно: ты заблуждаешься, но это было непозволительно.

– И если ты думаешь, что я жил припеваючи... знаешь, когда я приехал в ту квартиру, чтобы отказаться от нее, и увидел на буфете чертову коробку собачьих галет, я сел и зарыдал, как ребенок. Господи, какой это был ужас...

Я не мог ни простить его, ни одобрить, но понимал, что сделанное им было, на его взгляд, полностью оправданным. Бездумность и беззаботность – все беды от них. Они были людьми беззаботными, Том и Дэйзи, они разбивали вдребезги вещи и жизни, а затем возвращались в свой мир денег или безбрежной беззаботности – не знаю уж, что удерживало их рядом друг с дружкой, – предоставляя другим разгребать оставленную ими грязь...

Я пожал ему руку, да и глупо было не пожать, потому что мне показалось вдруг, что я разговариваю с ребенком. И он зашел в ювелирный магазин купить низку жемчуга – а может, всего лишь пару запонок, – навсегда избавившись от моей провинциальной привередливости.

Когда я уезжал, дом Гэтсби еще стоял пустым – трава на его лужайке уже сравнялась высотой с моей. Один из таксистов нашей деревни ни разу не проехал мимо ворот дома без того, чтобы не остановиться на минуту и указать на него своему пассажиру; возможно, это он в ночь, когда случилось несчастье, отвозил Дэйзи и Гэтсби на Ист-Эгг и, возможно, получал теперь удовольствие, рассказывая об этом. Мне его рассказы слушать не хотелось, и, сходя с поезда, я никогда в его машину не садился.

Субботние ночи я проводил в Нью-Йорке, поскольку блестящие, ослепительные приемы Гэтсби оставались в моей памяти такими живыми, что я по-прежнему слышал негромкую музыку и непрестанный смех, доносившиеся из его парка, по-прежнему видел снующие по подъездной дорожке машины. А в одну ночь услышал и машину вполне материальную, увидел, как ее огни замерли у парадных ступеней дома. Но выяснять, что там к чему, не стал. Скорее всего, приезжал некий запоздалый гость, проведший какое-то время на другом конце земли и не знавший, что веселье закончилось.

В последнюю ночь – чемодан мой был уложен, машина продана хозяину бакалейной лавки – я пошел к дому, чтобы еще раз взглянуть на этого огромного, несуразного неудачника. Какой-то мальчишка куском кирпича нацарапал на белой ступени похабное слово, ставшее особенно отчетливым под светом луны, и я подошвой соскреб его с камня. А потом вышел на пляж и присел на песке.

Огромные береговые дома были уже по большей части закрыты, огни почти нигде не горели, только призрачно светившийся паром медленно шел по Проливу. Луна поднималась все выше, лишившиеся смысла дома таяли в ее свете, и постепенно я начинал понимать, как когда-то расцвел этот старый остров под взглядами голландских моряков, став для них свежей, зеленой грудью нового мира. Исчезнувшие деревья его, деревья, уступившие место дому Гэтсби, когда-то шепотком потакали последнему и величайшему из всех человеческих мечтаний; и на преходящий, зачарованный миг человек, наверное, затаил перед ликом нового континента дыхание, приневоленный к эстетическому созерцанию, коего он и не жаждал, и не понимал, последний раз в истории столкнувшись лицом к лицу с чем-то, соразмерным его способности удивляться.

И сидя там, размышляя о давнем, неведомом мире, я вдруг представил себе, как поразила Гэтсби, впервые увидев зеленый огонек, горевший на краю причала Дэйзи. Долгий путь прошел он, чтобы попасть на свою голубую лужайку, и мечта его, надо думать, казалась ему такой близкой, что потерпеть неудачу в попытке ухватить ее было попросту невозможно. Он не

знал, что она уже осталась у него за спиной, где-то там, в лежащей за Нью-Йорком бескрайней тьме, среди раскинувшихся в ночи полей Америки.

Гэтсби верил в зеленый огонек, в оргастическое будущее, что год за годом отступает от нас. Да, оно не дается нам в руки, но это не важно – завтра мы и побежим быстрее, и руки протянем дальше... И в одно прекрасное утро...

Так мы и бьемся, лодки, идущие против течения, и оно неустанно относит нас в прошлое.

Ночь нежна

ДЖЕРАЛЬДУ и САРЕ
Многих fêtes²⁰

И вот уже мы рядом. Ночь нежна...
...А здесь твоя страна
И тот лишь свет, что в силах просочиться
Сквозь ставни леса и засовы сна.

Джон Китс. Ода соловью²¹

²⁰ Праздников (фр.). — Здесь и далее примечания переводчика.

²¹ Перевод А. Грибанова.

Часть первая

I

На приятнейшем берегу Французской Ривьеры, примерно посередине пути от Марселя до итальянской границы, стоит большой, горделивый, розоватых тонов отель. Почтительные пальмы селятся остудить его румяный фасад, короткая полоска слепящего пляжа лежит перед ним. В последние годы он обратился в летнее прибежище людей известных и фешенебельных; но десять лет назад почти совершенно пустел после того, как в апреле его английская клиентура отбывала на север. Ныне вокруг него в изобилии теснятся летние домики, однако в пору, на которую приходится начало нашего рассказа, крыши всего лишь дюжины старых вилл дотлевали, точно кувшинки в пруду, посреди густого соснового леса, что тянулся от этого принадлежавшего семейству Госс «*Hôtel des Étrangers*»²² до отделенных от него пятью милями Канн.

Отель и рыжеватый молевой коврик его пляжа составляли единое целое. Ранними утрами в воде отражались далекие Канны, их розовые и кремовые старинные укрепления, лиловые, ограждающие Италию Альпы, все они подрагивали на морской глади, колеблемые зыбью и кругами, которые расходились от достававших до нее усиков водорослей, покрывавших чистые отмели. Незадолго до восьми на пляж спускался мужчина в синем купальном халате; приготовляясь к купанию, он долго оплескивал себя холодной водой, громко пыхтел и крикал, а затем с минуту барахтался в море. После его ухода на пляже царил в течение часа покой. Вдоль горизонта ползли уходившие на запад торговые суда; во дворе отеля перекликались судомойки; на соснах подсыхала роса. А по прошествии этого часа на извилистой дороге, что тянется вдоль именуемой Маврскими горами гряды невысоких холмов, отделяющих побережье от собственно Прованса, начинали гудеть клаксоны автомобилей.

В миле от моря, там, где сосны сменяются запыленными тополями, одиноко стояла железнодорожная станция, – от нее июньским утром 1925 года открытая двухместная машина повезла к отелю Госса двух женщин, мать и дочь. Лицо матери, еще сохранявшее следы молодости, коим предстояло в скором времени скрыться под сеткой полопавшихся сосудиков, выражало спокойствие и приятную уверенность в себе. Однако взгляд каждого, кто их видел, мгновенно обращался к дочери, в чьих розовых ладонях, в щеках, словно подсвеченных восхитительным внутренним пламенем, красневших, как у ребенка после холодной вечерней ванны, присутствовала несомненная магия. Ее изящное чело отлого поднималось туда, где взметались волнами, завитками и ниспадавшими на него прядями пепельно-светлые и золотистые волосы, окаймлявшие лоб, как намет окаймляет геральдический щит. Большие, яркие, чистые, влажно сияющие глаза; щеки, озаренные натуральным румянцем, – это светились под кожей кровь, которую разгонял по ее жилам мощный мотор молодого сердца. Тело девушки нежно медлило на самом краешке детства – ей было почти восемнадцать, утро ее жизни подходило к концу, но роса еще покрывала ее.

Когда внизу под ними показалась жаркая граница неба и моря, мать сказала:

– Чует мое сердце, не понравится мне здесь.

– А мне и так уж домой хочется, – ответила девушка.

Говорили они весело, но явно не знали, в какую сторону им податься, и незнание это уже наскучило обеим – к тому же двигаться абь куда, этого им было мало. Обе жаждали восторженного волнения, и жажда эта порождалась не столько необходимостью подстегнуть утомленные нервы, сколько ненасытностью заслуживших каникулы первых в школе учеников.

²² Отель для иностранцев (фр.).

– Поживем там три дня – и домой. Я первым делом закажу по телеграфу каюту на пароходе.

С гостиничным портье разговаривала, снимая для них номер, девушка, – французская речь ее была пересыпана присловьями, но несколько заторможена, как будто девушке приходилось их припоминать. Номер они получили на первом этаже, и, распаковав вещи, она выступила сквозь французское окно под слепящий свет дня и немного прошлась по тянувшейся вдоль всего отеля каменной террасе. Походка у нее была балетная, торс не оседал при каждом шаге на бедра, но словно тянулся вверх, отталкиваясь от распрямленной поясицы. Здесь, на террасе, Розмари облило горячее сияние, бросившее ей под ноги четкую, усеченную тень, и девушка отступила назад – свет слишком резал глаза. В пятидесяти ярдах от нее жестокий блеск солнца отнимал у Средиземного моря одну краску за другой; под балюстрадой допекался на подъездной дорожке отеля полинявший «бьюик».

Вокруг было пусто, какое-то оживление замечалось только на пляже. Троица британских нянюшек вязала, украшая носки и свитера узорами викторианской Англии, узорами сороковых, шестидесятых, восьмидесятых годов, и сопровождая это занятие аккомпанементом следующих, словно магические заклинания, строгим правилам сплетен; ближе к воде обосновалось под полосатыми зонтиками человек десять, а дети их гонялись по отмелям за безбоязненной рыбой или лежали нагишом, поблескивая под солнцем умашенной кокосовым маслом кожей.

Когда Розмари вышла на пляж, мимо нее пронесся и с восторженным воплем ворвался в море мальчик лет двенадцати. Чувствуя, как ее кожу покалывает от изучающих взглядов незнакомых людей, она сбросила купальный халат и последовала примеру мальчика. Проплыв лицом вниз несколько ярдов, она оказалась на отмели, и встала, покачиваясь, и побрела вперед, подволакивая стройные ноги, словно отяжелевшие от сопротивления воды. Зайдя в нее почти по грудь, Розмари оглянулась на пляж: лысый, одетый в купальное трико мужчина с моноклем в глазу, пучками длинных волос на груди и нагло лезущим в глаза глубоким пупком, не сводил с нее изучающего взгляда. Розмари перехватила его, и мужчина выронил из глазницы монокль, вмиг затерявшийся среди украшавших его грудь замысловатых усов, и налил себе стаканчик чего-то из бутылки, которую держал в руке.

Розмари снова легла ничком на воду и отрывистым кролем поплыла к плоту для купальщиков. Вода и выталкивала ее, и нежно тянула вниз, подальше от зноя, обтекая волосы, забегая в укромные уголки тела. Розмари кружилась в ней и кружилась, переворачиваясь с боку на бок, обнимая ее, нежась в ней. До плота она добралась запыхавшейся, и там загорелая женщина с белейшими зубами окинула ее взглядом, и Розмари, устыдившись вдруг белизны своего тела, повернулась на спину и неторопливо направилась к берегу. Когда она вышла из воды, волосатый мужчина с бутылкой в руке заговорил с ней.

– А знаете – там за плотом акулы водятся, – национальности он был неопределенной, но по-английски говорил с неторопливой оксфордской протяжностью. – Вчера они сожрали двух английских моряков стоящего в Гольф-Жуане *flotte*²³.

– Боже мой! – воскликнула Розмари.

– Они всегда за *flotte* ходят, питаются отбросами.

И остеклянив глаза, дабы показать, что заговорил он с ней лишь из желания предупредить ее, мужчина отступил на два семенящих шага и налил в стаканчик новую порцию выпивки.

Не без приятности смущенная, поскольку во время этого разговора внимание всех, кто сидел на пляже, вновь обратилось к ней, Розмари огляделась в поисках места, где она могла бы присесть. Понятно было, что каждое семейство безраздельно владело полоской песка, лежавшей непосредственно перед его зонтом; кроме того, люди то и дело переходили от зонта к зонту, переговаривались со знакомыми, и отходили, – словом, пляжем правил дух общности и

²³ Флот, соединение военных кораблей (*фр.*).

попытка присоединиться к ней отдавала бы бесцеремонностью. Несколько дальше, где песок был усеян галькой и пучками сухих водорослей, расположилась компания с такой же белой, как у Розмари, кожей. Члены ее лежали не под пляжными зонтиками, а под ручными парасолями, вообще ясно было, что они – не из здешних аборигенов. В конце концов Розмари выбрала себе место в пространстве, разделявшем людей смуглых и белокожих и расстелила на песке свой халат.

Лежа на нем, она сначала слышала голоса, потом чьи-то шаги огибали ее, чьи-то тела заслоняли от солнца. Один раз шею Розмари овевало теплое, запышливое дыхание любопытного пса; она чувствовала, как ее кожа понемногу пропекается солнцем, и вслушивалась в тихое, усталое «фа-фаа» испускавших дух волн. Потом ее ухо стало различать отдельные голоса, и она услышала, как кто-то с презрением рассказывает об «этом Норте», прошлой ночью похитившем из кафе в Каннах гарсона, чтобы распилить его надвое. Рассказ был обращен к беловолосой женщине в вечернем платье, очевидном реликте вчерашнего вечера, ибо на голове женщины еще сидела диадема, а на плече угасала разочаровавшаяся в жизни орхидея. Розмари, ощутив неясную неприязнь и к женщине, и к ее компании, отвернулась.

По другую от этой компании сторону ближе всех к Розмари лежала под шалашиком из зонтов и составляла некий список, выписывая что-то из раскрытой на песке книги, молодая женщина. Бретельки ее купального костюма были стянуты с плеч, спускавшаяся от нитки матовых жемчужин спина, где красноватая, где оранжево-коричневая, светилась под солнцем. Лицо женщины было и жестким, и миловидным, и несчастливым. Она взглянула Розмари в глаза, но не увидела ее. За нею лежал на песке крупный мужчина в жокейской шапочке и трико в красную полоску; за ним женщина с плота, *эта* ответила на взгляд Розмари и несомненно ее увидела; далее следовал мужчина с длинным лицом и золотистой львиной гривой – голубое трико, непокрытая голова, – он очень серьезно беседовал с молодым человеком в черном купальном костюме, явным латиноамериканцем, разговаривая, оба выкапывали из песка комочки водорослей. Люди эти, подумала Розмари, по большей части приехали сюда из Америки, но что-то отличает их от американцев, с какими она знакомилась в последние месяцы.

Некоторое время спустя она обнаружила, что мужчина в жокейской шапочке угощает свою компанию маленьким, тихим представлением – важно разгуливает с граблями по песку, якобы выковыривая из него гальку, и между тем разыгрывает некую понятную лишь посвященным пародию, удерживая ее невозмутимым выражением лица в зачаточном состоянии. Понемногу он добавлял к ней все более уморительные маленькие подробности, и наконец что-то сказанное им вызвало взрыв хохота. Даже те, кто, подобно Розмари, находился слишком далеко от него, чтобы расслышать хоть слово, наставляли на мужчину антенны внимания, и вскоре молодая женщина в жемчугах осталась единственным на пляже не увлеченным представлением человеком. Возможно, это сдержанность собственницы заставляла ее при каждом залпе смеха еще ниже склоняться над своим списком.

Внезапно прямо над Розмари прозвучал, словно бы с неба, голос обладателя монокла и бутылки:

– Вы потрясающе плаваете.

Она запротестовала.

– Отлично плаваете. Меня зовут Кэмпбелл. Тут одна леди говорит, что видела вас на прошлой неделе в Сорренто, знает, кто вы, и очень хотела бы познакомиться с вами.

Розмари, затаив раздражение, оглянулась и увидела обращенные к ней полные ожидания взгляды людей из незагорелой компании. Неохотно встав, она направилась к ним.

– Миссис Абрамс... миссис Мак-Киско... мистер Мак-Киско... мистер Дамфри...

– Мы знаем, кто вы, – громко сообщила дама в вечернем платье. – Вы Розмари Хойт, я сразу узнала вас в Сорренто и потом еще у портье спросила, и мы думаем, что вы совершенно

дивная, и нам интересно, почему вы не вернулись в Америку, чтобы сняться еще в одном дивном фильме.

Они с преувеличенной предупредительностью раздвинулись, освободив для нее место. Несмотря на ее фамилию, дама, узнавшая Розмари, еврейкой не была. А была она одной из тех пожилых «своих в доску» женщин, которым хорошее пищеварение и невосприимчивость к любым печальным переживаниям позволяют с легкостью осваиваться среди людей нового поколения.

– А еще мы хотели предупредить вас, что в первый день здесь ничего не стоит обгореть, – весело продолжала она, – тем более *ваша* кожа дорогого стоит, но на этом пляже столько дурацких условностей, что мы побоялись к вам подойти.

II

– Мы думали – а вдруг вы тоже в заговоре состоите, – сказала миссис Мак-Киско, напористая, хорошенькая молодая женщина с тусклыми глазками. – Мы же не знаем, кто в нем участвует, а кто нет. Мой муж очень мило поговорил с одним мужчиной, а после выяснилось, что он там из верховодов, не самый главный, но почти.

– Заговор? – переспросила Розмари, не понявшая и половины услышанного. – А что, здесь существует какой-то заговор?

– Дорогая моя, *мы не знаем*, – с судорожным смешком дородной женщины ответила миссис Абрамс. – Мы-то в нем не участвуем. Мы – зрители, галерка.

– Миссис Абрамс – сама по себе заговор, – заметил мистер Дамфри, белобрысый, несколько женственный молодой человек.

Услышав это, мистер Кэмпбелл погрозил ему моноклем и сказал:

– Не будьте таким гадким, Ройал.

Розмари ощущала неудобство, глядя на них, и жалела, что с ней нет матери. Люди эти не нравились ей, особенно по сравнению с теми, кто заинтересовал ее на другом конце пляжа. Непритязательная, но непреклонная светскость матери неизменно помогала им обоим быстро и решительно выходить из нежелательных ситуаций. Розмари же приобрела известность всего полгода назад, и по временам французская чопорность ее ранней юности и демократические повадки Америки как-то перемешивались в ней, сбивая ее с толку, отчего она попадала вот в такие истории.

Мистера Мак-Киско, тощего, рыжего, веснушчатого мужчину лет тридцати, болтовня о «заговоре» нисколько не забавляла. Весь этот разговор он смотрел в море, а теперь, метнув быстрый взгляд в сторону жены, повернулся к Розмари и требовательно осведомился:

– Давно здесь?

– Первый день.

– О.

Решив, по-видимому, что вопрос его полностью переменял тему общего разговора, он поочередно оглядел всех остальных.

– На все лето приехали? – невинно осведомилась миссис Мак-Киско. – Если так, вы сможете увидеть, как развивается заговор.

– Бога ради, Виолетта, найди другую тему! – взорвался ее супруг. – Придумай, бога ради, какую-нибудь новую шуточку!

Миссис Мак-Киско качнулась в сторону миссис Абрамс и громко выдохнула:

– Нервничает.

– Я не нервничаю, – отрезал Мак-Киско. – Не нервничаю, и все тут.

Он рассвирепел, это было видно невооруженным глазом, – буроватая краска разлилась по лицу бедняги, потопив все его выражения в одном: совершеннейшего бессилия. Вдруг осо-

знав, хоть и смутно, свое состояние, он встал и направился к воде. Жена последовала за ним, Розмари, ухватившись за представившуюся возможность, – за нею.

Мистер Мак-Киско набрал полную грудь воздуха, повалился в мелкую воду и принялся колошматить Средиземное море негнушимися руками, что несомненно подразумевало плавание стилем кроль, – впрочем, запасы воздуха в его легких вскоре закончились, и он встал в воде, оглянулся и, судя по его лицу, удивился, что берег еще не скрылся из глаз.

– Никак не научусь дышать. Никогда и не понимал толком, как люди дышат в воде.

Он вопросительно взглянул на Розмари.

– Насколько я знаю, выдыхают воздух в воду, – объяснила она, – а на каждом четвертом гребке поворачивают голову и вдыхают.

– Для меня дыхание – самое сложное. Ну что – плывем к плоту?

На раскачиваемом волнами плоту лежал, растянувшись во весь рост, мужчина с львиной гривой. Когда миссис Мак-Киско, доплыв до плота, протянула к нему руку, край его, качнувшись, сильно ударил ее по плечу, и мужчина встрепенулся и вытянул ее из воды.

– Я испугался, что плот оглушил вас.

Говорил он медленно и смущенно, а лицо его – с высокими скулами индейца, длинной верхней губой, глубоко посаженными, отливавшими темным золотом глазами, – было таким печальным, каких Розмари и не видела никогда. И говорил он уголком рта, словно надеясь, что слова его станут добираться до миссис Мак-Киско неприметным кружным путем. Минуту спустя он перекатился в воду, оттолкнулся от плота, и какое-то время его длинное тело просто лежало на ней, сносимое волнами к берегу.

Розмари и миссис Мак-Киско не сводили с него глаз. Когда инерция толчка исчерпалась, он резко сложился пополам, худые ноги его взвились в воздух, а затем он весь ушел под воду, оставив на ней лишь малое пятнышко пены.

– Хороший пловец, – сказала Розмари.

В ответе миссис Мак-Киско прозвучала удивившая Розмари злоба:

– Хороший пловец, но плохой музыкант, – миссис Мак-Киско повернулась к мужу, который все же сумел после двух неудачных попыток выбраться из воды и, обретя равновесие, попытался принять эффектную позу, которая искупила бы его неудачи, но добился только того, что сильнее раскачал плот. – Я только что сказала про Эйба Норта: хороший человек, но плохой музыкант.

– Да, – неохотно согласился Мак-Киско. Ясно было, что он собственными руками создал мир, в котором обитала его жена, а потом разрешил ей позволять себе в нем кое-какие вольности.

– Мне подавай Антейла²⁴, – миссис Мак-Киско с вызовом взглянула на Розмари. – Антейла и Джойса. Не думаю, что вам случалось часто слышать в Голливуде о людях такого рода, а вот мой муж написал первую в Америке критическую статью об «Улиссе».

– Сигарету бы сейчас, – негромко сказал Мак-Киско. – Ни о чем другом и думать не могу.

– Вот кто понимает человека до тонкостей – ведь правда, Альберт?

Она внезапно примолкла. Женщина с жемчужными бусами присоединилась в воде к двум своим детям, а Эйб Норт, поднырнув под одного из них, поднялся с ним на плечах из воды, как вулканический остров. Ребенок вопил от страха и наслаждения, а женщина смотрела на них, и лицо ее было прелестно спокойным, но лишенным улыбки.

– Это его жена? – спросила Розмари.

– Нет, это миссис Дайвер. Они не в отеле живут.

Глаза миссис Мак-Киско не отрывались от лица женщины, словно фотографируя все. И спустя мгновение она порывисто повернулась к Розмари.

²⁴ Джордж Антейл (1900–1959) – американский пианист и композитор-авангардист.

– Вы раньше бывали за границей?

– Да – училась в парижской школе.

– О! тогда вам, наверное, известно, что если человек хочет получить удовольствие от этой страны, он должен познакомиться с несколькими настоящими французскими семьями. А эти с чем отсюда уедут? – она повела левым плечом в сторону берега. – Цепляются за свою глупую маленькую клику. Мы-то, разумеется, приехали с массой рекомендательных писем и перезнакомились в Париже с самыми лучшими французскими художниками и писателями. Очень было приятно.

– Не сомневаюсь.

– Муж, видите ли, заканчивает свой первый роман.

– Вот как? – произнесла Розмари. Никаких особых мыслей в голове ее не было, она лишь гадала – удалось ли матери заснуть в такую жару.

– Идею он позаимствовал из «Улисса», – продолжала миссис Мак-Киско, – только там все происходит за двадцать четыре часа, а у мужа за сто лет. Он берет старого, пришедшего в упадок французского аристократа и противопоставляет его веку машин...

– Ой, Виолетта, ради бога, не пересказывай ты идею романа каждому встречному, – возмущился Мак-Киско. – Я не хочу, чтобы о ней стали болтать на всех углах до того, как выйдет книга.

Розмари возвратилась на берег, накинула халат на уже немного саднившие плечи и снова прилегла, чтобы погреться на солнышке. Мужчина в жокейской шапочке переходил теперь с бутылкой и несколькими стаканчиками от зонта к зонту; вскоре он и его друзья оживились и, сдвинув зонты, расположились под ними, – как поняла Розмари, кто-то из их компании уезжал, и они в последний раз выпивали с ним на берегу. Дети и те сообразили, что под зонтами идет веселье, и повернулись к ним, – Розмари казалось, что источником его снова стал мужчина в жокейской шапочке.

Полдень царил в небе и в море – даже белая линия стоявших в пяти милях отсюда Канн выплела, обратившись в мираж прохлады и свежести; красный парусник тянул за собой прядку открытого, более темного моря. Казалось, что на всем береговом просторе жизнь теплится только здесь, в отфильтрованном зонтами солнечном свете, только под ними, среди красочных полос и негромких разговоров, и происходит что-то.

Кэмпиион направился к Розмари, но остановился, не дойдя нескольких футов, и она закрыла, притворяясь спящей, глаза, потом приоткрыла немного, взглядела в смутные, расплывчатые колонны, коими были его ноги. Он попытался протиснуться в песочного цвета облако, но облако уплыло в огромное жаркое небо. Розмари заснула по-настоящему.

Проснулась она вся в поту и увидела, что пляж опустел, остался только складывавший последний зонт мужчина в жокейской шапочке. Розмари лежала, помаргивая, и вдруг он, подойдя к ней, сказал:

– Я собирался разбудить вас перед уходом. Слишком обгорать с первого раза – мысль не из лучших.

– Спасибо, – ответила Розмари и посмотрела на свои побагровевшие ноги. – Боже мой!

Она весело засмеялась, приглашая его к разговору, однако Дик Дайвер уже понес тент и сложенный пляжный зонт к ожидавшей его машине, и Розмари вошла, чтобы смыть пот, в воду. Дик вернулся, собрал грабли, лопату, сито и укрыл их в расщелине скалы. Потом окинул пляж взглядом, проверяя, не оставил ли чего.

– Не знаете, сколько сейчас времени? – спросила Розмари.

– Около половины второго.

Оба повернулись к морю.

– Время неплохое, – сказал Дик Дайвер. – Не худшее время дня.

Он посмотрел на нее, и на миг вся она с нетерпеливой готовностью ушла в ярко-синюю вселенную его глаз. Но тут он поднял на плечо последнюю порцию пляжного сора и пошел к машине, а Розмари, выйдя из воды, стряхнула с халата песок и направилась в отель.

III

В зал ресторана они вошли за несколько минут до двух. Над пустыми столами простирался узор тяжелых потолочных балок, по стенам покачивались, следуя движениям сосен за окнами, тени. Двое собиравших грязные тарелки гарсонов громко болтали на итальянском, но с появлением двух женщин умолкли и принесли им уже успевший приостыть дежурный ленч.

– А я на пляже влюбилась, – сказала матери Розмари.

– В кого?

– Сначала в целую компанию очень милых людей. Потом в одного из мужчин.

– Ты разговаривала с ним?

– Совсем немного. Он такой красивый. Рыжеватый. – Розмари алчно набросилась на еду. – Правда, женат – обычная история.

Мать была ее ближайшей подругой и не упускала ни единой возможности дать дочери хороший совет – дело в театральной профессии не такое уж и редкое, однако миссис Элси Спирс отличалась от других матерей тем, что не пыталась отыгаться на дочери за собственные неудачи. Жизнь не наделила ее ни горечью, ни сожалениями, – она дважды удачно вышла замуж и дважды вдовела, и с каждым разом веселый стоицизм ее только креп. Первый ее муж был кавалерийским офицером, второй военным врачом, от обоих остались кое-какие деньги, которые ей хотелось передать Розмари в целости и сохранности. Своей требовательностью к дочери она закалила характер Розмари, требовательностью к себе – во всем, что касалось работы и верности ей, – внушила дочери приверженность идеалам, которые определяли теперь ее самооценку, – на прочий же мир девушка смотрела глазами матери. «Сложным» ребенком Розмари никогда не была, а ныне ее защищали словно бы два доспеха сразу, материнский и свой собственный, – она питала присущее зрелому человеку недоверие ко всему, что банально, поверхностно, пошло. Впрочем, после неожиданного успеха Розмари в кино миссис Спирс начала думать, что пора уже отнять – в духовном смысле – дочь от груди; она скорее обрадовалась бы, чем огорчилась, если бы эти несговорчивые, мешающие привольно дышать, чрезмерно строгие представления об идеальном Розмари применила к чему-то еще, не только к самой себе.

– Так тебе здесь нравится? – спросила она.

– Неплохо было бы познакомиться с этой компанией. Тут есть и другая, но в ней приятного мало. Они узнали меня – похоже, нет на свете людей, которые не видели бы «Папенькину дочку».

Подождав, когда угаснет эта вспышка самолюбования, миссис Спирс прозаично спросила:

– А кстати, когда ты собираешься повидаться с Эрлом Брейди?

– Думаю, мы можем съездить к нему сегодня под вечер, – если ты уже отдохнула.

– Ты можешь – я не поеду.

– Ну, тогда отложим на завтра.

– Я хочу, чтобы ты поехала одна. Это недалеко – а говорить по-французски ты, по-моему, умеешь.

– Мам, а существует что-нибудь, чего я делать не должна?

– Ну ладно, поезжай попозже, но сделать это до того, как мы отсюда снимемся, необходимо.

– Хорошо, мам.

После ленча их одолела внезапная скука, нередко нападающая на американцев, заезжающих в тихие уголки Европы. Ничто их никуда не подталкивает, ничьи голоса не окликают, никто не делится с ними неожиданными обрывками их собственных мыслей, и им, оставившим позади шум и гам своей родины, начинает казаться, что жизнь вокруг них остановилась.

– Давай пробудем здесь только три дня, мам, – сказала Розмари, когда они возвратились в свой номер. Снаружи легкий ветерок размешивал зной, процеживая его через кроны деревьев, попыхивая жаром сквозь жалюзи.

– А как же мужчина, в которого ты влюбилась на пляже?

– Мапочка, милая, я только тебя люблю, никого больше.

Розмари вышла в вестибюль, чтобы расспросить Госса-*père*²⁵ о поездках. Портье, облаченный в светло-коричневый военный мундир, поначалу взирал на нее из-за стойки сурово, но затем все же вспомнил о приличествующих его *métier*²⁶ манерах. Она села в автобус и в обществе все той же пары раболепных гарсонов поехала на станцию; их почтительное безмолвие стесняло Розмари, ей хотелось попросить: «Ну что же вы, разговаривайте, смейтесь, мне вы не мешаете».

В вагоне первого класса стояла духота; яркие рекламные картинки железнодорожных компаний, изображавшие арльский Пон-дю-Гар, оранжский Амфитеатр, лыжников в Шамони, выглядели более свежими, чем простор неподвижного моря за окном. В отличие от американских поездов, увлеченных своей кипучей участью и с пренебрежением взирающих на людей из внешнего, не такого стремительного и запыхавшегося мира, *этот* был частью страны, по которой он шел. Его дыхание взметало осевшую на пальмовых листьях пыль, его угольная крошка смешивалась в садиках с сухим навозом. Розмари не сомневалась, что могла бы высунуться в окно и рвать руками цветы.

У каннского вокзала спали в своих машинах таксисты. Казино, модные магазины и огромные гостиницы променада смотрели на летнее море пустыми железными масками окон²⁷. Невозможно было поверить, что когда-то здесь буйствовал «сезон», и Розмари, не вполне равнодушной к поветриям моды, было немного неловко, – как если бы ее поймали на нездоровом интересе к чему-то отжившему; как если бы люди вокруг недоумевали, что она делает здесь в промежутке между весельем прошлой зимы и весельем следующей, в то время как на севере сейчас гремит и сверкает настоящая жизнь.

Стоило ей выйти из аптеки с купленным там пузырьком кокосового масла, как мимо нее прошла и села в стоявшую неподалеку машину несшая охапку диванных подушек женщина, в которой Розмари узнала миссис Дайвер. Длинная, низенькая черная собака залаяла, увидев ее, задремавший шофер вздрогнул и проснулся. Она сидела в машине – прелестное и неподвижное, послушное воле хозяйки лицо, безбоязненный и настороженный взгляд – и смотрела прямо перед собой и ни на что в частности. Платье ее было ярко-красным, загорелые ноги – голыми. Волосы – густыми, темными, золотистыми, как у чау-чау.

До поезда оставалось полчаса, и Розмари посидела немного в «*Café des Alliées*»²⁸ на Круазетт, чьи деревья купали столики в зеленых сумерках, и оркестр услаждал воображаемую толпу космополитов сначала песенкой «Карнавал в Ницце», а после модным в прошлом году американским мотивчиком. Розмари купила для матери «Ле Темпс» и «Сетеди Ивнинг Пост» и, попивая «цитронад», открыла последний на воспоминаниях русской княгини – туманные обыкновения девяностых годов показались ей более реальными и близкими, чем заголовки

²⁵ Отец (*фр.*).

²⁶ Ремесло, профессия (*фр.*).

²⁷ В километре от Канн находится остров Сент-Маргерит, на нем стоит Форт-Рояль, тюрьма, в которой содержался таинственный человек в железной маске.

²⁸ Кафе «Союзники» (*фр.*).

французской газеты. То же гнетущее чувство преследовало ее и в отеле – Розмари, привыкшей видеть нелепости континента в подчеркнуто комическом или трагическом свете, не умевшей самостоятельно выделять существенное, начинало казаться, что жизнь во Франции пуста и затхла. И исполняемые оркестром печальные мелодии, напоминавшие меланхолическую музыку, под которую кувыркаются в варьете акробаты, лишь усиливали это чувство. Она была рада вернуться в отель Госса.

Наутро обнаружилось, что плечи ее слишком обгорели для купания, поэтому она и мать наняли машину – после долгой торговли, ибо Франция научила Розмари считать деньги, – и поехали вдоль Ривьеры, дельты множества рек. Водитель, русский боярин эпохи Ивана Грозного, оказался самозванным гидом, и полные блеска названия – Канны, Ницца, Монте-Карло – начали посверкивать под их апатичным камуфляжем, шепотом повествуя о престарелых королях, приезжавших сюда обедать или умирать, о раджах, забывавших глаза Будды ради английских танцовщиц, о русских князьях, погружавших здешние недели в балтийские сумерки давних пропахших икрой дней. Русский дух витал над побережьем, в его закрытых сейчас книжных магазинах и продуктовых лавках. Десятилетие назад, в апреле, когда завершался сезон, двери православной церкви запирались, а излюбленное русскими сладкое шампанское отправлялось до их возвращения в погреба. «Вернемся в следующем сезоне», – обещали они и опрометчиво, как оказалось, обещали, потому что не вернулись уже никогда.

Приятно было ехать ввечеру обратно в отель – над морем, светившимся красками, таинственными, как у агатов и сердоликов детства, зеленым, точно сок зеленых растений, синеватым, точно вода в прачечной, винноцветным. Приятно было проезжать мимо людей, ужинавших под открытым небом перед своими домами, слышать, как в увитых лозами маленьких *estamine*²⁹ неистово бренчат механические пианино. Когда машина съехала с шоссе и стала спускаться к отелю Госса по темнеющим склонам, поросшим деревьями, которые поднимались одно за другим из обильной зелени, над руинами акведуков уже висела луна...

Где-то в холмах за отелем были танцы, и Розмари, слушая музыку, проникавшую под ее призрачно освещенную луной москитную сетку, понимала, что неподалеку идет веселье, и думала о приятных людях, которых увидела на пляже. Думала о том, что сможет снова увидеть их утром и что тем не менее они явно привыкли довольствоваться собственным маленьким кругом и, когда их зонты, бамбуковые подстилки, собаки и дети занимают свои места на песке, этот участок пляжа словно обносится забором. Во всяком случае, сказала себе Розмари, последние свои два утра она тем, другим, не отдаст.

IV

Все решилось само собой. Мак-Киско на пляже еще не появились, а едва Розмари разостлала свой халат, как двое мужчин – тот, в жокейской шапочке, и рослый блондин, распиливающий пополам гарсонов, – покинули свою компанию и подошли к ней.

– С добрым утром, – сказал Дик Дайвер. И присел на корточки. – Знаете, обгорели вы или не обгорели, но что же вы не появились вчера? Мы за вас волновались.

Она села и счастливым смешком поблагодарила их за то, что они заговорили с ней.

– Мы даже поспорили, – продолжал Дик Дайвер, – придете ли вы нынче утром. У нас куплена вскладчину еда и вино – давайте считать, что мы приглашаем вас к столу.

Дик показался ей человеком добрым и обаятельным, а тон его обещал, что он возьмет ее под свое крыло и немного позже откроет ей целый новый мир, нескончаемую вереницу великолепных возможностей. Он представил Розмари своим друзьям, не назвав ее имени, но дав ей понять, что все они знают, кто она, однако уважают ее право на частную жизнь – учтивость,

²⁹ Кабачок, маленькое кафе (фр.).

которой Розмари с тех пор, как приобрела известность, вне пределов своей профессиональной среды не встречала.

Николь Дайвер, чья смуглая от загара спина казалась подвешенной к нитке жемчуга, перелистывала поваренную книгу в поисках рецепта куриных ножек по-мэрилендски. Ей было, насколько могла судить Розмари, года двадцать четыре, и, не выходя из пределов традиционного словаря, лицо ее можно было описать как миловидное, казалось, впрочем, что задумывалось оно – и по строению, и по рисунку – с эпическим размахом, как если бы и черты его, и краски, и живость выражений – все, что мы связываем с темпераментом и характером, – лепились под влиянием Родена, а затем резец ваятеля стал отсекал кое-что, добиваясь миловидности, и остановился на грани, за которой любой маленький промах грозил непоправимо умалить силу и достоинства этого лица. Вот, создавая рот Николь, скульптор решился на отчаянный риск – он изваял лук купидона с журнальной обложки, который, однако ж, ни в чем не уступал по своеобразию прочим ее чертам.

– Надолго сюда? – спросила Николь. Голос ее оказался низким, почти хриловатым.

Розмари вдруг поймала себя на мысли, что, пожалуй, они с матерью могли бы задержаться здесь еще на неделю.

– Не очень, – неопределенно ответила она. – Мы уже давно за границей – в марте высадились на Сицилии и понемногу продвигаемся на север. В январе я заработала на съемках воспаление легких, вот и приходится теперь поправлять здоровье.

– Боже милостивый! Как же это случилось?

– Перекупалась, – ответила Розмари неохотно, поскольку личных откровений она избегала. – У меня начинался грипп, я его не заметила, а снималась сцена в Венеции, я там ныряла в канал. Декорация была очень дорогая, ну я и ныряла, ныряла, ныряла все утро. И мама, и мой доктор были на съемках, да толку-то... воспаление легких я все равно получила.

И она решительно, не дав никому и слова сказать, сменила тему:

– А вам нравится здесь – я про это место?

– Еще бы оно им не нравилось, – неторопливо произнес Эйб Норт. – Они его сами же и создали.

Благородная голова Эйба медленно повернулась, и взгляд, полный ласки и преданности, остановился на Дайверах.

– Правда?

– Отель остается открытым на лето всего лишь второй год, – объяснила Николь. – В прошлом мы уговорили Госса не отпускать повара, гарсона и слугу – это окупилось, а в нынешнем году окупится еще лучше.

– Но ведь вы в отеле не живете.

– Нет, мы построили дом в Тарме – это в холмах, немного выше отеля.

– Теоретически, – сказал Дик, передвигая зонт, чтобы убрать с плеча Розмари квадратик солнечного света, – все северные места – Довиль и так далее, давно освоены равнодушными к холоду русскими и англичанами, между тем половина наших американцев происходит из стран с тропическим климатом – оттого мы и прибываем к этим берегам.

Молодой человек латиноамериканской наружности переворачивал страницы «Нью-Йорк Геральд».

– Ну-с, а какой национальности эти персонажи? – внезапно спросил он и прочитал с легкой французской напевностью: – «В отеле «Палас» в Веве остановились: мистер Пандели Власко, мадам Бонасье, – я ничего не преувеличиваю, – Коринна Медонка, мадам Паш, Серафим Туллио, Мария Амалия Рото Маис, Мойзес Тейфель, мадам Парагорис, Апостол Александр, Иоланда Иосфуглу и Женевьева де Мом!» Особенно хороша на мой вкус Женевьева де Мом. Так и хочется съездить в Веве, полюбоваться на нее.

Он вдруг вскочил на ноги, потянулся – все в одно резкое движение. Он был на несколько лет моложе Дайвера и Норта. Высокий, с крепким, но слишком худым телом – если не считать налитых силой плеч и бицепсов. С первого взгляда он казался заурядно красивым, вот только лицо его неизменно выражало легкое недовольство чем-то, мутившее на редкость яркий блеск его карих глаз. И все же они западали в память и оставались в ней, даже когда из нее стиралась неспособность его рта выдерживать скуку и молодой лоб, изборожденный морщинами вздорного, бессмысленного раздражения.

– На прошлой неделе нам попались в новостях и кое-какие интересные американцы, – сказала Николь. – Миссис Эвелин Устриц и... как его звали?

– Мистер С. Мясо, – ответил Дайвер и тоже встал, взял грабли и принялся с серьезнейшим видом выгребать из песка мелкие камушки.

– Да-да, мистер С. Мясо – мороз по коже, не правда ли?

Розмари было спокойно с Николь – спокойнее даже, казалось ей, чем с матерью. Эйб Норт и Барбан, оказавшийся все же французом, завели разговор о Марокко, Николь, отыскав и записав рецепт, взялась за шитье. Розмари разглядывала вещи, принесенные этими людьми на пляж, – четыре больших, создававших теневую завесу зонта, складную душевую кабину для переодевания, надувную резиновую лошадку – новые вещи, она таких никогда не видела, плоды первого послевоенного расцвета индустрии предметов роскоши, нашедшие, судя по всему, в этих людях первых покупателей. Розмари пришла к выводу, что попала в компанию людей светских, и хотя мать учила ее сторониться таких, называя их трутнями, сочла, что к новым ее знакомым это определение не относится. Даже в их совершенной бездеятельности, полной, как в это утро, Розмари ощущала некую цель, работу над чем-то, направленность, творческий акт, пусть и отличный от тех, какие ей были знакомы. Незрелый ум ее не строил догадок касательно их отношений друг с другом, Розмари интересовало лишь, как они относятся к ней, – впрочем, она почувствовала присутствие паутины каких-то приятных взаимосвязей, и чувство это оформилось в мысль о том, что они, похоже, прекрасно проводят здесь время.

Она поочередно вгляделась в троих мужчин, как будто временно присваивая их. Каждый был представительным, хоть и по-своему; во всех присутствовала особая мягкость, бывшая, поняла она, частью их существования, прошлого и будущего, не обусловленной какими-то событиями, не имеющей ничего общего с компанейскими замашками актеров, – и почувствовала также разностороннюю деликатность, отличавшую их от грубоватого, готового на все содружества режиссеров, единственных интеллектуалов, каких она пока встретила в жизни. Актеры и режиссеры – вот и все, кого Розмари знала, – их, да еще разнородные, но неотличимые один от другого интересующиеся только любовью с первого взгляда студенты, с которыми она познакомилась прошлой осенью на йельском балу.

А эти трое были совсем разными. Барбан отличался меньшей, чем двое других, учтивостью, большей скептичностью и саркастичностью, манеры его были чисто формальными, даже небрежными. Эйб Норт скрывал под застенчивостью бесшабашное чувство юмора, которое и забавляло Розмари, и пугало. Серьезная по натуре, она сомневалась в своей способности произвести на него большое впечатление.

Но вот Дик Дайвер был само совершенство. Розмари безмолвно любовалась им. Кожа его, загорелая и обветренная, отливала краснотой. Красноватыми казались и короткие волосы – редкая поросль их спускалась по рукам Дика. Яркие, светившиеся резкой синевой глаза, заостренный нос. Сомнений в том, на кого он смотрит или с кем разговаривает, не возникало никогда, – и внимание его было лестным, ибо кто же смотрит на нас по-настоящему? – на нас разве что взгляды бросают, любопытные либо безразличные, вот и все. Голос Дика, чуть отдававший ирландской мелодичностью, словно упрасивал о чем-то весь окружающий мир, и тем не менее Розмари различала в нем тайную твердость, самообладание и самодисциплину – собственные

ее достойные качества. О, Розмари, конечно, выбрала бы только его, и Николь, подняв на нее взгляд, увидела это, услышала легкий вздох сожаления о том, что Дик уже принадлежит другой женщине.

Незадолго до полудня на пляже появились Мак-Киско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и синьор Кэмпбелл. Они принесли с собой новый большой зонт, который и воткнули, искоса поглядывая на Дайверов, в песок, а затем удовлетворенно забили под него – все, кроме мистера Мак-Киско, надменно оставшегося сидеть на солнцепеке. Дик, ворошивший граблями песок, прошел рядом с ними и вернулся к своим зонтам.

– Двое молодых людей читают на пару «Правила хорошего тона», – негромко сообщил он.

– В вышедший швет пробиваться надумали, – заключил Эйб.

Мэри Норт, дочерна загорелая молодая женщина, которую Розмари увидела в первый день на плоту, вернувшись из моря, улыбнулась, лукаво сверкнув зубами, и сказала:

– Итак, появились мистер и миссис Нишагуназад?

– Они – друзья вот этого человека, – напомнила ей Николь, указав на Эйба. – Почему бы ему не подойти к ним, не поговорить? Вы больше не находите их привлекательными?

– Я нахожу их *очень* привлекательными, – заверил ее Эйб. – А вот *просто* привлекательными не нахожу, только и всего.

– Ладно, я *знала*, что этим летом на пляж набьется много народу, – сказала Николь. – На *наш* пляж, который Дик своими руками освободил от кучи камней.

Она поколебалась, а затем понизила голос так, чтобы ее не услышала троица сидевших под собственным зонтом нянюшек:

– И все-таки они лучше прошлогодних британцев, то и дело вопивших: «Разве море не синее? Разве небо не белое? Разве нос у малышки Нелли не красный?»

Розмари подумала, что не хотела бы получить Николь во враги.

– Вы еще драку не видели, – продолжала Николь. – За день до вашего появления женатый мужчина, тот, чье имя походит на название суррогатного бензина, не то масла...

– Мак-Киско?

– Да, так вот, они с женой поссорились, и та швырнула ему в лицо горсть песка. А он, естественно, уселся на женушку верхом и принялся возить ее физиономией по песку. Нас это... потрясло. Я даже хотела, чтобы Дик вмешался.

– Я думаю, – произнес Дик Дайвер, опуская отсутствующий взгляд на соломенный коврик, – пойти и пригласить их к обеду.

– Нет, только не это, – быстро сказала Николь.

– По-моему, это будет правильно. Они все равно уже здесь, так давайте к ним как-то прилаживаться.

– Мы и так уж хорошо ко всему приладились, – неуступчиво усмехнулась она. – Я не желаю, чтобы *и меня* возили носом по песку. Я женщина мелочная, неуживчивая, – объяснила она Розмари, а затем повысив голос: – Дети, наденьте купальные костюмы!

Розмари почувствовала, что это купание станет для нее символическим, что отныне всякий раз, услышав слово «купаться», она будет вспоминать о нем. Вся компания направилась к воде, более чем готовая к тому, чтобы нежиться в ней долго и неподвижно, перейти из жары в прохладу, как гурман переходит от обжигающего нёбо карри к холодному белому вину. Дни Дайверов походили своим расписанием на дни цивилизаций более давних, позволяя им обоим извлекать из того, что само шло к ним в руки, все до последней капли, использовать все ценное, чем чревата любая перемена, а Розмари не знала еще, что полную поглощенность купанием сменит веселая болтовня за прованским завтраком. И снова она почувствовала, что Дик опекает ее, и словно радостно подчиняясь приказу, направилась вместе со всеми к воде.

Николь вручила мужу удивительное одеяние, над которым трудилась последнее время. Он удалился в кабинку для переодевания и вышел оттуда, породив всеобщий ажиотаж, в про-

зрачных подштанниках из черного кружева. При внимательном рассмотрении выяснилось, впрочем, что кружева нашиты на телесного цвета ткань.

– Кунштюк, достойный гомика! – презрительно воскликнул мистер Мак-Киско и, быстро повернувшись к мистерам Дамффри и Кэмпиону, добавил: – О, прошу прощения.

Розмари же, увидев этот купальный наряд, пришла в совершенный восторг. Простодушная, она упивалась дорогостоящей простотой Дайверов, не сознавая всей их сложности и умудренности, не понимая, что на ярмарке нашего мира они выбирают качество, а не количество; что и простота их повадок, отдающая детской умиротворенностью, и благодушие, и предположение, отдаваемое ими тому, что попроще, все это – часть заключенной от безнадежности сделки с богами, все обретено в такой борьбе, какая ей и не снилась. Наружно Дайверы определенно представляли в то время последний итог эволюции их класса, отчего большинство людей выглядело рядом с ними нескладными, – на деле же в них уже шли качественные изменения, которых Розмари попросту не замечала.

После купания она стояла посреди этой компании, пившей херес и хрустевшей сухим печеньем. Дик Дайвер перевел на нее взгляд холодных синих глаз; добрые, крепкие губы его разделились, и он произнес задумчиво и неторопливо:

– Вы – единственная виденная мной за долгое время девушка, по-настоящему похожая на дерево в цвету.

А потом Розмари плакала и плакала, уткнувшись лицом в колени матери:

– Я люблю его, мама. Я отчаянно влюбилась в него – никогда, ни к кому ничего подобного не испытывала. А он женат, и она мне тоже нравится – все так безнадежно. Ох, как я люблю его!

– Интересно было бы познакомиться с ним.

– В пятницу мы приглашены на обед.

– Если ты полюбила, это принесет тебе счастье. Смеяться следует, а не плакать.

Розмари подняла взгляд на прекрасное, подрагивавшее в улыбке лицо матери и засмеялась. Мать всегда имела на нее большое влияние.

V

В Монте-Карло Розмари приехала почти настолько мрачной, насколько для нее это было возможно. Поднявшись по крутому склону холма к «Ла Тюрби», старому киногородку студии «Гомон», который тогда перестраивался, она постояла у зарешеченных ворот, ожидая ответа на несколько слов, написанных ею на визитной карточке, и думая, что за воротами вполне мог бы находиться и Голливуд. Там виднелись престранные остатки декораций некоей снимавшейся недавно картины – развалившийся кусок индийской улицы, огромный картонный кит, чудовищное дерево, поросшее сливами величиной с бейсбольные мячи, – оно процвело здесь по чьему-то экстравагантному произволу и было таким же уместным в этом краю, как амарант, мимоза, пробковый дуб или карликовая сосна. За декорациями стоял домик, где можно было перекусить на скорую руку, и пара амбароподобных съемочных павильонов, а по всему городку расположились группки людей с размаляванными лицами, замерших в ожидании, в надежде.

Минут через десять к воротам торопливо приблизился молодой человек с волосами цвета канареечных перьев.

– Входите, мисс Хойт. Мистер Брейди сейчас на площадке, но очень хочет увидеться с вами. Простите, что вас заставили ждать, но, знаете, некоторые француженки так и норовят пролезть в...

Молодой человек, бывший, надо полагать, управляющим студии, открыл маленькую дверь в глухой стене павильона, и Розмари, довольная тем, что вступает в знакомый мир, после-

довала за ним в полутьму. В полутьме там и сям различались люди, обращавшие к Розмари пепельные лица, будто души чистилища, мимо которых проходит живой человек. Шепоты, негромкие голоса, а где-то, по-видимому, далеко – мягкое тремоло небольшого органа. Обогнув задники стоявших углом декораций, они увидели белый, потрескивающий свет съемочной площадки, под которым неподвижно замерли лицом к лицу актер-француз – грудь, ворот и манжеты его сорочки были окрашены в ярко-розовый цвет, – и актриса-американка. Глаза обоих выражали упорство, как будто они уже простояли так не один час и за все это долгое время ничего не произошло, никакого движения. Софит вдруг погас, зашипев, и тут же включился снова; где-то вдали молоток, грустно постукивая, просил, чтобы его впустили куда-то; вверху появилось среди ослепительных юпитеров синее лицо, сказавшее нечто неразборчивое в потолочную тьму. Затем тишину нарушил прозвучавший впереди Розмари голос:

– Не стягивай чулки, малышка, так ты еще пар десять загубишь. А этот костюмчик пятнадцать фунтов стоит.

Произнесший эти слова надвигался, пятясь, на Розмари, и управляющий студии окликнул его:

– Эй, Эрл, – мисс Хойт.

Это была их первая встреча. Брейди оказался человеком подвижным, энергичным. Он пожал руку Розмари, окинул ее с головы до пят взглядом – обычное дело, всегда внушавшее ей и чувство, что она у себя дома, и ощущение некоторого превосходства над собеседником. Если к ней относятся как к реквизиту, она имеет право использовать любые преимущества, какие дает обладание им.

– Так и думал, что вы появитесь со дня на день, – сказал Брейди голосом, чуть более повелительным, чем то требуется для спокойной личной жизни, и несущим следы отчасти вызывающего выговора кокни. – Хорошо прокатились?

– Да, но мы рады, что скоро вернемся домой.

– Не-е-ет! – возразил он. – Оставайтесь еще ненадолго, мне нужно поговорить с вами. Должен вам сказать, что ваша картина «Папенькина дочка», – я посмотрел ее в Париже и сразу послал телеграмму на Побережье, чтобы выяснить, есть ли у вас новый контракт...

– Просто я должна... извините.

– Господи, какая картина!

Улыбаться в глупом согласии Розмари не желала и потому нахмурилась.

– Никому не хочется, чтобы о нем судили лишь по одной картине, – сказала она.

– Конечно – и правильно. Так какие у вас планы?

– Мама решила, что мне необходимо отдохнуть. Когда я вернусь, мы либо подпишем контракт с «Первой национальной», либо останемся в «Прославленных актерах».

– «Мы» – это кто?

– Моя мама. Делами у нас ведает она. Я без нее как без рук.

Он снова окинул ее взглядом, и что-то в Розмари потянулось к нему. Она не назвала бы это приязню и уж тем более безотчетным обожанием, какое внушил ей утром на пляже другой мужчина. Так, подобие легкого щелчка. Брейди желал ее, и она, насколько то позволяли ее девственные чувства, невозмутимо обдумывала свою возможную капитуляцию. Зная при этом, что, распрощавшись с ним, через полчаса о нем забудет – как об актере, с которым целовалась на съемках.

– Вы где остановились? – спросил Брейди. – Ах да, у Госса. Так вот, у меня на этот год все расписано, однако письмо, которое я вам послал, остается в силе. Снять вас мне хочется больше, чем любую другую девушку, которая появилась со времен юной Конни Толмадж.

– И мне хочется сняться у вас. Почему вы не возвращаетесь в Голливуд?

– Терпеть его не могу. Мне и здесь хорошо. Подождите, мы снимем сцену, и я вам тут все покажу.

Он вышел на площадку и негромко заговорил с французским актером.

Прошло пять минут – Брейди продолжал говорить, француз время от времени переступал с ноги на ногу и кивал. Неожиданно ярко вспыхнувшие юпитеры облили эту пару гудящим сиянием и заставили Брейди задрать голову и что-то крикнуть вверх. В Лос-Анджелесе сейчас только и разговоров что о Розмари. Она невозмутимо пошла назад сквозь нагромождение тонких перегородок, ей хотелось вернуться туда. А иметь дело с Брейди в том настроении, которое, знала Розмари, сложится у него по окончании съемки, не хотелось, и она покинула киногородок, продолжая ощущать его колдовские чары. Теперь, когда она побывала на студии, Средиземноморье выглядело не таким притихшим. Ей нравились его пешеходы, и по пути к вокзалу она купила пару эспадрилий.

Мать Розмари была довольна тем, что дочь так точно выполнила ее указания, и все же ей хотелось поскорее пуститься в путь. Выглядела миссис Спирс посвежевшей, однако она устала; человек, которому довелось посидеть у одра смерти, устает надолго, а ей как-никак выпало посидеть у двух.

VI

Впавшая в благодушие от выпитого за ленчем розового вина, Николь Дайвер скрестила на груди руки так высоко, что покоившаяся на ее плече розовая камелия коснулась щеки, и вышла в свой чудесный, напрочь лишенный травы сад. Одну его границу образовывал дом, из которого сад вытекал и в который втекал, две других – старая деревня, а четвертую – утес, уступами спадавший к морю.

Вдоль стен, ограждавших сад от деревни, на всем лежала густая пыль – на извивистых лозах, на лимонных деревьях и эвкалиптах, на садовой тачке, оставленной здесь лишь мгновение назад, но уже вросшей в тропинку, изнурившись и слегка затрухляев. Николь всегда удивляло немного, что, повернув в сторону от стены и пройдя мимо пионовых клумб, она попадала в пределы столь прохладные и зеленые, что листья и лепестки сворачивались там от нежной сырости.

Шею Николь укрывал завязанный узлом сиреневый шарф, даже в бесцветном солнечном свете отбрасывавший свои отсветы вверх, на ее лицо, и вниз, к земле, по которой она ступала. Лицо казалось строгим, почти суровым, лишь в зеленых глазах Николь светилося сострадательное сомнение. Светлые некогда волосы ее теперь потемнели, и все-таки ныне, в двадцать четыре года, она была прелестнее, чем в восемнадцать, в пору, когда эти волосы затмевали ее красоту.

По тропинке, которая прорезала сплошную, как туман, поросль цветов, льнувшую к веренице белых камней по ее краям, Николь вышла на поляну над морем; здесь спали среди фиговых деревьев фонари, и большой стол, и плетеные кресла, и огромный рыночный зонт из Сиены теснились под великанской сосной, самым большим деревом сада. Николь постояла немного, отсутствующе вглядываясь в ирисы и настурции, вперемишку росшие у подножия сосны, словно кто-то бросил под ней на землю неразобранную пригоршню семян, вслушиваясь в жалобы и укоризны какой-то ссоры, разыгравшейся в детской дома. Когда эти звуки замерли в летнем воздухе, Николь пошла дальше между калейдоскопических, сбившихся в розовые облака пионов, черных и бурых тюльпанов и розовато-лиловых стеблей, венчавшихся хрупкими розами, сквозистыми, точно сахарные цветы в витрине кондитерской, – и наконец, когда исполнявшееся цветами скерцо утратило способность набрать еще большую силу, оно вдруг оборвалось, замерев в воздухе, и показались влажные ступеньки, спускавшиеся на пять футов к следующему уступу.

Здесь бил из земли ключ, обнесенный дощатым настилом, мокрым и скользким даже в самые солнечные дни. Обойдя его, Николь поднялась по лесенке в огород; шла она довольно

быстро, движение нравилось ей, хотя временами от нее исходило ощущение покоя, сразу и оцепенелого, и выразительного. Объяснялось это тем, что слов она знала не много, не верила ни одному и в обычной жизни была скорее молчуньей, вносившей в разговоры лишь малую толику утонченного юмора – с точностью, которая граничила со скупостью. Впрочем, когда не знавшие Николь собеседники начинали неловко поеживаться от ее экономности, она вдруг завладевала разговором и прищипывала его, сама на себя дивясь, – а потом отдавала в чьи-нибудь руки, резко, если не робко, точно услужливый ретривер, доказавший и умелость свою, и еще кое-что.

Пока она стояла в расплывчатом зеленом свете огорода, тропинку впереди пересек направлявшийся в свою мастерскую Дик. Николь молча подождала, пока он исчезнет из виду, потом прошла между грядок будущего салата к маленькому «зверинцу», где голуби, кролики и попугай осыпали ее неразберихой презрительных звуков, а там, спустившись на следующий выступ, приблизилась к низкой изогнутой стене и взглянула вниз, на лежавшее в семистах футах под ней Средиземное море.

Вилла Дайверов располагалась на краю еще в древности построенного в холмах городка Тарме. Прежде на ее месте и на принадлежавшей вилле земле стояли последние перед кручей крестьянские жилища – пять из них соединили, отчего получился большой дом, четыре снесли, чтобы разбить сад. Внешние их ограды остались нетронутыми, и потому с шедшей далеко внизу дороги вилла была неотличима от фиалково-серой массы городка.

Недолгое время Николь простояла, глядя вниз, на море, однако занять здесь свои неутомные руки ей было нечем. В конце концов Дик вынес из его однокомнатного домишки подозрительную трубу и нацелил ее на восток, на Канны. Николь ненадолго попала в поле его зрения, и он снова скрылся в домике, но сразу вышел оттуда с рупором в руке. Механических игрушек у него было много.

– Николь, – крикнул он, – забыл сказать, в виде последнего жеста милосердия я пригласил к нам на обед миссис Абрамс, беловласую женщину.

– Были у меня такие подозрения. Безобразие!

Легкость, с которой ее слова достигли Дика, показалась Николь унижительной для его рупора, поэтому она, повысив голос, крикнула:

– Ты меня слышишь?

– Да, – он опустил рупор, но сразу же, из чистого упрямства, снова поднял его ко рту. – Я собираюсь пригласить и еще кое-кого. Тех двух молодых людей.

– Ладно, – спокойно согласилась она.

– Мне хочется устроить вечер, по-настоящему кошмарный. Серьезно. С руганью, совращениями, вечер, после которого гости будут расходиться в растрепанных чувствах, а женщины падать в обморок в туалете. Вот подожди, увидишь, что у меня получится.

Он вернулся в свой домик, Николь же поняла, что муж впал в одно из самых характерных его настроений, в возбуждение, которое втягивает в свою орбиту всех и каждого и неотвратно приводит к меланхолии личного его фасона, – Дик никогда не выставлял это свое состояние напоказ, однако Николь его узнавала. Какие-то вещи и явления возбуждали ее мужа с силой, совершенно не пропорциональной их значению, делая его обхождение с людьми поистине виртуозным. И это заставляло их, если они не были чрезмерно трезвыми или вечно подозрительными, зачарованно и слепо влюбляться в него. Но затем Дик неожиданно понимал, сколько сил потратил неизвестно на что и на какие сумасбродства пускался, и его постигало унылое отрезвление. И он с испугом оглядывался назад, на устроенные им карнавалы любовной привязанности, – так генерал может с оторопью вспоминать о массовой бойне, развязанной по его приказу ради удовлетворения общечеловеческой кровожадности.

Однако и недолгое пребывание в мире Дика Дайвера было переживанием замечательным: человек проникался верой, что именно *его* окружают здесь особой заботой, распознав

возвышенную уникальность его назначения, давно похороненную под многолетними компромиссами. Дик мгновенно завоевывал каждого исключительной участливостью и учтивостью, которые проявлял с такой быстротой и интуицией, что осознать их удавалось лишь по результатам, к коим они приводили. А затем без всякой опаски раскрывал, дабы не увял первый цвет новых отношений, дверь в свой восхитительный мир. Пока человек сохранял готовность полностью отдаться этому миру, счастье его оставалось предметом особых забот Дика, но при первом же проблеске сомнений, вызываемых тем, что в мир этот впускают кого ни попадя, Дик попросту испарялся прямо на глазах у бедняги, оставляя ему столь скудные воспоминания о своих словах и поступках, что о них и рассказать-то нечего было.

В тот вечер, в половине девятого, он вышел из дома, чтобы встретить первых гостей, держа свой пиджак в руке и церемониально, и многообещающе, – как держит плащ тореадор. Стоит отметить, что, поздоровавшись с Розмари и ее матерью, он умолк, ожидая, когда те заговорят первыми, словно позволяя им опробовать свои голоса в новой для них обстановке.

Розмари полагала, если говорить коротко, что после подъема к Тарме и она, и ее мать, надышавшиеся свежего воздуха, выглядят почти привлекательно. Так же, как личные качества людей необычайных с ясностью проявляются в их режущих слух оговорках, дотошно просчитанное совершенство виллы «Диана» мгновенно явило себя, несмотря даже на случайные задачи вроде мелькавшей на заднем плане горничной или неподатливости винной пробки. Когда появились, принеся с собой все тревожения этого вечера, первые гости, простые домашние хлопоты дня, символом коих были дети Дайверов, еще ужинавшие на террасе со своей гувернанткой, мирно отступили перед ними на второй план.

– Какой прекрасный сад! – воскликнула миссис Спирс.

– Сад Николь, – сказал Дик. – Никак она не оставит его в покое – допекает и допекает, боится, что он чем-нибудь заболеет. А мне остается только ждать, когда сама она сляжет с мучнистой росой, «мухоседом» или картофельной гнилью.

Он решительно наставил указательный палец на Розмари и с дурашливостью, непонятно как создававшей впечатление отеческой заботы, сообщил:

– Я надумал спасти ваш рассудок от страшной беды – подарить вам пляжную шляпу.

Дик провел их из сада на террасу, разлил по бокалам коктейль. Появился Эрл Брейди, удивившийся, увидев Розмари. В сравнении со съёмочной площадкой, резкости в повадках его поубавилось, он словно оставил свою ершистость у калитки виллы, но Розмари, мгновенно сравнив его с Диком Дайвером, сразу отдала предпочтение последнему. Рядом с Диком Эрл Брейди выглядел немного вульгарным, грубоватым, и все-таки по телу Розмари словно ток пробежал – ее снова потянуло к нему.

Он, как к старым знакомым, обратился к вставшим из-за стола детям:

– Привет, Ланье, ты как насчет попеть? Может, вы с Топси споете для меня песенку?

– А какую? – с готовностью поинтересовался мальчик, говоривший слегка нараспев, как это водится у растущих во Франции американских детей.

– Спойте «*Mon Ami Pierrot*».

Брат с сестрой, несколько не стесняясь, встали бок о бок, и их благозвучные, звонкие голоса полетели по вечернему воздуху.

Au clair de la lune
Mon Ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte

Pour l'amour de Dieu.

Пение смолкло, дети, принимая похвалы, стояли со спокойными улыбками на светившихся в последних лучах солнца лицах. И вилла «Диана» вдруг показалась Розмари центром вселенной. В таких декорациях наверняка должно происходить нечто запоминающееся навсегда. На душе у нее стало еще легче, когда она услышала, как звякнул колокольчик открываемой калитки, но тут на террасу поднялись новые гости – Мак-Киско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и мистер Кэмпион.

Розмари ощутила укол острого разочарования и бросила быстрый взгляд на Дика, словно прося его объяснить столь несуразный выбор гостей. Однако ничего необычного на лице его не увидела. Горделиво приосанившись, он поприветствовал пришедших с подчеркнутым уважением к их бесконечным, хоть пока и не известным ему достоинствам. Розмари доверяла ему настолько, что мгновенно согласилась с правильностью присутствия Мак-Киско, словно с самого начала ждала встречи с ними.

– Мы с вами сталкивались в Париже, – сказал Мак-Киско Эйбу Норту, вошедшему вместе с женой почти по пятам за этой компанией, – собственно, сталкивались дважды.

– Да, помню, – ответил Эйб.

– А где именно, помните? – спросил не желавший остаться без собеседника Мак-Киско.

– Ну, по-моему... – однако Эйбу уже наскучила эта игра, – нет, не помню.

Разговор их заполнил неловкую паузу, а затем наступило молчание, и инстинкт внушил Розмари, что необходимо сказать кому-нибудь что-нибудь исполненное такта, однако Дик не стал пытаться как-то перегруппировать пришедших последними гостей или хотя бы стереть с лица миссис Мак-Киско выражение позабавленного высокомерия. Он не желал разрешать сложности их общения, поскольку понимал, что большого значения таковые не имеют, а со временем разрешатся сами собой. Гости эти ничего о нем не знали, вот он и сберегал силы для мгновений более важных, до времени, когда они поймут, что все идет хорошо и прекрасно.

Розмари стояла рядом с Томми Барбаном – тот пребывал сегодня в настроении особенно презрительном и, по-видимому, имел для этого некие веские основания. На следующее утро он уезжал.

– Возвращаетесь домой?

– Домой? У меня нет дома. Поеду на войну.

– На какую?

– На какую? А на любую. Газет я в последнее время не просматривал, но, полагаю, где-нибудь да воюют, – как всегда.

– И вам все равно, за что сражаться?

– Решительно все равно – пока со мной хорошо обращаются. Оказавшись в тупике, я всегда приезжаю повидаться с Дайверами, поскольку знаю, что через пару недель меня потянет от них на войну.

Розмари замерла.

– Вам же нравятся Дайверы, – напомнила она Томми.

– Конечно, – в особенности она, – тем не менее они пробуждают во мне желание повоевать.

Розмари попыталась осмыслить сказанное им – и не смогла. У нее-то Дайверы вызвали желание навсегда остаться рядом с ними.

– Вы ведь наполовину американец, – сказала она – так, словно это могло что-то объяснить.

– И наполовину француз, получивший образование в Англии и успевший с восемнадцати лет поносить военную форму восьми стран. Надеюсь, однако, у вас не создалось впечатление, что я не люблю Дайверов, – я люблю их, в особенности Николь.

– Разве их можно не любить? – отозвалась Розмари.

Томми представлялся ей человеком очень далеким от нее. Подтекст его слов отталкивал Розмари, ей хотелось оградить свое преклонение перед Дайверами от кощунственной горечи Томми. Хорошо, что ей не придется сидеть рядом с ним за накрытым в саду столом, направляясь к которому она все еще думала о его словах: «В особенности Николь».

По пути к столу Розмари нагнала Дика Дайвера. Что бы ни попадало в орбиту его ясного и резкого блеска, все блекло, вырождалось в уверенность: вот человек, который знает все на свете. За последний год, а для нее это была целая вечность, Розмари обзавелась деньгами, определенной популярностью, знакомствами с очень известными людьми, и эти последние подавали себя как носителей тех же самых, но только невероятно усиленных качеств, какие были присущи людям, знакомым вдове и дочери военного врача по парижскому пансиону. Розмари была девушкой романтической, однако в ее карьере ничего такого пока не происходило. У матери имелись свои соображения относительно ее будущего, и она не потерпела бы сомнительных суррогатов любви, которых вокруг было хоть пруд пруди, протяни только руку, – да Розмари и сама была уже выше их, ибо, попав в мир кино, все же не стала его частью. И оттого, увидев по лицу матери, что Дик Дайвер понравился ей, увидев на этом лице выражение, говорившее «то, что нужно», Розмари поняла: ей дано разрешение пойти до конца.

– Я наблюдал за вами, – сказал Дик, и она сразу поняла, что говорит он всерьез. – Вы нравитесь нам все больше и больше.

– А я полюбила вас с первого взгляда, – тихо ответила Розмари.

Он сделал вид, что слова эти оставили его равнодушным, – как если б они были сделанным из одной лишь воспитанности комплиментом.

– Новым друзьям, – сказал он, словно желая сообщить нечто важное, – часто бывает легче друг с другом, чем старым.

И, едва успев выслушать эту сентенцию, толком ею не понятую, Розмари оказалась за столом, который выхватывали из густевших сумерек неторопливо разгоравшиеся фонари. Мощный аккорд радости грянул в ее душе, когда она увидела, как Дик усаживает мать по правую руку от себя; Розмари же получила в соседях Луи Кэмпиона и Брейди.

В приливе восторженных чувств она повернулась, намереваясь поделиться ими, к Брейди, однако стоило ей назвать имя Дика, в глазах режиссера обозначилось циничное выражение, и Розмари поняла, что роль заботливого отца ему не по вкусу. В свой черед и она твердо отклонила попытку Брейди накрыть ее ладонь своей, после чего они заговорили об общем их ремесле. Розмари, слушая рассуждения Брейди, не сводила вежливого взора с его лица, однако мысли ее столь откровенно витали далеко от него, что она побаивалась, как бы Эрл не догадался об этом. Время от времени она улавливала несколько его фраз, а ее подсознание добавляло к ним остальные, – так человек замечает иногда звон часов лишь в середине их боя, и в сознании его удерживается всего только ритм первых, не сочтенных им ударов.

VII

В разговоре возникла пауза, Розмари взглянула туда, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортон сидела Николь, чьи золотистые волосы словно вскипали и пенились в свете свечей. Прислушавшись, Розмари уловила приглушенные звуки ее грудного голоса и тут же вся обратилась в слух – Николь не часто произносила длинные фразы:

– Бедняга! Но почему вам захотелось распилить его?

– Естественно, чтобы посмотреть, что у гарсона внутри. Разве вам не интересно узнать, что кроется внутри гарсона?

– Старые меню, – издав короткий смешок, предположила Николь, – осколки разбитых фарфоровых чашек, чаевые и огрызки карандашей.

– Совершенно верно, но важно добыть научные доказательства этого. И разумеется, если мы будем добывать их посредством музыкальной пилы, она оградит нас от всяческой пачкотни и убожества.

– Вы намеревались, производя операцию, играть на пиле? – поинтересовался Томми Барбан.

– Нет, так далеко мы не зашли. К тому же он завопил, и это нас напугало. Мы опасались, что он надорвет горло или еще какой-нибудь важный орган.

– Мне это кажется до крайности странным, – сказала Николь. – Музыкант, использующий пилу другого музыканта, чтобы...

За полчаса застолья обстановка ощутимо переменялась: один гость за другим позабывал о чем-то для него важном – о заботах, тревогах, подозрениях, – и теперь они были просто гостями Дайверов, и в каждом проступила лучшая его сторона. Каждому стало казаться, что если он не проявит дружелюбия и заинтересованности, то ранит тем самым хозяев дома, а этого никто не хотел, и Розмари, видевшая старания гостей, любила их всех – за исключением Мак-Киско, который ухитрился и здесь держаться особняком. Причиной тому была не злая воля, а его решимость укрепить посредством вина веселое настроение, в котором он сюда прибыл. Откинувшись на спинку кресла, соседствовавшего с креслами Эрла Брейди, к которому он обратился с несколькими уничижительными замечаниями насчет кино, и миссис Абрамс, к которой он и обращаться не стал, Мак-Киско взирал на Дика Дайвера, сидевшего наискосок от него по другую сторону стола, с сокрушительной ироничностью, воздействие коей ослабляли, впрочем, предпринимаемые им время от времени попытки втянуть Дика в разговор.

– Вы ведь дружите с Ван-Бьюреном Денби? – мог, к примеру, осведомиться Мак-Киско.

– Не уверен, что знаю его.

– Я думал, вы с ним друзья, – раздраженно настаивал он.

После того как тема «мистера Денби» рухнула под собственной тяжестью, Мак-Киско опробовал несколько других, столь же никому не интересных, но всякий раз сама уважительность проявляемого Диком внимания словно вгоняла его в паралич, и разговор, прерванный им, после недолгого оцепенелого молчания продолжался без него. Он попытался вмешиваться в другие беседы, однако это походило на пожимание перчатки, из которой вынута ладонь, и в конце концов Мак-Киско, соорудив кроткую мину человека, попавшего в общество малых детей, полностью сосредоточился на шампанском.

Время от времени взгляд Розмари пробегал вдоль стола, ей хотелось, чтобы всем было хорошо, – хотелось так сильно, словно за ним сидели будущие ее приемные дети. На столе изысканно светила изнутри ваза с пряными гвоздиками, свет ее падал на полное силы, терпимости, девичьей доброжелательности лицо миссис Абрамс, раздумывавшейся, но в пределах приличия, от «Вдовы Клико»; за ней сидел мистер Ройал Дамфри, девическая смазливость которого выглядела в ласковой атмосфере этого вечера менее ошеломительной. За ним – Виолетта Мак-Киско, все ее приятные качества обнажились сейчас, как горная порода, и она махнула рукой на старания приладиться к положению тени своего мужа, карьериста без карьеры.

За нею сидел Дик, обремененный грузом вялых забот, от которых он на время избавил других, с головой ушедших в устроенный им прием.

За Диком – мать Розмари, как всегда совершенная.

Затем Барбан, учтиво и непринужденно беседовавший с нею, отчего он снова понравился Розмари. Затем Николь. Розмари вдруг увидела ее по-новому и нашла одной из самых красивых женщин, каких когда-либо знала. Ее лицо, лицо святой, Мадонны викингов, светилось за тонкой пеленой пылинок, завивавшихся, словно снежинки, вокруг пламени свечей, перенимало румянец у горевших в сосняке винноцветных фонарей. Она была спокойна, как само спокойствие.

Эйб Норт рассказывал ей о своем моральном кодексе. «Конечно, он у меня есть, – уверял Эйб, – без морального кодекса не проживешь. Мой сводится к тому, что я не одобряю сожжения ведьм. Стоит кому-нибудь сжечь ведьму, как я просто на стену лезу». Розмари знала от Брейди, что Эйб – композитор, который после блестящего, очень раннего дебюта вот уж семь лет как ничего не написал.

За ним сидел Кэмпбелл, сумевший каким-то образом обуздать свое режущее глаз женоподобие и даже начавший навязывать соседям что-то вроде бескорыстной материнской заботы. За ним Мэри Норт с лицом столь веселым, что невозможно было не улыбнуться в ответ, увидев ее белоснежные зубы, – таким кружком упоения обведен был ее приоткрытый рот.

И наконец, Брейди, чья прямота обращалась мало-помалу в подобие светскости, замещавшей череду беспардонных заверений в присущем ему душевном здравии и умении сберечь его, отказываясь принимать в расчет человеческую уязвимость.

Розмари, ощущавшей – совсем как ребенок из какой-нибудь скверной книжки миссис Бёрнетт³⁰ – животворное облегчение, казалось, что она возвращается домой после ничтожных и неприличных походов на далекой границе. Светляки плыли к ней по темному воздуху, где-то на одном из далеких нижних уступов обрыва лаяла собака. Стол словно вознесся немного к небу, как снабженная подъемным механизмом танцевальная площадка, дав сидевшим за ним людям почувствовать, что они остались наедине друг с другом в темной вселенной, питаясь единственной пищей, какая в ней есть, согреваясь ее единственным светом. И Дайверы начали вдруг, – как если бы приглушенный, странный смешок миссис Мак-Киско сказал им, что их гости уже достигли полной отрешенности от мира, – теплеть, светиться и расширяться, словно желая вернуть им, столь умело убежденным в их значимости, столь польщенным любезностью оказанного им приема, все, что они оставили в своей далекой стране, все, по чему скучали. Всего лишь на миг создалось впечатление, что Дайверы обращаются ко всем и каждому, кто сидел за столом, заверяя их в своем расположении к ним, в привязанности. И на миг лица, повернувшиеся к ним, стали лицами бедных детей на рождественской елке. А затем это единение распалось – миг, в который гости отважно воспарили над своей веселой компанией в разреженный воздух вдохновенных чувств, миновал прежде, чем они успели непочтительно вдохнуть его, и даже прежде, чем успели хотя бы наполовину понять, куда попали.

Однако в них вошла рассеянная повсюду вокруг магия горячего, сладкого Юга – она покинула шедшую на мягких лапах ночь и призрачный плеск Средиземного моря далеко внизу и растворилась в Дайверах, став частью их существа. Розмари наблюдала за тем, как Николь убеждает ее мать принять в подарок понравившуюся той желтую туалетную сумочку, говоря: «По-моему, вещи должны принадлежать тем, кому они по душе», как считает в нее все желтое, что смогла отыскать – карандаш, тубус губной помады, маленькую записную книжку – «все это один набор».

Николь ушла, а вскоре Розмари обнаружила, что и Дик покинул гостей, и одни разбрелись по саду, другие стали понемногу стекаться к террасе.

– Вы не хотите, – спросила у Розмари Виолетта Мак-Киско, – заглянуть в ванную комнату?

– Только не сейчас.

– А я, – объявила миссис Мак-Киско, – хочу заглянуть в ванную комнату.

И она – женщина прямая, откровенная – направилась к дому, унося с собой свою тайну, и Розмари проводила ее неодобрительным взглядом. Эрл Брейди предложил Розмари спуститься к стенке над морем, однако она чувствовала, что для нее настало время получить свою долю

³⁰ Френсис Бёрнетт (1849–1924) – американская писательница, автор сентиментальных детских книг («Маленький лорд Фаунтлерой»).

Дика Дайвера, когда тот вернется, и потому осталась сидеть за столом, слушая препирательства Мак-Киско с Барбаном.

– Почему вы хотите воевать с Советами? – насакивал на него Мак-Киско. – С величайшим экспериментом, какой поставило человечество? Есть же Риф. По-моему, в том, чтобы сражаться на правой стороне, героизма больше.

– А как вы узнаете, какая из них правая? – сухо осведомился Барбан.

– Ну... как правило, это ясно любому разумному человеку.

– Вы коммунист?

– Я социалист, – ответил Мак-Киско. – И Россия мне симпатична.

– Ладно, а я солдат, – приятным тоном уведомил его Барбан. – Моя работа – убивать людей. Я воевал с Рифом, потому что я европеец, и воевал с коммунистами, потому что они хотят забрать мою собственность.

– Из всех узколобых объяснений... – Мак-Киско завертел головой, надеясь образовать с кем-нибудь иронический союз, но никого не нашел. Он не понимал, с чем встретился в Барбане, ничего не знал ни о простоте его идей, ни о сложности подготовки. Нет, что такое идеи, Мак-Киско, конечно, знал и по мере развития его сознания обретал способность распознавать и раскладывать по полочкам все большее их число, – однако столкнувшись с человеком, которого он счел «тупицей», в котором не обнаружил вообще никаких знакомых ему идей, но личного превосходства над ним почувствовать все же не смог, пришел к заключению, что Барбан есть конечный продукт старого мира и, как таковой, ничего не стоит. Встречи Мак-Киско с представителями высших классов Америки оставили его при впечатлении, что они – неопределенные и косные снобы, которые упиваются своим невежеством и нарочитой грубостью, перенятыми у англичан, при этом он как-то забыл, что английское филистерство и грубость были умышленными, а применялись они в стране, позволявшей неотесанным малознайкам добиваться большего, чем где бы то ни было в мире, – идея, достигшая высшего развития в «гарвардских манерах» примерно 1900 года. Вот и Барбан, решил Мак-Киско, тоже «из этих», а будучи пьяным, торопливо забыл о своей зависти к нему, – что и привело его к нынешнему неприятному положению.

Розмари испытывала смутный стыд за поведение Мак-Киско, однако сидела внешне безмятежная, но пожираемая внутренним пламенем, и ждала возвращения Дика Дайвера. Со своего места за опустевшим, если не считать Барбана, Мак-Киско и Эйба, столом она видела тропинку, шедшую вдоль зарослей папоротника и мирта к террасе, и любовалась профилем матери в освещенном проеме двери – и почти уж собралась пойти к ней, как вдруг из дома выскочила миссис Мак-Киско.

Возбуждение словно прыскало из каждой ее поры. По одному только молчанию, с которым она отодвинула от стола кресло и села, по ее широко раскрытым глазам, по немного подергивавшемуся рту все поняли, что перед ними женщина, распираемая новостями, и все устали на нее, и вопрос ее мужа: «В чем дело, Ви?» прозвучал совершенно естественно.

– Дорогая... – сказала она всем сразу, а затем повернулась к Розмари, – дорогая... нет, ничего. Я, право же, не могу и слова выговорить.

– Вы здесь среди друзей, – сказал Эйб.

– В общем, дорогие мои, я увидела наверху такую сцену, что...

Она умолкла, загадочно покачивая головой, и очень вовремя, поскольку Томми встал из-за стола и сказал ей вежливо, но резко:

– Не советую вам распространяться о том, что происходит в этом доме.

VIII

Виолетта вздохнула – тяжело и шумно – и постаралась изменить, что далось ей не без труда, выражение лица.

Наконец появился Дик, и безошибочный инстинкт велел ему разлучить Барбана и Мак-Киско и завести с последним, изображая любознательность и полное невежество, разговор о литературе, наконец-то позволивший Мак-Киско почувствовать столь необходимое ему превосходство. Потом все, кто оказался поблизости, помогли Дику перенести в дом лампы – кому же не по душе прогулка в темноте с горящей лампой в руках, да еще и с чувством исполнения полезного дела? Розмари тоже участвовала в этом шествии, терпеливо удовлетворяя тем временем неисчерпаемое любопытство Ройала Дамфри касательно всего, относящегося к Голливуду.

«Теперь, – думала она, – я заслужила возможность какое-то время побыть с ним наедине. Он и сам должен понимать это, потому что живет по тем же законам, какие преподавала мне мама».

Розмари угадала верно, спустя недолгое время Дик разлучил ее со сбившейся на террасе компанией, и они вдвоем направились от дома к стене над морем, – Розмари не столько шла, сколько совершала равномерные шаги, то подчиняясь тянувшей ее вперед руке Дика, то вспархивая, как легкий ветерок.

Оба вглядывались в Средиземное море. Далеко внизу бухту пересекал, возвращаясь на один из Леринских островов, последний прогулочный катер, плывший точно воздушный шарик, отпущенный в небо Четвертого июля. Плыл между черными островами, ласково рассекая темные волны отлива.

– Я понял, почему вы так говорите о вашей матери, – сказал Дик. – По-моему, и она замечательно к вам относится. Ей присуща мудрость того разряда, какой в Америке встречается редко.

– Мама – само совершенство, – благоговейно произнесла Розмари.

– Я переговорил с ней о возникшем у меня плане, и она сказала, что продолжительность ее и вашего пребывания во Франции зависит только от вас.

«От *тебя*», – едва не выпалила вслух Розмари.

– А поскольку здесь все заканчивается...

– Заканчивается? – переспросила она.

– Ну да, заканчивается эта часть лета. На прошлой неделе уехала сестра Николь, завтра уезжает Томми Барбан. А в понедельник – Эйб с Мэри. Быть может, попозже летом тут и будет происходить что-нибудь занятное, но нынешнему веселью приходит конец. И мне хочется, чтобы оно погибло насильственной смертью, а не угасало сентиментально, – потому я и устроил сегодняшний обед. Я вот к чему клоню – мы с Николь собираемся в Париж, проводить отбывающего в Америку Эйба Норта, ну я и подумал, может быть, и вам захочется поехать с нами.

– А что говорит мама?

– По-моему, идея моя ей понравилась. Сама она ехать туда не хочет. Ей хочется, чтобы мы отправились в Париж без нее.

– Я не видела Парижа, с тех пор как выросла, – сказала Розмари. – С удовольствием посмотрела бы на него вместе с вами.

– Вы очень любезны. – Показалось ей или в голосе Дика и вправду вдруг зазвучал металл? – Знаете, вы ведь разволновали наше воображение, едва появившись на пляже. Столько живой энергии – мы были уверены, в особенности Николь, что это у вас профессиональное. Не стоит тратить ее – ни на отдельного человека, ни на компанию.

Интуиция Розмари словно криком кричала: он понемногу отдаляется от тебя, уходит к Николь, – и она попыталась задержать его, сказав с не меньшей сдержанностью:

– Мне тоже хотелось бы узнать о вас все – особенно о вас. Я уже говорила, что полюбила вас с первого взгляда.

Это был правильный ход. Однако расстояние, отделяющее небеса от земли, остудило душу Дика, убило порыв, который заставил его привести сюда Розмари, внушило мысль о слишком очевидной привлекательности этого соблазна, о том, что не стоит играть не выученную им роль в неотрепетированной сцене.

И он попытался внушить ей желание вернуться в дом, но это было непросто, а совсем потерять Розмари ему не хотелось. Она же, услышав его добродушную шутку: «Вы сами не знаете, чего хотите. Вам лучше у мамы об этом спросить», – ощутила лишь, как на нее повеяло холодком.

Розмари словно гром поразил. Она прикоснулась к Дику, и гладкая ткань его костюма показалась ей подобием ризы. Она подумала, что сейчас упадет на колени – и решила сказать напоследок:

– По-моему, вы самый чудесный человек, какого я знаю, – если не считать маму.

– Вы чересчур романтичны.

Смех Дика понес их, словно ветерок, к террасе, и там он сдал Розмари на руки Николь...

А очень скоро наступило время прощания, и Дайверы постарались, чтобы оно не затягивалось. В их большой «изотте» должен был ехать Томми Барбан со своим багажом, – ему предстояло провести ночь в отеле, так легче было попасть на ранний поезд, – компанию Томми составляли миссис Абрамс, чета Мак-Киско и Кэмпбелл. Направлявшийся в Монте-Карло Эрл Брейди предложил забросить Розмари с матерью в их отель, с ними поехал и Ройал Дамфри, для которого места в машине Дайверов не осталось. Садовые фонари еще горели вокруг стола, за которым все они обедали. Дайверы бок о бок стояли у ворот, заново расцветшая Николь одаривала своей грациозностью ночь, Дик прощался с каждым гостем отдельно, называя его по имени. Розмари казалась мучительной мысль, что она уедет, а Дайверы останутся в своем доме. И она подумала снова: что же такое увидела из ванной комнаты миссис Мак-Киско?

IX

Черная, хоть и ясная ночь свисала, будто корзина с гвоздя, с единственной тусклой звезды. Напор плотного воздуха приглушал гудочки шедшей впереди машины. Шофер Брейди предпочитал езду неспешную – хвостовые огни первой машины появлялись время от времени, когда он поворачивал вместе с дорогой, но затем исчезли совсем. Однако минут десять спустя показались снова – на обочине. Шофер Брейди притормозил немного, но тут лимузин Дайверов медленно стронулся с места. Обгоняя лимузин, они услышали горланившие в нем невнятные голоса и увидели, что водитель его ухмыляется. Потом они ехали сквозь быстро сменявшие друг друга наслоения тьмы, и в конце концов прозрачная ночь привела их по обротившейся в «русские горки» дороге к громаде госсовского отеля.

Часа три Розмари продремала, а после лежала без сна в гамаке лунного света. Окутанная эротическим сумраком, она перебирала в голове различные возможности, способные привести к поцелую, но вскоре исчерпала все – да и сам поцелуй получался у нее каким-то расплывчатым, киношным. Она вертелась с боку на бок, – то была первая в ее жизни бессонница, – и старалась представить, как взялась бы за разрешение ее сложностей мама. При этом она не раз и не два выходила далеко за пределы собственного опыта, вспоминая обрывки давних, слышанных ею вполуха разговоров.

Розмари росла с мыслью о труде. Миссис Спирс расходовала скудные средства, оставленные ей мужьями, на образование дочери, а когда та в шестнадцать лет расцвела, – чего стоили

одни только волосы, – отвезла ее в Экс-ле-Бен и без какой бы то ни было предварительной договоренности привела в номер отеля, где приходил в себя после болезни американский продюсер. И когда продюсер поехал в Нью-Йорк, они поехали с ним. Так Розмари сдала вступительный экзамен. Потом – обещавший относительный достаток успех – и этой ночью миссис Спирс сочла себя вправе тактично объясниться с дочерью:

– Ты воспитана для труда – не для одного лишь замужества. Теперь тебе подвернулся первый орешек, который придется разгрызть, и это хороший орешек – так действуй и откладывай все, что с тобой случится, в копилку твоего опыта. Сделай больно себе или ему – что бы ни случилось, оно тебя не разорит, потому что, экономически говоря, ты не девушка, а молодой мужчина.

Размышлять помногу Розмари не привыкла – разве что о безграничных достоинствах своей матери, – и потому этот окончательный обрыв пуповины лишил ее сна. Зодиакальный свет словно давил на высокие французские окна, и Розмари встала и вышла, чтобы согреть босые ступни, на террасу. Воздух пронизывали загадочные звуки; в кроне дерева, что стояло у теннисного корта, некая упорная птичка одерживала один порочный триумф за другим; с закругленной подъездной дорожки за отелем доносились чьи-то шаги, звучание которых определялось сначала пыльной дорогой, затем щебенкой, затем бетонными ступенями, а после все повторилось в обратном порядке, и шаги удалились. В далекой высоте проступала над чернильным морем черная тень холма, на котором жили Дайверы. Розмари подумала, что сейчас они там вдвоем, и словно услышала, как они все еще поют еле слышную песню, похожую на встающий в небо дым, на гимн, такой далекий от нее во времени и пространстве. Дети их спят, калитка заперта на ночь.

Она возвратилась в номер, набросила легкий халат, вставила ступни в эспадрильи и снова вышла через окно и пошла по непрерывающейся террасе к главной двери отеля – быстро, поскольку чувствовала, минуя чужие окна, наплывы истекающего из них сна. И остановилась, увидев сидевшего на широких белых ступенях парадной лестницы человека, и вскоре поняла – это Луи Кэмпиион, да еще и плачущий.

Плакал он тихо, но истово, и тело его подрагивало в точности там, где подрагивает у плачущей женщины. Розмари поневоле вспомнила сцену, сыгранную ею в прошлом году, и спустившись по ступеням, тронула его за плечо. Кэмпиион тихо взвизгнул, но тут же ее и узнал.

– Что с вами стряслось? – Взгляд Розмари был спокоен, добр и не впивался в него с жестоким любопытством. – Я могу вам помочь?

– Мне никто не может помочь. Я всегда это знал. И винить мне, кроме себя, некого. Вечно одно и то же.

– Так что случилось – вы не хотите мне рассказать?

Кэмпиион посмотрел на нее, подумал.

– Нет, – решительно произнес он. – Станете постарше, узнаете, какие страдания причиняет людям любовь. Какие муки. Лучше быть юным и холодным, чем любить. Со мной это и раньше случалось, но такого еще не бывало – такой внезапности, – а ведь как хорошо все складывалось.

Физиономия его выглядела в разгоравшемся свете кошмарно. Ни единым движением лица или малейшей мышцы она не выдала внезапно охватившего ее отвращения. Однако обладавший тонким чутьем Кэмпиион уловил его и резко сменил тему.

– Тут где-то должен быть Эйб Норт.

– Как это? Он же у Дайверов живет!

– Живет, но ему пришлось... вы разве не знаете, что случилось?

Неожиданно двумя этажами выше их распахнулась ставня и несомненно английский голос рывкнул:

– *Будьте любезны, умолкните!*

Розмари и Луи Кэмпиион покорно спустились по ступенькам и направились к скамейке, врытой на дорожке, ведущей к пляжу.

– Так вы ничего не знаете? Дорогая моя, произошло нечто из ряда вон... – Он понемногу оживлялся, готовясь сообщить сногшибательную новость. – В жизни не видел, чтобы все так вдруг... я всегда сторонился людей, склонных к насилию... встречи с ними на несколько дней укладывают меня в постель.

В глазах его уже блистало торжество. Розмари решительно не понимала, о чем он толкует.

– Дорогая моя, – выпалил он и коснулся ее бедра, сразу склонившись к ней всем телом, дабы показать, что прикосновение это не было с его стороны безответственной предприимчивостью – к Кэмпииону определенно возвращалась уверенность в себе. – Нас ожидает дуэль!

– Что-о?

– Дуэль на... на чем, пока не знаю.

– Между кем и кем?

– Давайте я вам все с самого начала расскажу. – Кэмпиион набрал полную грудь воздуха и начал таким тоном, точно виновата во всем была она, однако он готов закрыть на это глаза. – Конечно, вы ехали в другом автомобиле. Что же, в определенном смысле вам повезло... Мне это обошлось в два года жизни, самое малое, – так неожиданно все случилось.

– Да что же произошло-то? – требовательно спросила она.

– Не знаю, с чего и начать. Сначала она принялась рассказывать...

– Кто?

– Виолетта Мак-Киско, – он понизил голос, словно не желая, чтобы его услышали прятавшиеся под скамейкой люди. – Только Дайверам ни-ни, потому что каждому, кто хоть слово им скажет, он грозился...

– Кто – он?

– Томми Барбан, так что вы уж не выдавайте меня. Никто из нас не понял ни слова из того, что пыталась рассказать Виолетта, потому что он все время перебивал ее, а потом вмешался муж, и вот, пожалуйста, дорогая моя, – дуэль. Нынче утром, в пять, всего час остался. – Кэмпиион вздохнул, внезапно вспомнив о собственных горестях. – Мне почти что *хочется* окатиться на его месте. Ну убьют меня, ну и пусть, все равно моя жизнь бессмысленна.

Он умолк и принялся в печали раскачиваться взад-вперед.

Вверху снова распахнулся чугунный ставень, и английский голос потребовал:

– *Нет, ну ей-богу, прекратите сию же минуту!*

И в тот же миг из отеля вышел явно расстроенный чем-то Эйб Норт и увидел на фоне белевшего над морем неба их силуэты. Розмари, не дав ему открыть рот, предостерегающе покачала головой, все трое прошли по дорожке к следующей скамье. Только там Розмари заметила, что Эйб немного под мухой.

– А *вы-то* почему не спите? – спросил он.

– Да просто проснулась, – она чуть не засмеялась, но, вспомнив о голосе свыше, сдержалась.

– Соловей допек, – догадался Эйб и сразу поправился, – наверное. Ну что, этот распорядитель кружка кройки и шитья уже поведал вам о случившемся?

Кэмпиион с достоинством произнес:

– Я знаю только то, что слышал своими ушами.

После чего встал и торопливо удалился. Эйб остался с Розмари.

– Почему вы с ним так неласковы?

– Я? – удивился Эйб. – Да он тут полночи слезу точил.

– Ну, может быть, у него горе какое-то.

– Может быть, может быть.

– Так что за дуэль? Между кем и кем? Мне сразу показалось, что у них в машине что-то неладно. Это правда?

– Полоумие полное, но правда.

Х

– Скандал разразился, как раз когда автомобиль Эрла Брейди проезжал мимо остановившейся у обочины машины Дайверов, – так начал Эйб свой беспристрастный рассказ об этой переполненной людьми и событиями ночи, – Виолетта Мак-Киско надумала поведать миссис Абрамс то, что она узнала о Дайверах, – поднявшись на второй этаж их дома. Виолетта увидела там нечто, сильно ее поразившее. Однако Томми неколебимо стоял на страже дайверовских интересов. Конечно, она, Виолетта, особа вздорная и опасная, но это – вопрос личного отношения к ней, Дайверы же, как целое, имели для их друзей значение куда более серьезное, чем многие из них полагали. Естественно, это требовало от друзей определенных жертв – временами Дайверы кажутся всем не более чем чарующей балетной парой, недостойной внимания, превышающего то, какое мы уделяем сцене, и все-таки в отношении к ним присутствует нечто большее – у людей, знающих их историю. Так или иначе, Томми был одним из тех, кому Дик доверил заботу о спокойствии Николь, и когда миссис Мак-Киско позволила себе намекнуть на ее прошлое, отнесся к этому неодобрительно. И сказал:

– Миссис Мак-Киско, будьте любезны, не говорите ничего о миссис Дайвер.

– Я не с вами разговариваю, – огрызнулась она.

– Я полагаю, что вам лучше оставить Дайверов в покое.

– Они что, неприкосновенны?

– Оставьте их в покое. Найдите другую тему для разговора.

Он сидел рядом с Кэмпбином, на откидном сиденье. Мне все это Кэмпбон рассказал.

– А чего это вы тут раскомандовались? – поинтересовалась Виолетта.

Сами знаете, что такое разговоры, ведущиеся поздней ночью в машине, – одни бормочут что-то, другие, изнуренные вечеринкой, их не слушают, или дремлют, или просто томятся скукой. Так вот, некоторые из тех, кто ехал в машине Дайверов, поняли, что происходит, лишь когда машина остановилась и Барбан проревел громовым, перепугавшим всех голосом, каким только кавалерию на помощь призывать:

– Если вам угодно, выйдите здесь, – до отеля не больше мили, дойдете и пешком, а нет – так я вас как-нибудь доволоку. *Заткните вашей жене рот, Мак-Киско!*

– Вы грубиян, – ответил Мак-Киско. – Знаете, что вы сильнее меня. Да только я вас не боюсь, и если бы у нас существовал дуэльный кодекс...

Вот это было его ошибкой, потому что Томми – француз как-никак – потянулся к нему и ударил его по щеке, и шофер сразу стронул машину с места. Тогда-то вы мимо них и проехали. Женщины завопили. Так они в отель и прибыли.

Томми телефонировал в Канны знакомому, подрядил его в секунданты, Мак-Киско заявил, что видеть Кэмпбиона в секундантах не желает, – да тот, собственно говоря, не очень-то и навязывался, и потому позвонил мне, ничего, правда, не сказав, лишь попросив немедленно приехать. Виолетта Мак-Киско грохнулась в обморок, миссис Абрамс привела ее в чувство, оттащила в свой номер, напоила бромом и уложила в постель. Добравшись сюда, я попытался урезонить Томми, но тот и слышать ни о чем, кроме извинений, не желал, а пьяный Мак-Киско извиняться не собирался.

Когда Эйб закончил, Розмари, подумав немного, спросила:

– Дайверы знают об этом?

– Нет, и не должны узнать. Чертов Кэмпиион не имел права рассказывать вам что-либо, но раз уж рассказал... шоферу я объяснил, что, если он хотя бы рот раскроет, ему придется познакомиться с моей музыкальной пилой. Это мужская ссора, – впрочем, Томми давно уж не терпится повоевать.

– Надеюсь, Дайверы ничего и не узнают, – сказала Розмари.

Эйб посмотрел на часы.

– Я собираюсь подняться наверх, поговорить с Мак-Киско, – хотите составить мне компанию? – а то ему кажется, что у него совсем друзей не осталось. Уверен, он не спит.

Розмари представила себе отчаянное ночное бдение этого нервного, расхлябанного человека. И, поколебавшись между жалостью и неприязнью, приняла предложение Эйба и поднялась с ним, пышущая утренней бодростью, наверх.

Мак-Киско сидел на кровати, пьяноватая воинственность его испарилась, хоть он и держал в руке бокал с шампанским. Выглядел он крошечным, злым, смертельно бледным. Не приходилось сомневаться, что он всю ночь пил и писал. Растерянно взглянув на Эйба и Розмари, он спросил:

– Что, уже пора?

– Нет, еще полчаса осталось.

Стол покрывали листы писчей бумаги – длинное, не без затруднений составленное письмо; последние страницы его были исписаны крупным, но почти неразборчивым почерком. В нежном, выцветавшем свете электрических ламп Мак-Киско нацарапал внизу свое имя, запахал листы, смяв их, в конверт и протянул его Эйбу:

– Это жене.

– Вы бы сунули голову под струю холодной воды, – предложил Эйб.

– Думаете, поможет? – с сомнением спросил Мак-Киско. – Да и совсем протрезветь мне как-то не хочется.

– Ну, пока на вас и смотреть-то страшно.

Мак-Киско послушно удалился в ванную комнату.

– Я оставляю все в жутком беспорядке, – сообщил он оттуда. – Даже не знаю, как Виолетте удастся вернуться в Америку. Страховки у меня нет. Я так и не собрался обзавестись ею.

– Перестаньте глупости говорить. Через час вы будете сидеть здесь и завтракать.

– Конечно, я знаю. – Он вышел с мокрой головой из ванной комнаты и уставился на Розмари так, точно увидел ее впервые в жизни. Внезапно глаза его наполнились слезами. – И романа я не закончил. Так обидно. Я вам не нравлюсь, – сказал он Розмари, – ну да что тут поделаешь. Я человек по преимуществу литературный, – он издал какой-то вялый, унылый звук, беспомощно покачал головой. – Столько ошибок совершил в жизни – не сосчитать. А ведь был когда-то из самых выдающихся – в определенном смысле...

Тема эта утомила его, и он ее бросил и попытался затянуться погасшей сигаретой.

– Нравиться-то вы мне нравитесь, – сказала Розмари, – но я не думаю, что вам стоит драться на дуэли.

– Да, надо было отлупить его, но чего уж теперь. Я позволил втянуть себя в историю, которая мне не к лицу. У меня, знаете ли, нрав очень вспыльчивый... – Он наставил на Эйба пристальный взгляд, словно ожидая от него возражений. А затем с испуганным смешком снова поднял к губам погасший окурок. Дыхание его участилось. – Вся беда в том, что дуэль-то я сам предложил, – если бы Виолетта заткнулась, я бы все уладил. Конечно, я и сейчас могу просто-напросто уехать или сидеть здесь, смеясь над этой глупостью, да только не думаю, что Виолетта смогла бы тогда сохранить уважение ко мне.

– Конечно, смогла бы, – сказала Розмари, – еще и большее, чем сейчас.

– Нет, вы ее не знаете. Стоит дать ей преимущество перед вами, и с ней становится так трудно. Мы женаты двенадцать лет, у нас была дочь, она умерла семилетней, а после такого

сами знаете, что бывает. Мы оба немного пошаливали на стороне, ничего серьезного, однако это разделяет людей, – и сегодня ночью она назвала меня трусом.

Розмари испугалась, но промолчала.

– Ладно, постараемся обойтись без серьезных последствий, – сказал Эйб и открыл принесенную им с собой кожаную шкатулку. – Вот дуэльные пистолеты Барбана, я прихватил их, чтобы вы с ними освоились. Он возит их с собой в чемодане.

Эйб взвесил архаическое оружие на ладони. Розмари испуганно вскрикнула, Мак-Киско тревожно взглянул в пистолеты.

– Ну, хотя бы дырывать друг друга из «сорок пятого» нам не придется, – сказал он.

– Не знаю, – отозвался жестокий Эйб. – Предполагается, что чем длиннее дуло, тем вернее прицел.

– А что насчет расстояния? – спросил Мак-Киско.

– Я тоже этим поинтересовался. Если одна из сторон желает смерти другой, они стреляются на восьми шагах, если готова довольствоваться простой раной, – на двадцати, ну а когда дело идет лишь о защите чести, – на сорока. Я с его секундантом о сорока и договорился.

– Это хорошо.

– В романе Пушкина, – припомнил Эйб, – описана замечательная дуэль. Противники стояли на краю пропасти, и если один попадал в другого, тому неминуемо приходил конец.

Мак-Киско это определенно показалось слишком несовременным и умозрительным – он вытаращил глаза и переспросил:

– Как это?

– Вы не хотите окунуться в море, освежиться немного?

– Нет... нет, я и плавать-то как следует не умею. – Мак-Киско вздохнул и беспомощно признался: – Не понимаю, к чему все это. И почему я в это влез.

То был первый по-настоящему серьезный поступок в его жизни. В сущности, Мак-Киско принадлежал к тем, для кого чувственного мира попросту не существует, и, столкнувшись лицом к лицу с конкретным его проявлением, он испытал непомерное удивление.

– В общем-то, пора идти, – сказал Эйб, поняв, что Мак-Киско совсем раскис.

– Ладно, – тот глотнул из фляжки, сунул ее в карман и спросил не без свирепости: – А что будет, если я его убью, – меня в тюрьму посадят?

– Я помогу вам бежать через итальянскую границу.

Мак-Киско взглянул в лицо Розмари и, словно извиняясь, сказал Эйбу:

– Перед тем как мы поедem, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.

– Надеюсь, никто из вас не пострадает, – сказала Розмари. – По-моему, вы совершаете страшную глупость – постарайтесь все-таки обойтись без нее.

XI

Внизу, в пустом вестибюле, она увидела Кэмпiona.

– Я заметил, вы наверх поднимались! – возбужденно воскликнул он. – Как там? Когда дуэль?

– Не знаю.

Ей не понравилось, что КэмпIon говорит о дуэли, как о цирковом представлении с Мак-Киско в роли печального клоуна.

– Поедете со мной? – спросил он тоном человека, предлагающего хорошие места в партере. – Я нанял отельную машину.

– Нет, не хочу.

– Почему? Думаю, мне это обойдется в несколько лет жизни, но я не обменял бы такое событие ни на какие рассказы о нем. Мы на все издали посмотрим.

– Возьмите с собой Дамфри.

Монокль выпал из глазницы Кэмпiona, и, поскольку усы, в которых могло бы укрыться стеклышко, на сей раз отсутствовали, Кэмпion вернул его назад.

– Я его знать больше не желаю.

– Что же, боюсь, я с вами поехать не смогу. Это не понравится маме.

Как только Розмари вошла в свою спальню, миссис Спирс повернулась в постели и окликнула ее:

– Ты где была?

– Не смогла заснуть. Спи, мама.

– Иди сюда.

Розмари, услышав, как она садится, вошла в ее спальню и рассказала о том, что происходит.

– Почему бы тебе я вправду не поехать, не посмотреть? – спросила миссис Спирс. – Близко к ним тебе подходить не придется, но ведь после кому-то может потребоваться твоя помощь.

Розмари представила себя в роли зрительницы, картина эта не понравилась ей, она попыталась возразить матери, однако сознание миссис Спирс было еще затуманено сном, к тому же она хорошо помнила пору, когда была женой врача, и помнила, как мужа вызывали ночами к умирающим и к людям, попавшим в беду.

– Нужно, чтобы ты сама решала, куда тебе пойти и как поступить, а обо мне не думала, – к тому же, снимаясь у Рэйни в рекламе, ты делала вещи и потруднее.

Розмари все равно не понимала, зачем ей ехать на место дуэли, но подчинилась уверенному, ясному голосу, который когда-то направил ее, двенадцатилетнюю, в служебную дверь парижского «Одеона», а после встретил у той же двери.

Выйдя на крыльцо отеля, она увидела увозившую Эйба и Мак-Киско машину и решила, что ей все же удалось отвертеться, но тут из-за угла показалась вторая. Упоенно попискивая, Луи Кэмпion втянул Розмари в дверцу и усадил рядом с собой.

– Я спрятался там, потому что они могли запретить нам ехать за ними. Видите, я даже кинокамеру прихватил.

Розмари беспомощно усмехнулась. Он был ужасен настолько, что уже и ужасным-то не казался, а просто не походил на человека.

– Интересно, почему миссис Мак-Киско не любит Дайверов? – спросила она. – Они были с ней так любезны.

– Дело не в этом. Она что-то увидела. Но что именно, мы из-за Барбана так и не узнали.

– А, выходит, вас огорчил не ее рассказ.

– О нет, – дрогнувшим голосом ответил Кэмпion, – просто когда мы вернулись в отель, произошло кое-что еще. Но теперь мне все равно – я умыл руки, раз и навсегда.

Они ехали за первым, шедшим вдоль моря автомобилем на восток и миновали Жуан-ле-Пен, посреди которого подрастал скелет нового казино. Был уже пятый час, под голубовато-серым небом, тарахтя, уходили в серовато-зеленое море первые рыбачьи лодки. И вот передняя машина свернула от моря в глубь безлюдной местности.

– Поле для гольфа! – воскликнул Кэмпion. – Я так и знал.

Он был прав. Когда машина Эйба остановилась, небо на востоке уже окрасилось в обещающие знойный день красные с желтым тона. Велев водителю заехать в сосновую рощу, Кэмпion и Розмари обогнули, не покидая ее, выцветшее гладкое поле, по которому прохаживались вперед-назад Эйб с Мак-Киско, – последнее время от времени вздергивал кверху голову, точно принимающий кролик. В конце концов у дальней лунки показались двое, в которых наблюдатели признали Барбана и его французского секунданта – последний нес под мышкой футляр для пистолетов.

Вмиг оробев, Мак-Киско отступил за спину Эйба и надолго приложился к горлышку фляжки. Потом обогнул, закашлявшись, Эйба и направился напрямик к противникам, однако Эйб остановил его и пошел к ним сам, чтобы переговорить с французом. Солнце уже поднялось над горизонтом.

Кэмпиион вцепился в руку Розмари.

– Не могу, – почти неслышно проскулил он. – Это уже слишком. Это обойдется мне в...

– Пустите, – бесцеремонно приказала Розмари. И зашептала по-французски отчаянную молитву.

Дуэлянты стояли лицом к лицу, правый рукав рубашки Барбана был засучен. Глаза его тревожно поблескивали под солнцем, но движение, которым он вытер о штанину ладонь, было неторопливым. Мак-Киско, которого бренди обратило в бесшабашного храбреца, сложил губы так, точно надумал посвистеть, и стоял, равнодушно задрав длинный нос в небо, пока к нему не вернулся с носовым платком в руке Эйб. Француз глядел в сторону. Розмари затаила дыхание и стиснула зубы, ей было страшно жалко Мак-Киско, а Барбана она ненавидела.

– Один – два – три! – звенящим голосом отсчитал Эйб.

Они выстрелили одновременно. Мак-Киско покачнулся, но устоял. Оба промахнулись.

– Все, довольно! – крикнул Эйб.

Участники дуэли сошлись в кучку, все вопросительно смотрели на Барбана.

– Я не считаю себя удовлетворенным.

– Что? – нетерпеливо спросил Эйб. – Разумеется, вы удовлетворены. Просто еще не поняли это.

– Ваш подопечный не желает стреляться дальше?

– Вы дьявольски правы, Томми. Вы настаивали на дуэли, мой клиент пошел вам навстречу.

Томми презрительно усмехнулся.

– Расстояние было просто нелепым, – сказал он. – Я непривычен к подобным фарсам, а вашему клиенту следует помнить, что он не в Америке.

– Америка тут решительно ни при чем, – резко ответил Эйб. И добавил примирительно: – Все это зашло слишком далеко, Томми.

Последовали недолгие переговоры, затем Барбан кивнул Эйбу и холодно поклонился своему недавнему противнику.

– Пожимать друг другу руки они не будут? – спросил француз.

– Они уже знакомы, – ответил Эйб. И сказал Мак-Киско: – Пошли, пора возвращаться.

Они повернулись к машине Эйба, и Мак-Киско, внезапно возликовав, схватил его за руку.

– Минуту! – спохватился Эйб. – Нужно вернуть пистолет Томми. Вдруг он ему снова понадобится.

Мак-Киско протянул Эйбу пистолет и грубо сказал:

– Черт с ним. Скажите ему, что он может...

– Сказать, что вы хотите продолжить дуэль?

– Нет уж, хватит, – выкрикнул Мак-Киско. – Я и так хорошо себя показал, верно? Не струсил.

– Вы были здорово пьяны, – напрямик сказал Эйб.

– Ничего подобного.

– Ну, ничего так ничего.

– Да и какая разница – был, не был?

Самоуверенности в нем все прибавлялось, и на Эйба он смотрел уже возмущенно.

– Какая разница? – повторил он.

– Если вы ее не видите, не о чем и говорить.

– Вы разве не знаете, что во время войны вообще никто не просыхал?

– Ладно, оставим это.

Однако эпизод еще не завершился. Услышав нагоняющие их поспешные шаги, они обернулись и увидели врача.

– *Pardon, Messieurs*, – отдуваясь, произнес он. – *Voulez-vous régler mes honoraires? Naturellement c'est pour soins médicaux seulement. M. Barban n'a qu'un billet de mille et ne peut pas les régler et l'autre a laissé son porte-monnaie chez lui*³¹.

– Вот в чем на француза всегда можно положиться, – сказал Эйб и затем доктору: – *Combien?*³²

– Давайте я заплачу, – предложил Мак-Киско.

– Нет-нет, я при деньгах. А опасности мы все подвергались одинаковой.

Эйб расплатился с врачом, а Мак-Киско тем временем метнулся в кусты, и там его вырвало. После чего он, побледневший еще пуще прежнего, засеменил сквозь розовеющий утренний воздух вслед за Эйбом к машине.

Кэмпион, отдуваясь, лежал навзничь в зарослях – единственная жертва дуэли, – а Розмари, на которую вдруг напал истерический смех, пинала и пинала его обутой в эспадрилью ступней. Она не остановилась, пока Кэмпион не поднялся на ноги, – сейчас для нее было важным только одно: пройдет несколько часов, и она увидит на пляже человека, которого все еще называла про себя «Дайверами».

ХП

Ожидая Николь, они сидели вшестером в «Вуазене»: Розмари, Норты, Дик Дайвер и двое молодых французских музыкантов. Сидели и вглядывались в других посетителей ресторана, пытаясь определить, владеют ли те умением непринужденно вести себя на людях. Дик заявил, что ни одному американцу, кроме него, такое не присуще, вот они и искали пример, опровергающий это утверждение. Пока что положение их казалось безнадежным – никто из входивших в ресторан не выдерживал и десяти минут без того, чтобы не поднять руку к лицу.

– Не стоило нам отказываться от навощенных усов, – сказал Эйб. – Конечно, Дик не *единственный* раскованный человек...

– Разумеется, единственный.

– ...но, возможно, он единственный, кто бывает таким в трезвом виде.

Вошел хорошо одетый американец с двумя женщинами, – мигом усевшись за столик, они непринужденно и естественно заозирались по сторонам. Американец же внезапно заметил, что за ним наблюдают, и рука его судорожно дернулась вверх, дабы разглядить несуществующую складку на галстуке. В другой компании, стоявшей в ожидании столика, присутствовал мужчина, непрерывно похлопывавший себя ладонью по гладко выбритой щеке, а его собеседник то и дело машинально поднимал ко рту и опускал наполовину выкуренную, погасшую сигару. Одни, более удачливые, поправляли очки или теребили свою лицевую растительность, другие же, лишенные и тех и другой, проводили пальцами по своим безусым губам, а то и безнадежно подергивали себя за мочки ушей.

Появился прославленный генерал, и Эйб, положившись на первый год, проведенный стариком в Вест-Пойнте, – год, до истечения которого ни один кадет не вправе подать в отставку и от которого никто из них никогда не оправляется, – предложил Дику пари на пять долларов.

³¹ Прошу прощения, господа. Не могу ли я получить мой гонорар? Натурально, лишь за медицинскую помощь. Господин Барбан рассчитаться не может, у него с собой только купюра в тысячу франков, а другой господин оставил бумажник дома (фр.).

³² Сколько? (фр.)

Генерал стоял, ожидая, когда для него отыщут место, руки его свободно свисали по сторонам тела. Неожиданно он отвел их назад, словно собираясь прыгнуть в воду, и Дик сказал: «Ага!», полагая, что генерал утратил самообладание, однако тот мигом пришел в себя, и все снова затаили дыхание – впрочем, мучения их подходили к концу, гарсон уже отодвигал для генерала кресло...

И тут старого воина что-то прогневало, и правая рука его взлетела вверх, чтобы проехаться по безупречно подстриженной седой голове.

– Вот видите, – самодовольно произнес Дик. – Я – единственный.

Собственно говоря, Розмари в этом и не сомневалась. Дик, понимавший, что лучшей аудитории у него никогда не было, так веселил их компанию, что Розмари проникалась нетерпеливым неуважением ко всем, кто не сидел за их столиком. Они провели в Париже два дня, но мысленно так и остались под пляжным зонтом. Когда, как прошлой ночью, на балу в Пажеском корпусе, происходившее вокруг начинало пугать Розмари, которой только еще предстояло побывать на голливудском «Мэйферовском приеме», Дик приводил ее в чувство, начиная здороваться с окружающими, – не без разбора, ибо круг знакомых был у Дайверов, по всему судя, обширный. неизменно оказывалось, что человек, к которому Дик обращался, не видел их невесть какое долгое время и встреча с ними его бесконечно радовала: «Бог ты мой, где же вы *прятались*?» – после чего Дайвер возвращался, восстанавливая ее единство, к своей компании, мягко, но навсегда отваживая каким-нибудь ироническим *coup de grâce*³³ пытавшихся пролезть в нее чужаков. И Розмари начинало казаться, что она знала этих чужаков в каком-то достойном сожаления прошлом, но, сойдясь с ними поближе, отвергла их, сбросила со счетов.

Компания была поразительно американской, а временами и вовсе не американской. Дик возвращал тем, кто входил в нее, их самих, прежних, еще не замаранных многолетними компромиссами.

Николь появилась в темном, дымном, пропахшем расставленной по буфетной стойке жирной сырой едой ресторане, похожая в ее небесно-голубом костюме на заблудившийся кусочек стоявшей снаружи погоды. Поняв по глазам ожидавших ее, что она прекрасна, Николь поблагодарила их лучезарной улыбкой признательности. Поначалу они были очень милы, обходительны и все такое. Затем это их утомило, и они стали забавно язвительными, а устав и от этого, принялись строить планы, множество планов. Они смеялись над чем-то (и не могли потом точно вспомнить, над чем) – смеялись долго, мужчины успели прикончить три бутылки вина. Троица сидевших за столом женщин представляла великие и вечные изменения американской жизни. Николь приходилась внучкой и поднявшемуся из низов американскому капиталисту, и графу из рода Липпе-Вайссенфельд. Мэри Норт была дочерью мастера-обоищика, но среди ее предков числился и президент Тайлер. Розмари, происходившую из самой середины среднего класса, забросила на никем пока не исследованные вершины Голливуда ее мать. Их сходство друг с дружкой и отличие от столь многих женщин Америки состояло в том, что они были счастливы жить в мире, созданном мужчинами, – каждая сберегала свою индивидуальность с помощью мужчины, а не в противоборстве с ними. Каждая могла стать и прекрасной куртизанкой, и прекрасной женой – и не по случайности рождения, а по случайности еще большей: вследствие встречи или невстречи – со своим мужчиной.

Итак, Розмари находила приятным и это общество, и этот завтрак, тем более что людей за столом было семеро, а это – почти предельный размер хорошей компании. Возможно, и то, что она была человеком в их мире новым, действовало на них как катализатор, помогавший отбросить давние сомнения, питаемые ими насчет друг друга. Когда все поднялись из-за стола, гарсон направил Розмари в темное нутро, имеющееся у каждого французского ресторана; там она полистала под тусклой оранжевой лампочкой телефонную книгу и позвонила в компанию

³³ Смертельный, решающий удар (*фр.*).

«Франко-американские фильмы». Да, конечно, у них имеется копия «Папенькиной дочки» – сейчас она на руках, но под конец недели они смогут устроить для нее просмотр на улице Святых Ангелов, дом 341, – ей нужно будет спросить мистера Краудера.

Накрывавший телефон колпак висел, собственно говоря, на тыльной стене гардероба, и, повесив трубку, Розмари услышала футах в пяти от себя, за рядом плащей на плечиках, два негромких голоса.

– ...так ты любишь меня?

– О да!

Это была Николь. Розмари замерла под колпаком, не решаясь выйти, – и тут прозвучал голос Дика:

– Я так хочу тебя – поедem сейчас в отель.

Николь тихо, прерывисто вздохнула. Смысл этих слов дошел до Розмари не сразу, но хватило и интонации, от бесконечной доверительности которой ее проняла дрожь.

– Хочу тебя.

– Я вернусь в отель к четверем.

Розмари стояла, не дыша, слушая удалявшиеся голоса. Поначалу она даже изумилась, ибо считала Дайверов – в том, что касалось их отношений друг с другом, – людьми, лишенными личных потребностей, может быть, даже холодными. Потом ее окатил мощный поток эмоций, сложных, но неуяснимых. Она не понимала, влекли ее произнесенные Диком слова или отталкивали, понимала лишь, что заделали за живое, и сильно. Возвращаясь в зал ресторана, она ощущала страшное одиночество, и все же вернуться туда следовало, в голове ее словно звучало эхо страстной благодарности, с которой Николь произнесла: «О да!» Точный настрой разговора, свидетельницей которого она стала, ей только еще предстояло уразуметь, однако, сколь ни далека от него была Розмари, сама душа ее говорила, что ничего дурного в нем нет, – она не испытывала отвращения, нападавшего на нее, когда ей приходилось разыгрывать на съемках некоторые любовные сцены.

Далека или не далека, однако она стала участницей происходившего, и этого уже не отметишь, и переходя с Николь из магазина в магазин, Розмари думала о назначенном свидании куда больше, чем сама Николь. Теперь Розмари смотрела на нее другими глазами, оценивала ее прелести заново. Конечно, Николь была самой привлекательной женщиной, какую Розмари когда-либо знала, – с ее твердостью, преданностью и верностью, с некоторой уклончивостью, которую Розмари, унаследовавшая от матери представления среднего класса, связывала с отношением Николь к деньгам. Сама Розмари тратила деньги, которые заработала, – она и в Европе то оказалась потому, что в тот январский день шесть раз бросалась в бассейн, пока температура ее ползала от утренних 99° до 103°, на которых мама прервала это занятие.

С помощью Николь она купила на эти деньги два платья, две шляпки и четыре пары туфелек. Николь производила покупки, заглядывая в длинный, занимавший два листа бумаги список – впрочем, она не отказывала себе и в том, что попадалось ей на глаза в витринах. Нравившиеся, но не нужные ей вещи она покупала в подарок кому-нибудь из друзей. Она купила цветные бусы, складные пляжные матрасики, искусственные цветы, мед, кровать для гостей, сумки, шарфы, попугаев-неразлучников, утварь для кукольного домика и три ярда новой ткани креветочного цвета. Купила дюжину купальных костюмов, каучукового аллигатора, дорожные шахматы из золота и слоновой кости, большие льняные носовые платки для Эйба, два замшевых жакета от «Эрме» – один синий, как зимородок, другой цвета неопалимой купины, – все это приобреталось отнюдь не так, как приобретает белье и драгоценности куртизанка высокого полета, для которой они суть профессиональная экипировка и страховка на будущее, но из соображений совершенно иных. Николь была продуктом высокой изобретательности и тяжелого труда. Это для нее поезда, выходя из Чикаго, прорезали округлое чрево континента, чтобы попасть в Калифорнию; дымили фабрики жевательной резинки, и все длиннее становились

конвейеры; рабочие смешивали в чанах зубную пасту и разливали по медным бочкам зубной эликсир; девушки быстро раскладывали в августе помидоры по консервным банкам, а в канун Рождества переругивались с покупателями в дешевых магазинах; метисы надрывались на бразильских кофейных плантациях, а изобретатели, пробившись в патентные бюро, узнавали, что их придумки уже использованы в новых тракторах, – и это были лишь немногие из тех, кого Николь облагала оброком: вся система, продвигаясь, шатко и с грохотом, вперед, давала Николь возможность лихорадочно предаваться таким ее обыкновениям, как залихватские закупки, и лицо ее румянилось от прилива крови – совсем как у пожарника, не покидающего свой пост, хоть на него и наползает стена огня. Она была иллюстрацией очень простых принципов, в самой себе содержащей свою роковую судьбу, и иллюстрацией настолько точной, что в исполняемой ею процедуре ощущалась грация, и Розмари решила попробовать когда-нибудь повторить ее.

Было почти четыре. Николь стояла с попугайчиком на плече посреди магазина – на нее напала, что случалось не часто, говорливость.

– Ну, а что было бы, не ныряй вы тогда в бассейн? Я иногда размышляю о подобных вещах. Знаете, перед самой войной – и перед самой смертью мамы – мы приехали в Берлин, мне было тогда тринадцать. Сестра собиралась на бал при Дворе, в ее бальной книжечке значились имена трех наследных принцев, это ей гофмейстер устроил. За полчаса до поездки туда у нее сильно закололо в боку, подскочила температура. Доктор сказал, что это аппендицит, что ей нужна операция. Но у мамы были свои планы: Бэйби, так зовут мою сестру, привязали под вечернее платье пузырь со льдом, и она отправилась на бал, и протанцевала до двух. А в семь утра ее прооперировали.

Выходит, жестоким быть хорошо; все приятные люди жестоки к себе. Но уже пробило четыре, и Розмари все думала о Дике, ожидающем Николь в отеле. Она должна ехать туда, не должна заставлять его ждать. «Ну почему ты не едешь?» – думала Розмари, а затем вдруг: «Если тебе не хочется, давай я поеду». Однако Николь зашла еще в один магазин, чтобы купить им обоим по лифчику и отправить один Мэри Норт. И лишь выйдя оттуда на улицу, похоже, вспомнила – лицо ее приобрело отрешенное выражение, и она помахала рукой, призывая такси.

– До свидания, – сказала Николь. – Хорошо погуляли, правда?

– Замечательно, – ответила Розмари. Это далось ей труднее, чем она думала, все в ней протестовало, пока она смотрела, как уезжает Николь.

XIII

Дик обогнул поперечный траверс и пошел по дощатому настилу траншеи. Дойдя до перископа, на миг припал к окуляру, затем встал на стрелковую приступку и заглянул поверх бруствера. Перед ним простирался под тусклым небом Бомон-Амель, слева вставала страшная высота Типваль. Дик оглядел их через полевой бинокль, и горло его сжала печаль.

Пройдя до конца окопа, он присоединился к своим спутникам, ожидавшим его у следующего траверса. Дика переполняло волнение и желание поделиться им с другими, рассказать, что здесь происходило, даром что сам-то он в боях не участвовал – в отличие от Эйба Норта.

– В то лето каждый фут этой земли стоил жизни двадцати солдатам, – сказал он Розмари. Та послушно окинула взглядом голую равнину с невысокими шестилетними деревьями. Добавь Дик, что они находятся под артиллерийским обстрелом, она поверила бы ему. Любовь Розмари достигла той грани, за которой она наконец почувствовала, что несчастна, что ее одолевает отчаяние. И что ей теперь делать, не знала, – очень хотелось поговорить с матерью.

– С того времени умерли многие, да и мы скоро там будем, – сообщил всем в утешение Эйб.

Розмари с нетерпением ожидала ответа Дика.

– Видите тот ручеек? Мы могли бы дойти до него минуты за две. А британцы проделали этот путь за месяц, – вся империя медленно продвигалась вперед, передовые бойцы гибли, и на их место проталкивали сзади новых. А еще одна империя очень медленно отступала на несколько дюймов в день, оставляя убитых, обретших сходство с горами окровавленных тряпок. Ни один европеец нашего поколения никогда больше не пойдет на это.

– Да они только что закончили с этим в Турции, – сказал Эйб. – А в Марокко...

– Там другое. Происходившее на Западном фронте повторить невозможно, во всяком случае, на долгое время. Молодые люди полагают, что у них это получится, – но нет. Они еще смогли бы сражаться в первой битве на Марне, но не в этой. Для *этой* требуется вера в Бога, долгие годы изобилия и огромной уверенности в будущем, строго определенные отношения между классами. Русские и итальянцы ничем на этом фронте не блеснули. Человеку требовалась тут благородная сентиментальная оснастка, корни которой уходили в незапамятные времена. Он должен был помнить празднования Рождества, почтовые открытки с изображением наследного принца и его нареченной, маленькие кафе Валанса и пивные под открытым небом на Унтер-ден-Линден, и обручения в мэрии, и поездки в Дерби, и бакенбарды своего дедушки.

– Сражения такого рода придумал еще генерал Грант – под Питерсбергом, в шестьдесят пятом.

– Нет, не он, Грант додумался всего лишь до массовой бойни. А такого рода сражения придумали Льюис Кэрролл, и Жюль Верн, и автор «Ундины», и игравшие в кегли сельские священники, и марсельские кумушки, и девушки, которых совращали в тихих проулках Вюртемберга и Вестфалии. Помилуйте, тут состоялась битва любви – средний класс оставил здесь столетие своей любви. И это была последняя такая битва.

– Вы норовите всучить командование здешним сражением Д. Г. Лоуренсу, – заметил Эйб.

– Весь мой прекрасный, любимый, надежный мир взлетел здесь на воздух при взрыве бризантной любви, – скорбно стоял на своем Дик. – Не правда ли, Розмари?

– Не знаю, – хмуро ответила она. – Это вы у нас все знаете.

Они немного отстали от остальных. Внезапно на головы их градом осыпались комья земли и камушки, а из следующего окопа донесся крик Эйба:

– Я снова проникся воинственным духом. Век любви штата Огайо стоит за моей спиной, и я намерен разбомбить ваш окоп.

Голова его высунулась из-за насыпи:

– Вы что, правил не знаете? Вы убиты, подорвались на гранате.

Розмари рассмеялась, Дик сгреб с земли ответную горсть камушков, но затем высыпал их из ладони.

– Я не могу шутить здесь, – сказал он почти извиняющимся тоном. – Порвалась серебряная цепочка, и у источника разбился золотой кувшин³⁴, и все такое, однако старый романтик вроде меня ничего с этим поделать не может.

– Я тоже романтик.

Они выбрались из старательно восстановленной траншеи и увидели перед собой мемориал Ньюфаундлендского полка. Прочитав надпись на нем, Розмари залилась слезами. Подобно большинству женщин, Розмари любила, когда ей объясняли, что она должна чувствовать, любила, чтобы Дик указывал ей, что смешно, а что печально. Но сильнее всего ей хотелось, чтобы он понял, как она любит его, – понял сейчас, когда само существование этой любви лишило ее душевного равновесия, когда она шла, словно в берущем за сердце сне, по полю боя.

Дойдя до машины, все уселись в нее и поехали обратно в Амьен. Скучный теплый дождик сеялся на молодые низкорослые деревца, на подрост между ними, за окнами проплывали

³⁴ «...доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем» (Екклезиаст, 12:6).

огромные погребальные костры, сложенные из неразорвавшихся снарядов, мин, бомб, гранат и амуниции – касок, штыков, винтовочных прикладов, кожи, шесть лет гнившей в земле. Неожиданно за поворотом показались белые верхушки бескрайнего моря могил. Дик попросил шофера остановиться.

– Гляньте, все та же девушка – и все еще с венком.

Они смотрели, как Дик вылезает из машины, подходит к девушке, растерянно стоявшей с венком в руках у ворот кладбища. Ее ждало такси. С этой рыженькой уроженкой Теннесси они познакомились утром в поезде, она приехала из Ноксвилла, чтобы положить венок на могилу брата. Теперь по ее лицу бежали слезы досады.

– Похоже, Военное министерство дало мне неправильный номер, – тоненько пожаловалась она. – На том надгробье другое имя стоит. Я с двух часов искала, искала, но тут столько могил.

– Я бы на вашем месте просто положил венок на любую могилу, а на имя и смотреть не стал, – посоветовал ей Дик.

– Считаете, мне так поступить следует?

– Думаю, ваш брат это одобрил бы.

Уже темнело, дождь усиливался. Девушка опустила венок на первую же за воротами могилу и приняла предложение Дика отпустить такси и вернуться в Амьен с ними.

Розмари, услышав о ее злоключении, расплакалась снова – вообще, день получился каким-то мокроватым, и все же она чувствовала, что узнала нечто важное, хоть и не смогла бы сказать что. Впоследствии все послеполуденные часы вспоминались ею как счастливые, как один из тех, не отмеченных никакими событиями промежутков времени, что кажутся, пока их проживаешь, лишь связующим звеном между прошлым и будущим счастьем, а позже понимаешь: как раз они-то счастьем и были.

Амьен еще оставался в ту пору городком лиловатым и гулким, по-прежнему опечаленным войной, – какими были и некоторые железнодорожные вокзалы: парижский *Gare du Nord*³⁵, лондонский Ватерлоо. В дневное время подобные города с их маленькими, прослужившими два десятка лет трамваями, пересекавшими огромные, мощенные серым камнем площади перед кафедральными соборами, как-то придавливали человека, сама погода казалась в них состарившейся и выцветшей, точно давние фотографии. Однако при наступлении темноты картина пополнялась возвратом всего, чем может порадовать французская жизнь, – бойкими уличными девицами, мужчинами, о чем-то спорившими в кафе, пересыпая свою речь сотнями «*Voilà*»³⁶, парочками, медленно уходившими, щека к щеке, в недорогое никуда. Ожидая поезда, вся компания сидела в большом пассаже, достаточно высоком, чтобы утягивать вверх табачный дым, болтовню и музыку, и оркестрик услужливо исполнил «Да, бананов у нас нет», и они поаплодировали – уж больно довольным собой выглядел дирижер. Теннессийка забыла о своих печалях и от души радовалась жизни, она даже принялась флиртовать с Эйбом и Диком, страстно округляя глаза, похлопывая то одного, то другого по плечам. А они ласково поддразнивали ее.

Потом они погрузились в парижский поезд, оставив бесконечно малые частицы вюртембергцев, прусских гвардейцев, альпийских стрелков, манчестерских пролетариев и старых итонцев продолжать их вечный неторопливый распад под теплыми струями дождя. Они жевали купленные в вокзальном ресторане бутерброды с сыром «Бель паэзе» и болонской колбасой, пили «Божоле». Николь казалась рассеянной, беспокойно покусывала нижнюю губу, читала купленные Диком путеводители по полю сражения – собственно, он и сам успел быстро про-

³⁵ Северный вокзал (*фр.*).

³⁶ Ну вот! Вот так! (*фр.*)

смотреть эти брошюры с начала и до конца, упрощая и упрощая прочитанное, пока оно не приобрело легкое сходство с одним из его званых обедов.

XIV

Когда они добрались до Парижа, выяснилось, что Николь слишком устала для запланированного ими осмотра ночной иллюминации Выставки декоративного искусства. Они довели ее до отеля «Король Георг», и когда она исчезла за пересекающимися плоскостями, в которые освещение вестибюля обращало его стеклянные двери, подавленность Розмари как рукой сняло. Николь представляла собой силу – и в отличие от матери Розмари, далеко не благожелательную или предсказуемую, совсем наоборот. Розмари немного побаивалась ее.

В одиннадцать часов вечера она сидела с Диком и Нортами в кафе, недавно открывшемся на причаленной к набережной Сены барке. В воде мерцали огни мостов, покачивалась холодная луна. В пору их парижской жизни Розмари и ее мать иногда покупали по воскресеньям билеты на ходивший в Сюрен пароходик и плыли по Сене, обсуждая планы на будущее. Денег у них было мало, но миссис Спирс настолько верила в красоту Розмари, взлелеяла в ней такое честолюбие, что готова была поставить на «победу» дочери все, что имела; а Розмари в свой черед предстояло, как только у нее что-то начнет получаться, возместить все расходы матери...

Едва вернувшись в Париж, Эйб Норт стал словно бы окутываться винными парами; глаза его покраснели от солнца и спиртного. Розмари впервые сообразила, что он не упускает ни единой возможности зайти куда-нибудь и выпить, – интересно, думала она, как относится к этому Мэри Норт? Мэри была женщиной неразговорчивой, разве что смеялась часто, – столь неразговорчивой, что Розмари почти ничего в ней не поняла. Розмари нравились ее прямые темные волосы, зачесанные назад и спускавшиеся с макушки своего рода естественным каскадом, не доставляя ей особых забот, – лишь время от времени прядь их спадала, косо и щеголевато, на краешек лба Мэри, почти закрывая глаз, и тогда она встряхивала головой, возвращая эту прядь на место.

– Давай сегодня ляжем пораньше, Эйб, выпьем еще по бокалу, и будет, – тон Мэри был легким, но в нем ощущался оттенок тревоги. – Ты же не хочешь, чтобы тебя перекачивали в трюм парохода.

– Час уже поздний, – сказал Дик. – Пора расходиться.

Исполненное благородного достоинства лицо Эйба приняло упрямый вид, он решительно заявил:

– О нет. – Величавая пауза, затем: – Пока что нет. Выпьем еще одну бутылку шампанского.

– С меня довольно, – сказал Дик.

– Я о Розмари забочусь. Она прирожденная выпивоха, держит в ванной комнате бутылку джина и все такое, мне ее мать рассказывала.

Он вылил в бокал Розмари все, что оставалось в бутылке. В первый их парижский день она опилась лимонада, ее тошнило, и после этого она не пила ничего, однако теперь поднесла бокал к губам и пригубила шампанское.

– Это еще что такое? – удивился Дик. – Вы же говорили мне, что не пьете.

– Но не говорила, что и не буду никогда.

– А что скажет ваша мать?

– Я собираюсь выпить всего один бокал. – Это казалось ей необходимым. Дик пил немного, но пил, быть может, выпитое ею шампанское сблизит их, поможет ей справиться с тем, что она должна сделать. Розмари быстро глотнула еще, поперхнулась и сказала: – А кроме того, вчера был день моего рождения – мне исполнилось восемнадцать лет.

– Что же вы нам-то не сказали? – в один голос возмущенно спросили они.

– Знала, что вы поднимете шум, засуетитесь, а к чему вам лишние хлопоты? – Она допила шампанское. – Будем считать, что мы отпраздновали сейчас.

– Ни в коем случае, – заявил Дик. – Завтра вечером мы устроим в честь вашего дня рождения обед, чтобы вам было что вспомнить. Восемнадцатилетие – помилуйте, такая важная дата.

– Мне всегда казалось, что все, происходящее до восемнадцати, не имеет никакого значения, – сказала Мэри.

– Правильно казалось, – согласился Эйб. – И все, происходящее после, тоже.

– По мнению Эйба, ничто не будет иметь значения, пока мы не отправимся домой, – сказала Мэри. – На сей раз он всерьез спланировал то, что будет делать в Нью-Йорке.

Мэри говорила тоном человека, уставшего рассказывать о том, что давно утратило для него всякий смысл, таким, словно в действительности путь, по которому шли – или не сумели пойти – она и ее муж, давно уже обратился всего лишь в благое намерение.

– В Америке он станет писать музыку, а я поеду в Мюнхен учиться пению, и когда мы встретимся снова, нам все будет по плечу.

– Замечательно, – согласилась Розмари, чувствуя, как выпитое ударяет ей в голову.

– А пока пусть Розмари выпьет еще немного шампанского. Это поможет ей понять, как работают ее лимфатические узлы. Они только в восемнадцать лет и включаются.

Дик снисходительно усмехнулся, он любил Эйба, хоть давно уже перестал возлагать на него какие-либо надежды:

– Медицина так не считает, и потому мы уходим.

Эйб, уловив его снисходительность, быстро заметил:

– Мне почему-то кажется, что я отдам мою новую партитуру Бродвею задолго до того, как вы закончите ваш ученый трактат.

– Надеюсь, – бесстрастно ответил Дик. – Очень на это надеюсь. Может быть, я и вовсе откажусь от того, что вы именуете моим «ученым трактатом».

– О, Дик! – испуганно и даже потрясенно воскликнула Мэри. Розмари никогда еще не видела у него такого лица – полностью лишённого выражения; она поняла, что сказанное им исключительно важно, и ей тоже захотелось воскликнуть: «О, Дик!»

Но он вдруг усмехнулся еще раз и прибавил:

– ...откажусь от этого, чтобы заняться другим, – и встал из-за стола.

– Пожалуйста, Дик, сядьте. Я хочу узнать...

– Как-нибудь расскажу. Спокойной ночи, Эйб. Спокойной ночи, Мэри.

– Спокойной ночи, Дик, милый.

Мэри улыбнулась, словно давая понять, что с превеликим удовольствием остается сидеть здесь, на почти опустевшей барке. Она была храброй, отнюдь не лишившейся надежд женщиной и следовала за своим мужем повсюду, обращаясь внутренне то в одного, то в другого человека, но не обретая способности заставить его отступить хотя бы на шаг от избранного им пути и временами с унынием осознавая, как глубоко упрятана в нем истово охраняемая тайна этого пути, по которому приходится следовать и ей. И все же ореол удачливости облекал ее – так, точно она была своего рода талисманом...

XV

– Так от чего вы решили отказаться? – уже в такси серьезно спросила Розмари.

– Ни от чего существенного.

– Вы ученый?

– Я врач.

– О-о! – она восхищенно улыбнулась. – И мой отец был врачом. Но тогда почему же вы...

Она умолкла, не закончив вопроса.

– Тут нет никакой тайны. Я не покрыл себя позором в самый разгар моей карьеры и на Ривьере не прячусь. Просто не практикую. Хотя, как знать, может быть, когда-нибудь и начну снова.

Розмари молча подставила ему губы для поцелуя. С мгновение он смотрел на нее, как бы ничего не понимая. Потом обвил шею Розмари рукой и потерся щекой о ее мягкую щеку, а потом еще одно долгое мгновение молча смотрел на нее. И наконец сумрачно сказал:

– Такой прелестный ребенок.

Она улыбнулась, глядя снизу вверх в его лицо, пальцы ее неторопливо теребили лацканы его плаща.

– Я люблю и вас, и Николь. В сущности, это моя тайна, я даже рассказать о вас никому не могу, потому что не хочу, чтобы еще кто-то знал, какое вы чудо. Честное слово: я люблю вас обоих – правда.

...Он столько раз слышал эту фразу – даже слова были те же.

Неожиданно она потянулась к нему, и пока его глаза фокусировались на лице Розмари, юность ее словно исчезла, она просто лишилась возраста, и Дик, перестав дышать, поцеловал ее. Когда поцелуй завершился, Розмари откинулась назад, на его руку и вздохнула.

– Я решила отказаться от вас, – сообщила она.

Дик удивился – уж не произнес ли он некие слова, подразумевавшие, что какая-то часть его принадлежит ей?

– Но это непорядочно, – ему не без труда, но удалось подделать шуточный тон, – я только-только начал проникаться к вам серьезным интересом.

– Я так любила вас... – Можно подумать, с тех пор годы прошли. Теперь из глаз ее капали редкие слезы. – Я вас та-а-а-к любила.

Тут ему следовало бы рассмеяться, однако он услышал, как голос его произносит:

– Вы не только прекрасны, в вас есть подлинный размах. Все, что вы делаете – притворяетесь влюбленной, притворяетесь скромницей, – получается очень убедительным.

В темной утробе такси Розмари, пахнувшая купленными при содействии Николь духами, снова придвинулась, приникла к нему. И он поцеловал ее, но никакого наслаждения не испытал. Он знал, что ею правит страсть, однако и тени таковой ни в глазах Розмари, ни в губах не обнаружил; лишь ощутил в ее дыхании легкий привкус шампанского. Она прижалась к нему еще крепче, еще безрассудней, и он поцеловал ее снова, и невинность ответного поцелуя Розмари остудила его, как и взгляд, который она, когда их губы слились, бросила в темноту ночи, в темноту внешнего мира. Розмари еще не знала, что сосуд всего роскошества любви – это душа человека, и только в тот миг, когда она поймет это и истаёт в страсти, которой пронизана вселенная, Дик и сможет взять ее без сомнений и сожалений.

Отельный номер Розмари находился наискосок от номера Дайверов, немного ближе к лифту. Когда они подошли к его двери, Розмари вдруг заговорила:

– Я знаю, вы не любите меня, да и не жду от вас любви. Но вы сказали, что мне следовало известить вас о дне моего рождения. Ну вот, я известила и теперь хочу получить подарок – зайдите на минутку ко мне, и я вам кое-что скажу. Всего на одну минуту.

Они вошли, он закрыл дверь, Розмари стояла с ним рядом, не касаясь его. Ночь согнала с ее лица все краски, и сейчас она была бледнее бледного: выброшенная после бала белая гвоздика.

– Всякий раз, как вы улыбаетесь, – возможно, это безмолвная близость Николь помогла ему вернуться к отеческой манере, – мне кажется, что я увижу между вашими зубами дырку, оставшуюся от выпавшего, молочного.

Впрочем, с возвращением этим он запоздал, Розмари снова прижалась к нему, отчаянно прошептав:

– Возьми меня.

Он изумленно замер:

– Куда?

– Ну же, – шептала она. – Ох, пожалуйста, сделай все, как положено. Если мне не понравится, а так, скорее всего, и будет, пусть, я всегда думала об этом с отвращением, а теперь – нет. Я хочу тебя.

Собственно говоря, она и сама дивилась себе, поскольку даже вообразить не могла, что когда-нибудь произнесет такие слова. Она призвала на помощь все, что читала, видела, о чем мечтала за десять лет учебы в монастырской школе. И вдруг поняла, что играет одну из величайших своих ролей, и постаралась вложить в нее как можно больше страстности.

– Все происходит не так, как следует, – неуверенно произнес Дик. – Может быть, причина в шампанском? Давайте забудем об этом более или менее.

– О нет, *сейчас*. Я хочу, чтобы ты сделал это сейчас, взял меня, показал мне, я вся твоя и хочу этого.

– Ну, во-первых, подумали вы о том, как сильно это ранит Николь?

– А ей и знать ничего не нужно, ее это не касается.

Он мягко продолжил:

– Есть и еще одно обстоятельство – я люблю Николь.

– Но ты же можешь любить и кого-то другого, можешь? Вот я – люблю маму и люблю тебя... сильнее. Тебя я люблю сильнее.

– ...и в-четвертых, вы вовсе не любите меня, но можете полюбить потом, и это будет означать, что жизнь ваша начинается с ужасной путаницы.

– Нет, обещаю, я никогда больше не увижу тебя. Заберу маму, и мы сразу уедем в Америку.

А вот это Дика не устраивало. Слишком живо помнил он свежесть ее юных губ. И потому сменил тон.

– Это у вас просто минутное настроение.

– Ой, ну пожалуйста, даже если будет ребенок – пусть. Съезжу в Мексику, как одна девушка со студии. Это совсем не то, что раньше, раньше я ненавидела настоящие поцелуи. – Дик понял: она еще не отказалась от мысли, что это должно случиться. – У некоторых такие большие зубы, а ты другой, ты прекрасный. Я хочу, чтобы ты сделал это.

– По-моему, вы просто думаете, что есть люди, которые целуются не так, как другие, вот вам и хочется, чтобы я целовал вас.

– Ох, перестань посмеиваться надо мной – я не ребенок. Знаю, ты не любишь меня, – она вдруг сникла, притихла. – Но я и не ждала столь многого. Я понимаю, что должна казаться тебе пустышкой.

– Глупости. А вот слишком юной вы мне кажетесь. – Мысленно он прибавил: «...вас еще столькому придется учить».

Розмари, прерывисто дыша, ждала продолжения, и наконец Дик сказал:

– И в конце концов, обстоятельства сложились так, что получить желаемое вам все равно не удастся.

Лицо ее словно вытянулось от смятения и расстройства, и Дик машинально начал:

– Нам нужно просто... – но не закончил и проводил ее до кровати, и посидел рядом с ней, плакавшей. Его вдруг одолело смущение – не по причине этической неуместности происходившего, ибо произойти ничего и не могло, это было ясно, с какой стороны ни взгляни, – а самое обычное смущение, и ненадолго привычная грация, непробиваемая уравновешенность покинули Дика.

– Я знала, что ты мне откажешь, – всхлипывала Розмари. – Это была пустая надежда.

Дик встал.

– Спокойной ночи, дитя. Жаль, что все так получилось. Давайте вычеркнем эту сцену из памяти. – И он отбарабанил две пустых, якобы целительных фразы, предположительно способных погрузить Розмари в безмятежный сон: – Столь многие еще будут любить вас, а с первой любовью лучше встречаться целой и невредимой, особенно в плане эмоциональном. Старомодная идея, не правда ли?

Она подняла на него взгляд. Дик шагнул к двери; наблюдая за ним, Розмари понимала: у нее нет ни малейшего представления о том, что творится в его голове, – вот он сделал, словно в замедленной съемке, второй шаг, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее, и ей захотелось наброситься на него и пожрать, целиком – рот, уши, воротник пиджака, захотелось окутать его собою, как облаком, и проглотить; но тут ладонь Дика легла на дверной шишак. И Розмари сдалась и откинулась на кровать. Когда дверь закрылась, она встала, подошла к зеркалу и начала, легко пошмыгивая носом, расчесывать волосы. Сто пятьдесят проходов щетки, как обычно, потом еще сто пятьдесят. Розмари расчесывала их и расчесывала, а когда рука затекла, переложила щетку в другую и стала расчесывать дальше...

XVI

Проснувшись она поостывшей, пристыженной. Красавица, увиденная Розмари в зеркале, нисколько ее не утешила, но лишь пробудила вчерашнюю боль, а письмо от возившего ее прошлой осенью на йельский бал молодого человека, пересланное матерью и сообщавшее, что сейчас он в Париже, ничем не помогло – все казалось ей таким далеким, ненужным. Выходя из своего номера на мучительное испытание, которым грозила стать встреча с Дайверами, она чувствовала, что ее словно пригибает к земле двойное бремя бед. Впрочем, все это было спрятано под оболочкой, такой же непроницаемой, как та, под которой укрылась Николь, когда они встретились, чтобы съездить на примерки и пройтись по магазинам. Правда, слова, сказанные Николь по поводу робевшей продавщицы, послужили Розмари утешением: «Очень многие уверены, что люди питают к ним чувства куда более сильные, чем оно есть на деле, – полагают, что отношение к ним если и меняется, то лишь промахивая из конца в конец огромную дугу, которая соединяет приязнь с неприязнью». Вчерашняя не знавшая удержу Розмари с негодованием отвергла бы это замечание, сегодняшняя, желавшая по возможности умалить случившееся, приняла его всей душой. Она преклонялась перед красотой и умом Николь, но также изнывала – впервые в жизни – от ревности к ней. Перед самым ее отъездом из отеля Госса мать заметила, словно бы между делом (однако Розмари знала: именно этим тоном она и высказывает самые значительные свои суждения), что Николь поразительно красива, из чего с непреложностью следовало, что о Розмари такого не скажешь. Розмари, лишь недавно получившую право считать, что она вообще что-то собой представляет, это не так уж и волновало, собственная миловидность всегда казалась ей не исконной ее принадлежностью, а приобретенной, примерно как владение французским. Тем не менее в такси она приглядывалась к Николь, сравнивая ее с собой. В этом восхитительном теле, в губах, то плотно сжатых, то ожидающе приоткрытых навстречу миру, присутствовало все, что требуется для романтической любви. Николь была красавицей в юности и будет красавицей, когда кожа еще туже обтянет ее высокие скулы – немаловажный элемент прелести этой женщины. В юности Николь была белокожей саксонской блондинкой, теперь волосы ее потемнели, отчего она стала еще и прекраснее, чем прежде, когда они смахивали на облако и превосходили ее красотой.

Такси шло по рю де Сен-Пер.

– Вот здесь мы жили когда-то, – сообщила, указав на один из домов, Розмари.

– Как странно. Когда мне было двенадцать, мы с мамой и Бэйби провели одну зиму вон там, – и Николь ткнула пальцем в отель на другой стороне улицы, прямо напротив дома Розмари. Два закопченных фронтона взирали на них – серые призраки отрочества.

– Мы тогда только-только достроили наш дом в Лейк-Форесте и потому экономили, – продолжала Николь. – По крайней мере, экономили я, Бэйби и наша гувернантка, мама же просто путешествовала.

– И мы тоже экономили, – отозвалась Розмари, понимая, впрочем, что слово это имеет для них разное значение.

– Мама вечно осторожничала, называя его «маленьким отелем»... – Николь издала короткий, обворожительный смешок, – ... вместо «дешевого». Если кто-то из ее чванливых знакомых интересовался нашим адресом, мы никогда не говорили: «Это такая захудалая нора в кишасем апашами квартале, спасибо и на том, что там вода из крана течет...» – нет, мы говорили: «Это такой маленький отель...» Притворяясь, что большие кажутся нам слишком шумными и вульгарными. Знакомые, естественно, сразу же нас раскусывали и рассказывали об этом всем и каждому, но мама говорила, что наш выбор жилья показывает, как хорошо мы знаем Европу. Она-то, конечно, знала – мама родилась в Германии. Другое дело, что *ее* матушка была американкой и вырастила дочь в Чикаго, отчего и мама стала скорее американкой, чем европейкой.

Через две минуты они встретились с остальной их компанией, и Розмари, вылезавшей из такси на рю Гинемер, напротив Люксембургского сада, пришлось снова собирать себя по частям. Они позавтракали в уже словно разгромленной квартире Нортов, глядевшей с высоты на простор зеленой листвы. Этот день, казалось Розмари, совсем не похож на вчерашний... Когда она оказалась с Диком лицом к лицу, взгляды их встретились – как будто две птицы коснулись друг друга крылами. И все выправилось, все стало чудесным, Розмари поняла, что он понемногу влюбляется в нее. Счастье забурлило в ней – словно некий насос принялся накачивать в ее тело живительный поток эмоций. Спокойная, ясная уверенность вселилась в Розмари и запела. Она почти не смотрела на Дика, но знала: все хорошо.

После завтрака Дайверы, Норты и она отправились на киностудию «Франко-американские фильмы», где их ожидал Коллис Клэй, ее молодой нью-хейвенский знакомый, которому она успела позвонить. Уроженец Джорджии, он придерживался до странного прямолинейных, даже трафаретных взглядов, которые исповедуют южане, получающие образование на севере страны. Прошлой зимой Розмари сочла его симпатичным, – они даже подержались за руки в автомобиле, который вез их из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, – ныне Коллис показался ей пустым местом.

В просмотровой она сидела между ним и Диком, и пока механик устанавливал в проекционный аппарат бобину с «Папенькиной дочкой», администратор-француз суетился вокруг Розмари, старательно подделывая американский сленг.

– Да, люди, – сказал он, когда выяснилось, что в аппарате что-то заело, – опять у нас бананов нет.

Но тут погас свет, послышался щелчок, стрекот, и, наконец, она осталась наедине с Диком. В полутьме они обменялись взглядами.

– Розмари, милая, – прошептал он. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно поерывала на другом конце ряда, Эйб судорожно закашлялся, высморкался; потом все успокоилось, и картина началась.

Вот она – вчерашняя школьница – рассыпавшиеся по спине волосы неподвижны, как у керамической статуэтки из Танагры; и вот она – *ах, какая* юная и невинная – продукт любовных забот ее матери; и вот она – живое воплощение всей недоразвитости ее страны, вырезающей из картона очередную куколку, чтобы потешить свое пустое, достойное шлюхи воображение. Розмари вспомнила, как чувствовала себя в этом платье, – особенно свежей и новенькой, под свежим юным шелком.

Папенькина дочка. Такая лапуленька, такая храбрулечка – и страдает? Ооо-ооо, сладенькая-распресладенькая, но не слишком ли сладенькая? От ее крохотного кулачка бегут без

оглядки стихии похоти и порока; да что там, сам рок приостанавливает шествие свое; неминуемое становится минувшим; силлогизмы, диалектика и рационализм в полном составе – все отлетает от нее, как от стенки горох. Женщины забывают о ждущей их дома грязной посуде и плачут, даже в самом фильме одна плакала так много, что едва не вытеснила из него Розмари. Плакала по всей стоившей бешеных денег декорации, и в обставленной мебелью Данкена Файфа³⁷ столовой, и в аэропорту, и на яхтовых гонках, которые и мелькнули-то на экране всего два раза, и в метро, и, наконец, в ванной комнате. Но Розмари взяла над ней верх. Мир покушался на тонкость ее натуры, на ее отвагу и стойкость, и Розмари показала, чего может стоить борьба с ним, и лицо ее, еще не обратившееся в подобие маски, было и вправду столь трогательным, что в промежутках между бобинами к ней устремлялись чувства всех, кто сидел в зале. Во время одного такого перерыва включили свет, и после всплеска аплодисментов Дик совершенно искренне сказал ей:

– Я попросту изумлен. Вы наверняка станете одной из лучших наших актрис.

Затем «Папенькина дочка» пошла снова: настали времена более счастливые, Розмари воссоединилась с папенькой в последней очаровательной сцене, из которой попер столь очевидный отцовский комплекс, что Дик содрогнулся от жалости ко всем психиатрам, которым доведется увидеть эту жуткую сентиментальщину. Экран погас, зажегся свет, наступила долгожданная минута.

– Я договорилась еще кое о чем, – объявила всей компании Розмари, – о пробе для Дика.

– О чем?

– О кинопробе, их как раз сейчас снимают.

Наступило ужасное молчание, затем послышался сдавленный смех не сумевших сдержаться Нортв. Розмари смотрела на Дика, до которого не сразу дошел смысл ее слов, – в первые мгновения лицо его подергивалось, совершенно как у озадаченного ирландца; и она поняла, что ошиблась, пойдя со своей козырной карты, хоть и не заподозрила еще, что карта наверняка будет бита.

– Мне не нужна никакая проба, – твердо заявил Дик, а затем, окончательно уяснив ситуацию, весело продолжил: – Я не смогу оправдать ваши надежды, Розмари. Киношная карьера хороша для женщины, но, боже ты мой, меня-то чего ради снимать? Я – пожилой ученый, с головой потонувший в семейной жизни.

Николь и Мэри стали наперебой уговаривать его – иронически – не упускать такую прекрасную возможность; они вышучивали Дика, немного обиженные на то, что им попозировать перед камерой не предложили. Однако Дик закрыл эту тему саркастическим выпадом в адрес актеров.

– Строже всего охраняются врата, за которыми ничего нет, – сказал он. – И может быть, потому, что люди стыдятся выставлять напоказ свою пустоту.

Сидя в такси с Диком и Коллисом Клэем, – они решили подвезти его, а потом Дик собирався заехать с Розмари в один дом на чаепитие (Николь и Нортв принять в нем участие отказались, потому что им требовалось покончить с каким-то делом, которое Эйб откладывал до последнего), – Розмари укорила Дика:

– Я думала, если проба удастся, взять ее с собой в Калифорнию. И может быть, если бы она там понравилась, вы приехали бы туда и сыграли в моей картине главную роль.

Сказанное ею совсем доконало Дика.

– Все это, конечно, мило, но я предпочел бы просто увидеть *вас* на экране. Вы – едва ли не лучшее, что я на нем видел.

– Великая картина, – сказал Коллис. – Четыре раза ее смотрел. И знаю в Нью-Хейвене паренька, который смотрел двенадцать раз – как-то аж в Хартфорд ради нее поехал. А когда

³⁷ Данкен Файф (1768–1854) – американский мебельный мастер.

я привез Розмари в Нью-Хейвен, засмутился и не решился к ней подойти. Представляете? От этой девочки у всех ум за разум заходит.

Дик и Розмари обменялись взглядами, им хотелось остаться вдвоем, но Коллис этого не понимал.

– Давайте я провожу вас до нужного вам места, – предложил он. – А потом поеду к себе в «Лютетию».

– Лучше уж мы вас туда подвезем, – ответил Дик.

– Да мне так проще будет. И не составит никакого труда.

– Полагаю, все-таки будет лучше, если *мы* подвезем *вас*.

– Но... – начал было Коллис; и тут до него наконец дошло, и он завел с Розмари разговор о том, когда ему удастся снова увидеть ее.

В конце концов он, уязвленный выпавшей ему ролью третьего лишнего, покинул такси, приняв напоследок мину мрачного безразличия. И до обидного скоро такси остановилось у дома, адрес которого назвал водителю Дик. Он тяжело вздохнул:

– Идти – не идти?

– Мне все равно, – сказала Розмари. – Как захотите, так и сделаем.

Дик поразмыслил.

– Я-то, можно сказать, обязан пойти туда, – она хочет купить у моего знакомого несколько картин, а ему позарез нужны деньги.

Розмари пригладила волосы, пришедшие за несколько последних минут в слишком уж недвусмысленный беспорядок.

– Ладно, зайдем минут на пять, – решил Дик. – Боюсь только, эти люди вам не понравятся.

Наверное, они скучные и заурядные, предположила Розмари, или вульгарные и вечно пьяные, или нудные и назойливые – в общем, такие, каких Дайверы стараются избегать. Она была решительно не готова к тому, что ей предстояло увидеть.

XVII

Дом на рю Месье был перестроенным когда-то дворцом кардинала де Реца, однако во внутреннем его убранстве не осталось никаких следов прошлого – да и настоящего, каким его знала Розмари, тоже. Сложенная из камня оболочка дома содержала, скорее, будущее, и оттого человек, переступавший порог, если его можно было назвать так, и попадавший в длинный вестибюль, сооруженный из вороненой стали, позолоченного серебра и несметного числа обрезанных под какими угодно углами зеркал, ощущал что-то вроде удара электрическим током, резкую встряску нервов, противоестественную, как завтрак, состоящий из овсянки и гашиша. Ощущение это не походило на те, что получаешь в залах Выставки декоративного искусства, – здесь ты оказывался не перед экспонатом, а *внутри* его. Розмари овладело отчужденное, псевдоэкзальтированное чувство выхода на сцену, и она мигом поняла, что его испытывает каждый, кто здесь находится.

А находилось здесь человек тридцать, преимущественно женщин, словно изготовленных по образцам, сработанным Луизой М. Олкотт или мадам де Сегюр³⁸; и все они передвигались в этой декорации с такой осторожностью и аккуратностью, с какими наши пальцы собирают с пола зазубренные осколки разбитого бокала. Ни о ком из этих людей в частности, ни обо всей их толпе нельзя было сказать, что они чувствуют себя в этом доме господами – подобно тому, как владелец произведения искусства может ощущать себя его полноправным господином, сколь бы загадочным и непонятным оно ни было; ни один из них не понимал назначения

³⁸ Луиза Мэй Олкотт (1832–1888) – американская писательница, автор романа «Маленькие женщины»; графиня Софья де Сегюр, урожденная Ростопчина (1799–1874) – французская детская писательница.

этой комнаты, поскольку, раскрываясь перед ними, она превращалась во что-то совсем другое; существовать в ней было так же трудно, как идти по отполированному до блеска эскалатору, для этого требовались качества, присущие уже упомянутым пальцам, – качества, которые и определяли, и сковывали движения большинства тех, кто сюда попадал.

Люди эти разделялись на две разновидности. К первой относились американцы и англичане, которые провели всю весну и лето в загуле, и теперь их поведением правили порывы, имевшие происхождение чисто нервическое. В определенные часы дня они были очень тихи и как будто спали на ходу, а затем вдруг словно с цепи срывались, учиняя ссоры, скандалы и соображения. Вторую, назовем ее эксплуататорской, составляли своего рода приживалы; это были люди сравнительно трезвые и серьезные, имевшие жизненную цель и не желавшие тратить время на всякого рода баловство. Им удавалось худо-бедно сохранять в этой обстановке уравновешенность, если здесь и наличествовал какой-либо «стиль» (помимо новизны в устройстве освещения), то задавали его они.

Этот Франкенштейн единым махом проглотил Дика и Розмари, сразу же разлучив их, и Розмари обнаружила вдруг, что обратилась в лицемерную маленькую особу, говорящую писклявым голосом и нетерпеливо ждущую, когда придет режиссер-постановщик. Впрочем, все вокруг до того походило на птичий базар, что положение Розмари не казалось ей более несообразным, чем чье-либо еще. Ну и полученная ею выучка тоже давала о себе знать, и после череды полувоенных поворотов, перегруппировок и марш-бросков она обнаружила, что предположительно беседует с опрятной, гладенькой девушкой, обладательницей милого мальчишечьего личика, хотя на самом деле внимание ее было приковано к разговору, который велся в четырех футах от нее, рядом с подобием стремянки, отлитым из пушечной бронзы.

Там сидела на скамеечке троица молодых женщин. Все высокие, худощавые, с маленькими головками, причесанными, как у манекенов, – во время разговора эти головки грациозно покачивались над темными английскими костюмами, напоминая то цветы на длинных стеблях, то головы кобр.

– О, представления они устраивают прекрасные, – сказала одна низким грудным голосом. – Практически лучшие в Париже, и я – последняя, кто стал бы с этим спорить. Но в конечном счете... – она вздохнула. – Эти фразочки, которые он повторяет и повторяет... «старейший обитатель, заеденный грызунами». Смешно только в первый раз.

– Я предпочитаю людей, у которых поверхность жизни не так гладка на вид, – сказала вторая. – А *она* мне и вовсе не по душе.

– На меня они никогда большого впечатления не производили, и свита их тоже. Зачем, например, нужен окончательно перешедший в жидкообразное состояние мистер Норт?

– Об этом и говорить нечего, – сказала первая. – И все же, признай, *он* – самый обаятельный из всех известных тебе людей.

Тут только Розмари сообразила, что разговор идет о Дайверах, и все ее тело свела судорога негодования. А стоявшая перед ней девушка, словно сошедшая с плаката – накрахмаленная голубая рубашка, яркие голубые глаза, румяные щечки и очень, очень серый костюм, – продолжала говорить что-то и уже приступила к попыткам подольститься к Розмари. Девушка упорно отгоняла прочь все, что могло встать между ними, поскольку боялась, что Розмари не разглядит ее, отгоняла, пока между ними не осталась лишь завеса робкой шутливости, и тогда Розмари ясно разглядела девушку и никакого удовольствия не испытала.

– Может быть, мы позавтракаем, или пообедаем, или нет, позавтракаем – через день-другой? – спрашивала девушка. Розмари поискала глазами Дика и нашла рядом с хозяйкой – разговор с ней он завел, едва придя сюда. Взгляды их встретились, Дик легко кивнул, и в этот же миг три кобры заметили Розмари; их длинные шеи мгновенно вытянулись к ней, все трое нацелили на нее откровенно придирические взгляды. Розмари ответила им взглядом вызывающим, давая понять, что слышала их разговор. Затем она избавилась от своей назойливой визави,

попрощавшись с ней вежливо, но отрывисто – в манере, которую только-только переняла у Дика, – и направилась к нему. Хозяйка – еще одна рослая, состоятельная американка, беззаботно выгуливавшая всем напоказ, как собачку, богатство своей страны, – осыпала Дика бесчисленными вопросами насчет отеля Госса, в который, по-видимому, хотела заглянуть, однако пробить броню его нежелания отвечать на них так и не смогла. Появление Розмари напомнило ей о забытой ею роли распорядительницы, и она, оглядываясь по сторонам, спросила: «Вы знакомы с очень, очень забавным мистером...» Взгляд ее обшаривал толпу в поисках человека, который мог бы заинтересовать Розмари, однако Дик сказал, что им пора. И они сразу же вышли, переступив через невысокий порог, в неожиданное прошлое, лежавшее за каменным фасадом будущего.

– Что, ужасно? – спросил Дик.

– Ужасно, – послушно согласилась она.

– Розмари?

– Да? – благоговейно мурлыкнула она.

– Мне страшно жаль.

Розмари вдруг затрясло от звучных, мучительных рыданий. «Есть у тебя носовой платок?» – спросила она, запинаясь. Однако времени на проливание слез не осталось, и они, теперь уже любовники, жадно набросились на оставшиеся у них быстрые секунды, а между тем за окнами такси выплывали зеленые и кремовые сумерки и сквозь тихую пелену дождя начали проступать, словно в дыму, огненно-красные, газово-голубые, призрачно-зеленые рекламные надписи. Было почти шесть часов, улицы наполнялись людьми, поблескивали быстро, и, когда машина повернула на север, мимо них проплыла во всем ее розоватом величии площадь Согласия.

Наконец они взглянули друг дружке в глаза, и каждый пролепетал, как заклинание, имя другого. Два приглушенных имени повисели в воздухе и стихли медленнее, чем другие слова, другие имена, чем звучащая в сознании музыка.

– Не знаю, что на меня нашло этой ночью, – сказала Розмари. – Бокал шампанского? Никогда себя так не вела.

– Ты просто сказала, что любишь меня.

– Я люблю тебя – этого не изменишь.

Вот теперь можно было поплакать – и она поплакала немножко в носовой платок.

– Боюсь, что и я люблю тебя, – сказал Дик, – а это не лучшее из того, что могло с нами случиться.

И снова прозвучали два имени, и любовников бросило друг к дружке, как будто само такси качнуло их. Грудь Розмари расплющилась, так крепко она прижалась к нему, губы ее, незнакомые, теплые, стали общим их достоянием. Они перестали думать, испытав почти болезненное облегчение, перестали видеть; они только дышали и искали друг дружку. Оба пребывали в ласковом сером мире мягкого похмелья усталости, где нервы стихают пучками, точно рояльные струны, а иногда вдруг потрескивают, как плетеные стулья. Нервы столь обнаженные, нежные, конечно же должны соединяться с другими, уста к уста, грудь к груди...

Они еще оставались в самой счастливой поре любви. Прекрасные иллюзии касательно друг дружки наполняли их, огромные иллюзии, обоим казалось, что взаимное причащение их происходит там, где никакие другие человеческие отношения значения не имеют. Оба полагали, что пришли туда невероятно невинными, и привела их черед совершенно случайных событий, столь многочисленных, что в конце концов оба вынуждены были признать: мы созданы друг для друга. И пришли они с чистыми руками – или так им представлялось, – проскочив под знак «движение запрещено» из простой любознательности и любви к тайнам.

Однако Дик прошел этот путь быстрее; они еще не достигли отеля, как он переменялся.

– Сделать мы уже ничего не можем, – сказал он, чувствуя, как в душу его закрадывается страх. – Я люблю тебя, но это не отменяет сказанного мной прошлой ночью.

– Сейчас это не имеет значения. Я просто хотела, чтобы ты полюбил меня, – и если ты любишь, все хорошо.

– К несчастью, люблю. Однако Николь не должна узнать об этом – даже заподозрить ничего не должна. Нам с ней придется и дальше жить вместе. В определенном смысле это важнее, чем само желание совместной жизни.

– Поцелуй меня еще раз.

Он поцеловал, но сразу выпустил ее из рук.

– Николь не должна страдать, она любит меня, и я люблю ее, ты же понимаешь.

Она понимала – таково было одно из правил, которые она понимала очень хорошо: нельзя причинять людям боль. Розмари знала, что Дайверы любят друг друга, для нее это было исходным предположением. Но полагала, что отношения их довольно прохладны, похожи скорее на любовь, что связывала ее с матерью. Когда люди уделяют столько внимания посторонним – не указывает ли это на отсутствие сильных чувств между ними?

– И я говорю о настоящей любви, – продолжал Дик, догадавшись, о чем она думает. – О действенной – она гораздо сложнее того, что я мог бы о ней рассказать. Из-за нее и произошла та дурацкая дуэль.

– Как ты о ней узнал? Я думала, нам удалось скрыть ее от тебя.

– По-твоему, Эйб способен хранить тайну? – с язвительной иронией осведомился Дик. – Сообщи ее по радио, опубликуй в желтой газетке, но никогда не доверяй человеку, выпивающему больше трех-четырех стаканчиков в день.

Она рассмеялась, соглашаясь, все еще прижимаясь к нему.

– Теперь ты понимаешь, меня связывают с Николь отношения сложные. Она не очень сильна – только выглядит сильной. И это основательно все запутывает.

– Ой, давай ты расскажешь об этом потом! А сейчас поцелуй меня – люби меня. И я буду любить тебя, и Николь никогда не узнает об этом.

– Милая.

Они высадились у отеля, Розмари пропустила Дика вперед, чтобы любоваться им, обожать его. В поступи Дика ей чудилась настороженность – словно он вернулся сюда, совершив какие-то великие дела, и теперь спешит навстречу новым. Организатор частных увеселений, хранитель богато изукрашенного счастья. Шляпа – само совершенство, тяжелая трость в одной руке, желтые перчатки в другой. Розмари думала о том, как хорошо все они проведут с ним эту ночь.

Наверх поднимались пешком – пять лестничных маршей. На первой площадке остановились, чтобы поцеловаться; на второй она повела себя осмотрительно, на третьей еще осмотрительней. На полпути к следующей – их ожидали еще две – остановилась, чтобы легко чмокнуть его на прощание. И по его настоянию спустилась с ним на один марш, и они провели там целую минуту, а после все вверх, вверх. Наконец, прощание. Две руки, протянутые над диагональю перил – пальцы их встречаются и расстаются. Дик пошел вниз, чтобы сделать какие-то распоряжения на вечер, – Розмари вбежала в свой номер и уселась за письмо к матери, стыдась того, что совсем по ней не скучает.

XVIII

Относясь к нормам светской жизни с искренним безразличием, Дайверы были тем не менее людьми слишком чуткими, чтобы не отзываться на ее современные ритмы и пульсации, и приемы, которые устраивал Дик, имели только одну цель – волновать людей, брать их за

живое, а потому поток свежего ночного воздуха, урываемый между следовавшими одно за другим развлечениями, становился лишь более драгоценным.

Прием той ночи словно перенял ритм балаганного фарса. Людей на нем было двенадцать, потом вдруг стало шестнадцать, и они, рассевшись четверками по машинам, отправились в быструю Одиссею по Парижу. Предусмотрено было все. Новые люди присоединялись к ним, словно по волшебству, сопровождали их, как знатоки того или этого, почти как гиды, и в какое-то из мгновений вечера исчезали, и их сменяли другие, и гостям начинало казаться, что они едва ли не весь этот день раз за разом получали нечто свеженькое. Розмари хорошо понимала, насколько это не похоже на любой голливудский прием, каким бы размахом и великолепием тот ни обладал. Одним из аттракционов вечера стал автомобиль персидского шаха. Где раздобыл его Дик и какую дал взятку, это никого не интересовало. Розмари отнеслась к нему всего лишь как к новому повороту сказки, которой стала в последние два года ее жизнь. Изготовленная в Америке машина имела специально для нее придуманное шасси. Колеса были отлиты из серебра, радиатор тоже; салон выложен «бриллиантами», которые придворному ювелиру еще предстояло заменить настоящими драгоценными камнями на следующей неделе, когда машину доставят в Тегеран. Сиденье сзади наличествовало только одно, поскольку шах должен ездить в одиночестве, и гости катались в этой машине по очереди – впрочем, некоторые предпочитали сидеть на устилавшем ее пол куньем меху.

Дик же был вездесущ. Розмари заверила сопровождавший ее повсюду образ матери, что никогда еще не знала человека настолько прелестного – во всем, – каким был в тот вечер Дик. Она сравнивала его с двумя англичанами, которых Эйб упорно именовал, обращаясь к ним, «майором Хенгистом и мистером Хорса»³⁹, с наследником одного из скандинавских престолов, с только что вернувшимся из России писателем, с самым безудержно остроумным Эйбом, с Коллисом Клэем, повстречавшим где-то их компанию, да так в ней и застрявшим – в сравнении с Диком не шел никто. Его стоявшие за всем происходившим энтузиазм и самоотверженность восхищали Розмари, сноровка, с которой он перетасовывал гостей, – а все они были по-своему неповоротливы и так же зависели от его внимания, как пехотный батальон зависит от пищевого довольствия, – казалось, требовала от Дика усилий столь малых, что он успевал еще задумчиво перемолвиться с каждым из гостей.

...Впоследствии Розмари вспоминала минуты, в которые была особенно счастлива. Самыми первыми стали те, что она провела, танцуя с Диком и сознавая: красота ее расцветает все ярче от близости его большого, сильного тела, пока они плывут и едва ли не взлетают над полом, как в радостном сне, – Дик вел ее с такой деликатностью, что она чувствовала себя то великолепным букетом, то куском драгоценной ткани, которым любуются пять десятков глаз. В какое-то мгновение они даже и не танцевали, а просто льнули друг к дружке. И была еще – уже ранним утром – минута, когда они остались наедине, и ее молодое, влажное, припудренное тело прижалось к нему, сменяя усталую одежду, и замерло, смятое и само, рядом с чужими шляпами и плащами...

А смеялась сильнее всего она уже позже, когда шестеро из них, благороднейшие реликты этого вечера, ввалившись в сумрачный вестибюль отеля «Ритц», уверили ночного портъе, что на улице стоит перед дверьми отеля генерал Першинг⁴⁰, которому захотелось икры и шампанского. «Он не терпит промедлений. А в его распоряжении каждый солдат и каждая пушка». Неведомо откуда сбежались перепуганные гарсоны, посреди вестибюля был накрыт стол, и в отель вступил изображавший генерала Першинга Эйб, они же стояли, бормоча в знак привет-

³⁹ Хенгист Кентский (ум. около 488 г.) – легендарный король Кента; имя его означает на древнеанглийском «жеребец». Предшественником Хенгиста был его брат Хорса (ум. 455), имя которого означает «лошадь». Оба родились в Германии и были приглашены (с дружинами) кельтским королем Британии Вортигерном для борьбы со скоттами, пиктами и римлянами.

⁴⁰ Джон Першинг (1860–1948) – американский военный, командовавший в Первую мировую войну американскими экспедиционными силами во Франции. В 1921 году возглавил Генеральный штаб США, в 1924 вышел в отставку.

ствия застрявшие в памяти обрывки военных песен. Гарсоны, поняв, что их обвели вокруг пальца, обиделись и ушли, а они, возмущенные таким пренебрежением, соорудили из всей мебели, какая нашлась в вестибюле, капкан для гарсонов – огромный, фантастический, похожий на причудливую машину с карикатуры Гольдберга. Эйб, осмотрев ее, с сомнением покачал головой:

– Может, лучше спереть где-нибудь музыкальную пилу и...

– Все, хватит, – перебила его Мэри. – Когда Эйб вспоминает о пиле, это означает, что пора по домам.

И она озабоченно повернулась к Розмари:

– Мне нужно затащить Эйба домой. Поезд, который доставит его в порт, отходит завтра в одиннадцать. Это так важно, Эйб должен успеть на него, я чувствую, что от этого зависит все наше будущее, но если я начинаю на чем-то настаивать, он поступает в точности наоборот.

– Давайте я попробую его уломать, – предложила Розмари.

– Да? – неуверенно произнесла Мэри. – Ну, может, у вас и получится.

Потом к Розмари подошел Дик:

– Мы с Николь едем домой и подумали, что вам тоже захочется.

Лицо ее, освещенное ложной зарей, побледнело от усталости. Два чуть более темных пятнышка на щеках – вот и все, что осталось от дневного румянца.

– Не могу, – сказала она. – Я пообещала Мэри остаться с ними – иначе Эйба не уложить спать. Может быть, вам удастся с ним что-нибудь сделать?

– Вы разве не знаете? С человеком ничего сделать нельзя, – сказал Дик. – Будь он моим впервые напившимся соседом по комнате в колледже, я бы еще и попробовал. Но теперь с ним никто не справится.

– Так или иначе, а мне придется остаться. Он говорит, что ляжет спать лишь после того, как все мы съездим с ним на Алль⁴¹, – почти с вызовом сказала она.

Дик быстро поцеловал ее в сгиб локтя, изнутри.

Когда Дайверы уходили, Николь окликнула Мэри:

– Не отпускайте Розмари домой одну. Мы в ответе за девушку перед ее матерью.

...Некоторое время спустя Розмари, и Норты, и производитель кукольных пищалок из Ньюарка, и всенепременный Коллис, и рослый, роскошно одетый богач-индеец по имени Джордж Т. Лошадиный Заступник ехали в рыночном автофургоне, разместившись на многотысячной груде моркови. Прилипшая к волоскам морковок земля сладко пахла. Розмари сидела на самом верху груды и едва различала своих спутников в сумраке, поглощавшем их после каждого редко встречавшегося уличного фонаря. Голоса их доносились до нее как-то издали, словно они вели жизнь, не похожую на ее, не похожую и далекую, ибо в сердце своем она была с Диком и жалела, что осталась с Нортами, и желала оказаться сейчас в отеле, где он спал бы по другую от нее сторону коридора, – или чтобы он был сейчас здесь, рядом с ней, в теплой стекающей на них темноте.

– Не поднимайтесь сюда, – крикнула она Коллинсу, – морковки рассыплете.

И бросила одну в Эйба, сидевшего рядом с водителем, закоснелого, точно старик...

А еще позже она ехала наконец к отелю – уже совсем рассвело, и над церковью Сен-Сюльпис взмывали голуби. Все они вдруг рассмеялись, ибо знали: время еще ночное, позднее, и только люди на улицах заблуждаются, полагая, что настало жаркое, яркое утро.

«Вот я и побывала на безумной вечеринке, – думала Розмари, – и ничего в ней без Дика веселого нет».

Ей было грустно, она казалась себе преданной немножко, и вдруг краем глаза заметила некое движение. Огромный стянутый ремнями, цветущий конский каштан плыл в длинном

⁴¹ Алль Централь – большой парижский рынок того времени.

кузове грузовика к Елисейским Полям и просто-напросто сотрясался от хохота – совсем как прелестная женщина, попавшая в положение не самое благопристойное, но знающая, что прелести своей она ничуть не утратила. Зачарованно глядя на дерево, Розмари подумала вдруг, что ничем от него не отличается, и радостно засмеялась, и весь белый свет вмиг стал местом самым великолепным.

XIX

Поезд Эйба уходил с вокзала Сен-Лазар в одиннадцать, – и сейчас он одиноко стоял под грязным стеклянным сводом, реликтом семидесятых, эпохи Хрустального дворца; руки с сероватым оттенком, который появляется после двадцати четырех часов, проведенных без сна, он прятал, чтобы скрыть дрожь пальцев, в карманы плаща. Шляпа на голове Эйба отсутствовала, и потому видно было, что щеткой он лишь сверху прошелся по волосам, снизу они торчали кто куда. Узнать в нем человека, который две недели назад уплывал с пляжа Госса в море, было трудно.

Он оглядывал зал ожидания, ведя глазами справа налево – только глазами, для управления любой другой частью тела требовались нервные силы, которых у него не было. Мимо провезли новенькие чемоданы; хозяева их, будущие пассажиры, маленькие и смуглые, переключались пронзительными мрачными голосами.

И в ту минуту, когда он начал прикидывать, не пойти ли ему в вокзальный буфет и не выпить ли, и пальцы его уже сжали в кармане волглый ком тысячефранковых купюр, маятник его взгляда, дойдя до точки возврата, уткнулся в призрак поднимавшейся в зал по лестнице Николь. Он взгляделся в ее лицо: выражения, появлявшиеся на нем, сменяя друг друга, прочитывались, казалось Эйбу, легко – так нередко бывает, когда смотришь на ожидаемого тобой человека, еще не знающего, что ты за ним наблюдаешь. Вот она нахмурилась, думая о детях – не столько радуясь им, сколько перебирая их, как кошка, пересчитывающая лапкой своих котят.

Стоило Николь увидеть его, выражение это сошло с ее лица; утренний свет становился, проходя сквозь стеклянную крышу, печальным и обращал Эйба, под глазами которого проступали сквозь багровый загар темные круги, в прискорбное зрелище. Они присели на скамью.

– Я пришла, потому что вы попросили меня об этом, – словно оправдываясь, сказала Николь. Эйб, похоже, забывший причину своей просьбы, ничего не ответил, и ей пришлось довольствоваться разглядыванием проходивших мимо пассажиров.

– Вот эта дама будет на вашем судне первой красавицей – вон сколько мужчин ее провожает, – теперь вы понимаете, почему она купила такое платье? – Николь говорила все быстрее и быстрее. – Понимаете, что купить его могла только красавица, отбывающая в кругосветное плавание? Да? Нет? Ну, проснитесь же! Это не платье, а целая повесть, – такое количество лишней ткани просто должно о чем-то рассказывать, а на судне непременно отыщется человек, одинокий настолько, что ему захочется выслушать этот рассказ.

Тут Николь прикусила язык; что-то она слишком разболталась – во всяком случае, слишком для нее; и Эйбу, который смотрел в ее ставшее серьезным, почти каменным лицо, трудно было поверить, что она вообще раскрывала рот. Он не без труда расправил плечи, приняв позу человека, который вот-вот встанет, чего Эйб делать вовсе не собирался.

– Вечер, когда вы затащили меня на тот странный бал – помните, в день святой Женевиевы... – начал он.

– Помню. Весело было, правда?

– Не сказал бы. И с вами мне на этот раз было невесело. Устал я от вас обоих, и это не бросается в глаза лишь потому, что вы устали от меня еще сильнее, – вы знаете, что я имею в виду. Не будь я так тяжел на подъем – попробовал бы обзавестись новыми друзьями.

Обыкновенно мягкая, Николь ошетичилась:

– По-моему, говорить гадости глупо, Эйб. Тем более что ничего такого вы в виду не имеете. Не понимаю, с какой стати вы махнули рукой на все сразу.

Эйб помолчал, изо всех сил стараясь не закашляться и не рассопливиться.

– Наверное, скучно стало. К тому же для того чтобы начать двигаться куда-то, мне пришлось бы слишком далеко вернуться назад.

Мужчинам часто случается изображать перед женщинами беспомощных детей, но если они и вправду чувствуют себя беспомощными детьми, сыграть эту роль им почти никогда не удается.

– Это не оправдание, – твердо сказала Николь.

Эйбу становилось, что ни минута, все хуже, сил его только и хватало на сварливые, раздраженные отговорки. Николь решила, что самое для нее лучшее – сидеть, положив руки на колени и глядя прямо перед собой. Некоторое время оба молчали, каждый из них словно убегал и убегал от другого, не выкладываясь вконец лишь потому, что различал впереди кусочек синего простора – небо, не видимое никем другим. В отличие от любовников, у них не было прошлого; в отличие от супругов, не было будущего; и все же до этого утра Эйб нравился Николь больше, чем кто-либо еще, за исключением Дика, – а Эйб, большой, пуганный жизнью, многие годы любил ее.

– Устал я жить в мире женщин, – внезапно сказал он.

– Так создайте свой собственный.

– И от друзей устал. Хорошо бы лестцами обзавестись, подхалимами.

Николь старалась усилием воли заставить минутную стрелку вокзальных часов двигаться быстрее, но...

– Вы согласны? – требовательно спросил он.

– Я женщина, мое дело – удерживать все в целости и сохранности.

– А мое – рвать все в куски.

– Напиваясь, вы рвете в куски лишь самого себя, – сказала она теперь уже холодно, испуганно, неуверенно. Вокзал наполнялся людьми, однако ни одного знакомого лица Николь пока не увидела. И вдруг взгляд ее с благодарностью уперся в высокую девушку с подстриженными так, что получилось подобие шлема, соломенными волосами, – девушка опускала в почтовый ящик письма.

– Мне нужно поговорить вон с той женщиной, Эйб. Эйб, проснитесь! Вот дурень!

Эйб проводил ее снисходительным взглядом. Девушка обернулась, вроде бы испуганно, чтобы поздороваться с Николь, и Эйб узнал ее – это лицо попадалось ему где-то в Париже. Отсутствие Николь позволило Эйбу прокашляться в носовой платок – сильно, почти до рвоты, – и трубно высморкаться. Утро стояло теплое, белье Эйба намокло от пота. Пальцы дрожали так, что раскурить сигарету удалось лишь с четвертой спички; он понял: ему попросту необходимо добраться до буфета и выпить, но тут вернулась Николь.

– Зря я к ней подошла, – с ледяной улыбкой сообщила она. – Когда-то эта девица упрашивала меня прийти к ней в гости, а сегодня облила презрением. Смотрела, как на какую-то гнилушку. – Она издала сердитый смешок – словно две ноты высокой гаммы взяла. – Нет уж, пусть люди сами ко мне подходят.

Эйб, справившись с новым приступом кашля, на сей раз вызванным табачным дымом, заметил:

– Беда в том, что трезвым ты никого видеть не хочешь, а пьяного никто не хочет видеть тебя.

– Это вы обо мне? – снова усмехнулась Николь, по непонятной причине разговор с той девушкой поднял ей настроение.

– Нет – о себе.

– Ну так за себя и говорите. Мне люди нравятся, очень многие – нравятся...

Показались Розмари и Мэри Норт, они шли медленно, отыскивая Эйба, и Николь бросилась к ним с криками: «Эй! Привет! Эй!», и засмеялась, размахивая пакетом купленных ею для Эйба носовых платков.

Они стояли, испытывая неудобство, – маленькая компания, придавленная присутствием огромного Эйба: он был оказавшимся у них на траверзе разбитым галеоном, их угнетала его слабость и самопотворство, ограниченность и жесточенность. Все они чувствовали источаемое им импозантное достоинство, сознавали его достижения, пусть фрагментарные и давно превзойденные, но значительные. Однако устрашающую волю он сохранил, правда, когда-то она была волей к жизни, а теперь обращалась в волю к смерти.

Появился Дик Дайвер – олицетворение изысканной, светозарной арены, на которую три радостно вскрикнувшие женщины высыпали, точно мартышки, – одна уселась ему на плечо, другая на венчавшую голову Дика прекрасную шляпу, третья устроилась на золотом набалдашнике его трости. Теперь они могли забыть хотя бы на миг о великанской непристойности Эйба. Дик быстро уяснил положение и спокойно овладел им. Он вытянул каждую женщину из ее скорлупки в вокзальный зал, продемонстрировал его чудеса. Неподалеку от них некие американцы прощались голосами, создававшими каденцию воды, наполняющей большую старую ванну. Трем женщинам, обратившим спины к Парижу и выходявшим на перрон, представлялось, что они склоняются над океаном, и тот уже преображает их, перемещает их атомы, чтобы создать коренную молекулу, которая станет основой при сотворении новых людей.

Сквозь зал текли к перронам состоятельные американцы с новыми открытыми лицами, интеллигентными, участливыми, бездумными, вдумчивыми. Лицо затесавшегося в их толпу англичанина казалось среди них резким и чуждым. На тех участках перрона, где американцы скапливались в немалых количествах, первое создаваемое ими впечатление – безукоризненности и богатства – начинало стусевываться, обращаясь в безликие сумерки их расы, которые сковывали и ослепляли и их самих, и тех, кто наблюдал за ними.

Николь вдруг схватила Дика за руку и крикнула: «Смотри!» Он повернулся как раз вовремя для того, чтобы стать свидетелем занявшего полминуты происшествия. В двух вагонах от них, у двери «пульмана», разыгралась сцена, выделявшаяся из общей картины прощания. Молодая женщина со шлемом волос на голове, – это к ней подходила Николь, – как-то странно, бочком, отскочила на несколько шагов от мужчины, с которым разговаривала, и торопливо сунула руку в сумочку, а следом в узком воздушном пространстве перрона сухо щелкнули два револьверных выстрела. Одновременно резко засвистел паровоз, состав тронулся, заглушив их. Эйб, махавший друзьям рукой из своего окна, явно ничего не заметил. Они же увидели, прежде чем сомкнулась толпа, что выстрелы попали в цель, увидели, как та оседает на перрон.

Прежде чем поезд остановился, прошло около ста лет. Николь, Мэри и Розмари стояли в стороне от толпы, ожидая возвращения нырнувшего в нее Дика. Вернулся он через пять минут – к этому времени толпа разделилась на две части – одна сопровождала носилки с телом, другая бледную, решительную женщину, которую уводили двое растерянных жандармов.

– Это Мария Уоллис, – торопливо сообщил Дик. – Стреляла в англичанина – понять, кто он, оказалось сложнее всего, потому что пули прошли его удостоверение личности.

Покачиваемые толпой, они быстро продвигались к выходу из вокзала.

– Я выяснил, в какой *poste de police*⁴² ее отправили, сейчас поеду туда...

– Да у нее же сестра в Париже живет, – возразила Николь. – Давай лучше ей позвоним. Странно, что никто о ней не вспомнил. У сестры муж – француз, он наверняка сможет сделать больше нашего.

Дик поколебался, потом тряхнул головой и пошел вперед.

⁴² Полицейский участок (фр.).

– Постой! – крикнула ему в спину Николь. – Глупо, какой от тебя может быть прок с твоим-то французским?

– По крайней мере, я позабочусь, чтобы они не впадали с ней в крайности.

– Они наверняка задержат ее, – живо заверила мужа Николь. – Она же *стреляла* в человека. Самое правильное – немедленно позвонить Лауре, у нее больше возможностей, чем у нас. Дика она не убедила – кроме того, ему хотелось порисоваться перед Розмари.

– Подожди, – твердо сказала Николь и быстрым шагом направилась к телефонной будке.

– Если Николь берет что-то в свои руки, – с любовной иронией сказал Дик, – то уж берет целиком.

Розмари он видел впервые за это утро. Они переглядывались, стараясь отыскать друг в дружке следы вчерашних чувств. Поначалу каждый казался другому нереальным – потом теплый напев любви вновь зазвучал в их душах.

– Ты любишь помогать людям, верно? – сказала Розмари.

– Я всего лишь притворяюсь.

– Маме нравится помогать всем – но, конечно, у нее нет твоих возможностей. – Она вздохнула. – Иногда мне кажется, что я – самая эгоистичная женщина на свете.

В первый раз упоминание о ее матери скорее рассердило, чем позабавило Дика. Ему хотелось отодвинуть мать в сторону, вывести их роман из детской, на пороге которой упорно удерживала его Розмари. Однако Дик понимал: такое побуждение сулило ему утрату власти над собой – и что станет с влечением Розмари к нему, если он позволит себе расслабиться, хотя бы на миг? Дик видел, и не без испуга, что любовь их застывает на мертвой точке, а позволить ей стоять на месте нельзя, она должна куда-то идти – вперед или назад; и ему впервые пришлось в голову, что Розмари, пожалуй, держит рычаг управления ею рукой более властной, чем его рука.

Но придумать что-либо он не успел, ибо вернулась Николь.

– Я поговорила с Лаурой. Новость я сообщила ей первой, ее голос то замирал, то снова крепчал, – как будто она теряла сознание и заново собирала волю в кулак. По ее словам, она знала – этим утром непременно что-то случится.

– Марии следовало бы работать у Дягилева, – мягко сказал Дик, стараясь вернуть жене душевное спокойствие. – У нее такое чувство обстановки, не говоря уж о чувстве ритма. Скажите, кому-нибудь из вас доводилось видеть отправление поезда, обошедшее без пальбы?

Они спустились, стуча каблуками, по широким металлическим ступеням.

– Мне жалко бедного англичанина, – сказала Николь. – Потому она и говорила со мной так странно – пальбу собиралась открыть.

Николь усмехнулась, Розмари тоже, однако обеим было страшно и обе очень желали, чтобы Дик высказал о случившемся какое-либо суждение нравственного толка, избавив их от необходимости делать это самим. Желание это не было вполне осознанным, особенно у Розмари, давно привыкшей к свисту осколков такого рода происшествий над ее головой. Но сегодняшнее потрясло и ее. Дика же сотрясали в эти мгновения порывы другого, заново обретенного им чувства, мешавшие разложить все по полочкам каникулярного настроения, и потому обе женщины, ощущавшие, что чего-то им не хватает, чувствовали себя неопределенно несчастными.

Но тут жизни Дайверов и их знакомых выплеснулись, словно ничего и не случилось, на городскую улицу.

Однако случилось многое – Эйб уехал и Мэри предстояло сегодня после полудня отправиться в Зальцбург, и это подводило черту под временем, проведенным ими в Париже. А может быть, ее подвели выстрелы, сотрясение воздуха, завершившее бог весть какую мрачную историю. Выстрелы стали частью их жизней: эхо жестокой расправы проводило их до тротуара, где,

пока они ждали такси, двое стоявших рядом носильщиков беседовали, точно парочка обсуждающих результаты вскрытия судебных медиков.

– *Tu as vu le revolver? Il était très petit, vraie perle-un jouet.*

– *Mais, assez puissant!* – с видом знатока сообщил второй носильщик. – *Tu as vu sa chemise? Assez de sang pour se croire à la guerre*⁴³.

XX

Когда они вышли на площадь, над ней медленно пропекалось под июньским солнцем облако выхлопных газов. Ужасное – в отличие от чистого зноя, оно обещало не бегство в деревню, но лишь дороги, удушаемые такой же грязной астмой. Пока они завтракали на воздухе, напротив Люксембургского сада, у Розмари начало сводить спазмами низ живота, на нее напали раздражение и капризная усталость – послевкусие того, что заставило ее на вокзале предъявить себе обвинение в эгоизме.

Дик о резких переменах, творившихся в ней, знать ничего не мог; он был глубоко несчастен и потому погружен в себя и слеп ко всему, что происходило вокруг, а слепота эта глушила донную волну воображения, которая питала обычно работу его ума.

После того как Мэри Норт покинула их в обществе итальянского учителя пения, который присоединился к ним за кофе, а затем повез ее к поезду, Розмари встала тоже, ей нужно было зайти на киностудию: «Повидаться кое с кем из тамошних служащих».

– И, да... если появится тот южанин, Коллис Клэй... – попросила она, – ...если он застанет вас здесь, скажите ему, что я не могла ждать, пусть позвонит мне завтра.

Происшедшее на вокзале как-то притупило чувства Розмари, и она присвоила себе привилегии ребенка, что автоматически напомнило Дайверам о любви, которую они питали к своим детям, и в результате Розмари получила резкий отпор:

– Вам лучше оставить записку у гарсона, – твердо и без какого-либо выражения сказала Николь, – мы уже уходим.

Розмари приняла его без обиды:

– Ладно, пусть будет, как будет. До свидания, дорогие мои.

Дик потребовал счет; ожидая его, Дайверы сидели, неуверенно пожевывая зубочистки.

– Ну... – одновременно произнесли они.

Дик увидел, как губы Николь на миг искривились от горечи – на миг столь краткий, что только он и смог бы это заметить, он же предпочел притвориться, что ничего не увидел. О чем она думала? Розмари была всего лишь одной из десятка, примерно, людей, которых он «обрабатывал» в последние годы: в число их входили французский цирковой клоун, Эйб и Мэри Норты, танцевальная пара, писатель, художник, комедиантка из театра «Гран-Гиньоль», полумный педераст из «Русского балета», подававший большие надежды тенор, которого Дайверы целый год подкармливали в Милане. Николь хорошо знала, с какой серьезностью относились все они к интересу и энтузиазму, проявляемым ее мужем; но помнила также, что, если не считать времени родов, Дик со дня их женитьбы не провел ни одной ночи вдали от нее. С другой же стороны, он обладал обаянием, которое просто невозможно было не пускать в ход, – те, кому оно присуще, должны постоянно держать себя в форме, продолжать и продолжать притягивать людей, которые им, в сущности, не нужны.

Но теперь Дик словно застыл и позволял минутам проходить без единого жеста самоуверенности с его стороны, без проявлений постоянно обновляемого радостного удивления: мы вместе!

⁴³ – Ты револьвер заметил? Маленький такой, красивый – игрушка. – Но бьет по-настоящему! ... Рубашку его видел? Столько крови – как на войне (фр.).

Появился Коллис Клэй, южанин, он протиснулся между тесно составленными столиками и непринужденно поздоровался с Дайверами. Такие приветствия всегда неприятно поражали Дика – едва знакомый человек произносит: «Привет!», обращаясь к вам обоим, а то и всего к одному из вас. Сам он был так предупредителен с людьми, что в минуты апатии предпочитал не показываться им на глаза, а проявляемая в его присутствии бесцеремонность воспринималась им как вызов, бросаемый всей тональности его жизни.

Коллис, нисколько не сознавая, что явился на брачный пир без брачной одежды⁴⁴, возвестил о своем приходе так: «Опоздал, сколько я понимаю, – птичка уже упорхнула». Дикун пришлось сделать над собой усилие, чтобы процедить что-то в ответ, извинить Коллиса, не поздоровавшегося первым делом с Николь, не сказавшего ей ни одного приятного слова.

Она почти сразу ушла, а Дик остался сидеть, допивая свое вино. Коллис ему, пожалуй что, нравился – он был из «послевоенных», общаться с ним было легче, чем с большинством южан, которых Дик знал в Нью-Хейвене десятилетием раньше. Он слушал, забавляясь, болтовню молодого человека, которой сопровождалась обстоятельная, неторопливая заправка трубки табаком. Полдень только-только миновал, в Люксембургский сад стекались на прогулку няни с детьми; впервые за несколько месяцев Дик позволил этим часам дня течь без его участия.

И вдруг он почувствовал, как кровь застывает в его жилах, – до него дошло содержание доверительного монолога Коллиса.

– ... не такая она и холодная, как вы, наверное, думаете. Признаться, я и сам долгое время считал ее холодной. Но потом она попала в переделку с одним моим приятелем, мы тогда ехали на Пасху из Нью-Йорка в Чикаго, – Хиллис его фамилия, в Нью-Хейвене Розмари решила, что у него не все дома, – она ехала в одном купе с моей кузиной и захотела остаться наедине с Хиллисом, так что после полудня кузина пришла в наше купе и села со мной в карты играть. Вот, а часов около двух мы с ней отправились в их вагон, а там Розмари и Билл Хиллис ругаются в тамбуре с проводником – и Розмари белая, как полотно. Вроде бы они заперлись и шторку на окне опустили и, я так понимаю, серьезными занялись делами, а тут проводник пошел билеты проверять и постучался в их дверь. Они подумали, что это мы шутики над ними шутим, и не впустили его, а когда впустили, он уже озверел. Стал допрашивать Хиллиса, из какого тот купе, да женаты ли они с Розмари, да почему заперлись, а Хиллис объяснял ему, объяснял, что ничего такого они не делали, и тоже завелся. Заявил, что проводник оскорбил Розмари, что он ему сейчас морду набьет, но проводник же мог бог знает какой шум поднять, пришлось мне их всех успокаивать, и, поверьте, с меня семь потов сошло.

Дик ясно представлял себе все подробности и даже завидовал парочке, попавшей в такой переплет, но чувствовал при этом, как в нем что-то меняется. Оказывается, чтобы выбить его из состояния равновесия, чтобы по нервам его пустились гулять волны боли, страдания, желаний и отчаяния, требовался всего-навсего кто-то третий, пусть даже давно пропавший из виду, но затесавшийся когда-то между ним и Розмари. Дик прямо-таки видел ладонь, лежавшую на ее щеке, слышал участившееся дыхание Розмари, представлял себе распаленное возбуждение проводника, который ломится в дверь купе, и никому не подвластное тайное тепло за этой дверью.

Я опушу шторку, ты не против?

Да, опусти, слишком яркий свет.

А Коллис Клэй уже рассказывал – тем же самым тоном, так же подчеркивая отдельные слова, – о студенческих братствах Нью-Хейвена. К этому времени Дик успел сообразить, что молодой человек влюблен в Розмари – на какой-то удивительный, непонятный манер. История

⁴⁴ Отсылка к Матф., 22, 2–13.

с Хиллисом, судя по всему, на чувства Коллиса никак не повлияла, разве что внушила ему радостную уверенность в том, что Розмари «тоже человек».

– В «Костях»⁴⁵ отличные ребята подобрались, – говорил Коллис. – Да и в других братствах, вообще-то говоря, ничем не хуже. В Нью-Хейвен теперь столько народу набилось, что мы не всех и принять-то можем, увы.

Я опушу штормку, ты не против?

Да, опусти, слишком яркий свет.

...Дик пересек Париж и очутился в своем банке. Выписывая чек, он поглядывал на череду столов, прикидывая, кому из сидящих за ними клерков отдать его на оформление. Он писал, стараясь с головой уйти в это занятие, скрупулезно изучая перо, кропотливо выводя букву за буквой на листке бумаги, лежавшем поверх высокой стеклянной столешницы. И только раз поднял затуманенный взгляд, чтобы окинуть им почтовый отдел банка, но затем постарался затуманить и душу, целиком уйдя в то, с чем имел дело, – в чек, в перо, в стеклянную поверхность стола.

Однако Дик так и не решил, кому отдать чек, кто из клерков с наименьшей вероятностью сможет угадать, в какое прискорбное положение он попал и кто окажется наименее разговорчивым. Здесь был Перрин, учтивый уроженец Нью-Йорка, не раз предлагавший Дику позавтракать вместе в Американском клубе; был испанец Казасус, с которым он обычно разговаривал о каком-нибудь общем знакомом, даром что ни одного из них не видел лет уж двенадцать; был Мачхауз, который всегда осведомлялся, желает ли он снять деньги со счета жены или с собственного.

Выписывая на корешке чека сумму и подчеркивая ее двумя линиями, Дик решил обратиться к Пирсу, – тот молод, и особо сложного представления разыгрывать перед ним не придется. Зачастую легче разыграть представление, чем наблюдать за ним.

Но сначала он направился в отдел почты, и работавшая там женщина грудью отпихнула от края стола едва не свалившийся с него листок бумаги, и Дик подумал, что мужчине никогда не научиться владеть своим телом так, как умеет женщина. Он взял корреспонденцию, отошел от стола, просмотрел ее: счет от немецкого концерна за семнадцать книг по психиатрии; счет из «Брентано»; письмо из Буффало – от отца, почерк которого с каждым годом становился все неразборчивей; открытка от Томми Барбана – штемпель Феса, несколько шуточных фраз; письма от цюрихских врачей, оба на немецком; внушающий определенные сомнения счет от каннского штукатура; счет от краснодеревщика; письмо от издателя балтиморского медицинского журнала; разного рода извещения и приглашение на выставку начинающего художника; а кроме того, три письма для передачи Николь и одно – Розмари.

Я опушу штормку, ты не против?

Он направился к Пирсу, но тот обслуживал клиентку, и Дик, спиной почуяв, что сидящий совсем рядом Казасус свободен, подошел к его столу.

– Как вы, Дайвер? – тепло осведомился Казасус. Он встал, улыбка раздвинула его усы. – Мы тут недавно разговаривали о Фезерстоуне, и я вспомнил вас – он сейчас в Калифорнии.

Дик округлил глаза, слегка наклонился вперед:

– В Калифорнии?

– Так я слышал.

Дик отдал ему чек и, чтобы не отвлекать внимание Казасуса, повернулся к столу Пирса и дружески подмигнул – это была их общая шутка трехлетней давности, Пирс крутил в то время роман с литовской графиней. Пирс подыгрывал, ухмыляясь, пока Казасус заполнял свои

⁴⁵ «Череп и кости» – старейшее (основано в 1832 г.) тайное студенческое общество Йельского университета, ставшее прототипом множества других.

графы чека; заполнив их, он сообразил, что Дика, который нравится ему, задерживать больше не вправе, и потому снова встал, снял пенсне и повторил:

– Да, в Калифорнии.

Между тем Дик заметил, что Перрин, сидящий за первым в очереди столом, беседует с боксером, чемпионом мира в тяжелом весе; по брошенному на него Перрином косому взгляду Дик понял: тот подумывал позвать его и представить чемпиону, но в конечном счете решил этого не делать.

С энергией, накопленной им за стеклянным столиком, Дик пресек новую попытку Казасуса завести разговор, а именно: внимательно изучил чек; перевел взгляд на нечто важное, совершавшееся за первой мраморной колонной, уходившей к потолку справа от головы клерка; с нарочитой скрупулезностью распределил по рукам трость, шляпу и письма, раскланялся и удалился. Банковского швейцара Дик подмазал давным-давно, поэтому, как только он вышел на улицу, к бордюру подъехало такси.

– Мне нужно попасть на студию «Филмс Пар Экселенс» – это в Пасси, на маленькой улочке. Поезжайте к Мюэтт, а там я покажу.

События последних двух суток повергли Дика в растерянность, и сейчас он даже не взялся бы сказать, что собирается делать. Доехав до Мюэтт, он расплатился с таксистом и направился к студии пешком, а не дойдя немного до ее здания, перешел на другую сторону улицы. Внешне приличный, хорошо одетый господин, он был тем не менее полон колебаний и напоминал себе самому загнанного зверя. Чтобы восстановить былое достоинство, следовало отказаться от прошлого, от всего, чему он отдал последние шесть лет. Он начал торопливо прогуливаться вокруг квартала – бессмысленное занятие, достойное какого-нибудь таркингтоновского⁴⁶ подростка, – ускоряя шаг на трех его сторонах, где Розмари появиться не могла. Места здесь были унылые. На ближнем к студии доме висела вывеска «*1000 chemises*»⁴⁷. Рубашки заполняли витрину – сложенные в стопки, обвязанные галстуками, набитые чем-то или разбросанные с претензией на грациозность по полу: «1000 рубашек» – поди-ка, сосчитай. На доме по другую сторону студии значилось: «*Papeterie*», «*Pâtisserie*», «*Solde*», «*Réclame*»⁴⁸ – и висела фотография Констанс Толмадж в роли из «*Déjeuner de Soleil*»⁴⁹, а немного дальше обнаружили вывески более мрачные: «*Vêtements Ecclésiastiques*», «*Déclaration de Décès*» и «*Pompes Funèbres*»⁵⁰. Жизнь и смерть.

Дик понимал: то, что с ним сейчас происходит, перевернет его жизнь, – оно резко выбивалось из ряда всего предшествовавшего, нисколько не было связано с впечатлением, которое он рассчитывал произвести на Розмари. Розмари всегда видела в нем образчик правоты, – а это блуждание вокруг квартала было как-никак вторжением в ее жизнь. Однако настоятельная потребность в нынешнем его поведении отражала некую скрытую реальность: он вынужден был прохаживаться здесь или стоять – манжеты сорочки обтягивают запястья, рукава пиджака заключают в себе, создавая подобие золотникового клапана, рукава сорочки, воротник упруго облегают шею, безупречно подстриженные рыжие волосы и маленький портфель в руке обращают его едва ли не в денди – подобно другому мужчине, посчитавшему некогда необходимым стоять во власянице и с посыпанной пеплом главой перед собором в Ферраре, Дик приносил дань всему, что не подлежит забвению, не искупается, не допускает изъятий.

⁴⁶ Бут Таркингтон (1869–1946) – американский писатель и драматург, автор романов из жизни подростков Среднего Запада.

⁴⁷ «1000 рубашек» (фр.).

⁴⁸ «Писчебумажный магазин», «Кондитерская», «Уцененные товары», «Реклама» (фр.).

⁴⁹ «Солнечный завтрак» (фр.).

⁵⁰ «Церковные облачения», «Регистрация смертей», «Ритуальные услуги» (фр.).

XXI

Так прошли пустые три четверти часа, а затем у Дика состоялась неожиданная встреча. То есть именно то, что нередко случалось с ним, когда ему никого не хотелось видеть. В такие минуты он столь откровенно выставлял напоказ свою замкнутость, что нередко добивался полной противоположности желаемого – совершенно как актер, который, играя слишком сдержанно, лишь приковывает к себе общие взгляды, обостряет эмоциональное внимание публики, а заодно и пробуждает в ней способность самостоятельно заполнять оставляемые им пустоты. Точно так же и мы редко сочувствуем людям, которые нуждаются в нашей жалости и жаждут ее, – мы бережем сочувствие для тех, кто позволяет нам упражняться в жалости чисто умозрительной.

Примерно таким образом мог бы сам Дик проанализировать все последовавшее. Он мерил шагами улицу Святых Ангелов, и его остановил американец лет тридцати с худым, изуродованным шрамами лицом и легкой, но отчасти зловещей улыбкой. Незнакомец попросил огоньку, и пока он прикуривал, Дик, приглядевшись, отнес его к типу людей, который знал еще с ранней юности, – такой человек мог бить баклуши в табачной лавке, облокотившись о прилавок, разглядывая тех, кто входил в нее и выходил, и, возможно, даже оценивая их, хотя небесам только было ведомо, сколь малая часть его сознания занималась этим. Его можно было увидеть и в гаражах, с хозяевами которых он обсуждал вполголоса какие-то, не исключено, что и темные дела; в парикмахерских, в фойе театров – в подобных, по мнению Дика, местах. Временами такие лица всплывали в самых свирепых карикатурах Тада⁵¹, – в отрочестве Дику часто доводилось подходить к расплывчатой границе преступного мира и окидывать ее испуганным взглядом.

– Как вам нравится Париж, приятель?

Не ожидая ответа, незнакомец зашагал рядом с Диком и ободряющим тоном задал второй вопрос:

– Сами-то откуда?

– Из Буффало.

– А я из Сан-Антонио, но еще с войны здесь застрял.

– Воевали?

– Да уж будьте уверены. Восемьдесят четвертая дивизия⁵² – слышали о такой?

Немного обогнав Дика, незнакомец направил на него взгляд, без малого угрожающий.

– Живете в Париже, приятель? Или так, проездом?

– Проездом.

– В каком отеле остановились?

Дику стало смешно – похоже, этот тип надумал обчистить нынче ночью его номер. Однако «тип» без труда прочел его мысль.

– При вашей комплекции меня вам бояться нечего, приятель. Бездельников, готовых ограбить любого американского туриста, здесь хватает, но меня вы можете не бояться.

Дик остановился, ему стало скучно:

– Интересно, откуда у вас столько свободного времени?

– Вообще-то у меня тут работа есть, в Париже.

– И какая же?

– Газеты продаю.

⁵¹ Томас Алоизий Дорган (1877–1929) – американский карикатурист, подписывавший свои рисунки «Тад».

⁵² Американская пехотная дивизия. Создана в 1917-м, в 1918 году переброшена во Францию, использовалась как учебная часть, в боях не участвовала.

Контраст между устрашающими повадками и столь мирным занятием показался Дикунелепым, однако незнакомец подтвердил его, сказав:

– Вы не думайте, я в прошлом году кучу денег заработал – брал за номер «Санни таймс» по десять-двадцать франков, а тот всего шесть стоит.

Он достал из порыжелого бумажника газетную вырезку и протянул ее своему случайному попутчику – то была карикатура: поток американцев стекает на берег по сходням груженного золотом корабля.

– Двести тысяч тратят за лето десять миллионов.

– А здесь, в Пасси, вы как оказались?

Незнакомец с опаской поозирался по сторонам.

– Кино, – непонятно сказал он. – Тут американская студия есть. Им нужны парни, которые по-английски кумекают. Вот я и жду, когда у них местечко освободится.

Дик быстро и решительно распростился с ним.

Ему стало ясно, что Розмари либо ускользнула на одном из первых его кругов, либо ушла еще до того, как он здесь появился, и потому Дик зашел в угловое бистро, купил свинцовый жетон и, опустив его в аппарат, висевший в стенной нише между кухней и грязной уборной, позвонил в «Короля Георга». Он уловил в своем дыхании нечто от Чейна-Стокса, однако симпатом этот, как и все остальное в тот день, послужил лишь напоминанием о его чувстве. Назвав телефонистке номер, он стоял с трубкой в руке, и смотрел в зал кафе, и спустя долгое время услышал странно тонкий голос, произнесший «алло».

– Это Дик – я не смог не позвонить тебе.

Пауза – затем храбро, в тон его чувствам:

– Хорошо, что позвонил.

– Я приехал в Пасси, к твоей студии – и сейчас там, напротив нее. Думал, может, мы покатаемся в Буа.

– О, я на студии всего минуту пробыла! Как жалко.

Молчание.

– Розмари.

– Да, Дик.

– Послушай, со мной происходит что-то невероятное из-за тебя. Когда ребенок возмущает покой пожилого джентльмена, все страшно запутывается.

– Ты не пожилой, Дик, ты самый молодой на свете.

– Розмари?

Молчание. Дик смотрел на полку, заставленную скромной французской отравой – бутылками «Отара», рома «Сент-Джеймс», ликера «Мари Бризар», «Апельсинового пунша», белого «Андре Фернет», «Черри-Роше», «Арманьяка».

– Ты одна?

Я опущу штормку, ты не против?

– А с кем, по-твоему, я могу быть?

– Прости, в таком уж я состоянии. Так хочется оказаться сейчас рядом с тобой.

Молчание, вздох, ответ:

– Мне тоже этого хочется.

За телефонным номером крылся номер отеля, где она лежала сейчас, овеваемая тихими дуновениями музыки:

Двое для чая.

Я для тебя,

Ты для меня –

Одними.

Дик вспомнил ее припудренную загорелую кожу, – когда он целовал ее лицо, кожа у корней волос была влажной; белое лицо под его губами, изгиб плеча.

– Это невозможно, – сказал он себе и через минуту уже шел по улице к Мюэтт, а может, в другую сторону – в одной руке портфельчик, другая держит, как меч, трость с золотым набалдашником.

Розмари вернулась за стол и закончила письмо к матери.

«...Я видела его лишь мельком, но, по-моему, выглядит он чудесно. Я даже влюбилась в него. (Конечно, Дика Я Люблю Сильнее – ну, ты понимаешь.) Он и вправду собирается ставить картину и чуть ли не завтра отбывает в Голливуд, думаю, и нам тоже пора. Здесь был Коллис Клэй. Он мне нравится, но виделась я с ним мало – из-за Дайверов, которые и вправду божественны, почти Лучшие Люди, Каких Я Знаю. Сегодня мне нездоровится, я принимаю Средство, хотя никакой нужды в нем Не вижу. Пока мы не встретимся, я даже Пробовать Рассказать тебе Обо Всем, Что Случилось, не буду!!! А потому, как получишь это письмо, *или, или, или телеграмму!* Приедешь ли ты сюда, или мне лучше ехать с Дайверами на юг?»

В шесть Дик позвонил Николь.

– У тебя какие-нибудь планы есть? – спросил он. – Может, скоротаем вечер тихо – пообедаем в отеле, а оттуда в театр?

– Думаешь, так? Я сделаю, как ты захочешь. Я недавно позвонила Розмари, она заказала обед в номер. По-моему, это всех нас немного расстроит, нет?

– Меня не расстроит, – ответил он. – Милая, если ты не устала, давай что-нибудь предпримем. А то вернемся на юг и будем целую неделю гадать, почему мы не посмотрели Буше. Все лучше, чем киснуть...

Это был промах, и Николь тут же за него ухватилась:

– По какому случаю киснуть?

– По случаю Марии Уоллис.

Она согласилась на театр. Такое у них было обыкновение: стараться не уставать – тогда и дни лучше проходят, и вечера даются легче. А если они все же падали духом, что неизбежно, всегда можно было свалить вину за это на усталость других. Перед тем, как покинуть отель, они – красивая пара, другой такой в Париже не найти – тихонько постучали в дверь Розмари. Ответа не последовало, и, решив, что она спит, Дайверы вышли в теплую, шумную парижскую ночь и для начала выпили в сумрачном баре Фуке вермута с горькой настойкой.

XXII

Проснулась Николь поздно, успев еще, прежде чем распахнуть длинные, спутанные сном ресницы, пробормотать что-то в ответ своему сновидению. Кровать Дика была пуста – и лишь минуту спустя Николь сообразила, что разбудил ее стук в дверь их номера.

– *Entrez!*⁵³ – крикнула она, однако ответа не услышала и, набросив халат, пошла и открыла дверь. За нею оказался *sergent-de-ville*⁵⁴, учтиво кивнув, он вошел в номер.

– Мистер Афган Норт – он здесь?

– Кто? Нет... он уехал в Америку.

– Когда он отбыл, мадам?

– Вчера утром.

Полицейский тряхнул головой и быстро покачал перед носом Николь пальцем.

⁵³ Войдите! (фр.)

⁵⁴ Полицейский (фр.).

– Этой ночью он был в Париже. Поселился здесь, однако его номер не занят. Мне сказали, что лучше спросить в вашем номере.

– Очень странно – мы видели, как он уезжал на поезде, который шел в порт.

– Так или иначе, нынче утром он был здесь. Даже *carte d'identité*⁵⁵ показывал. И вы тоже здесь.

– Мы ничего об этом не знаем! – изумленно воскликнула Николь.

Полицейский задумался. Пахло от него не очень приятно, однако он был довольно хорош собой.

– Вы не были с ним прошлой ночью?

– Нет, конечно.

– Мы арестовали негра. И мы убеждены, что наконец арестовали правильного негра.

– Поверьте, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Если речь идет о нашем знакомом, мистере Абрахаме Норте, то, пусть даже он и был ночью в Париже, нам ничего на этот счет не известно.

Полицейский покивал, пососал верхнюю губу, он верил ей, но был разочарован.

– Так что случилось? – спросила Николь.

Полицейский выставил перед собой ладони, вытянул сжатые губы. Он успел оценить ее красоту, и теперь глаза его так и обрыскивали Николь.

– Что вы хотите, мадам? Обычная летняя история. Мистера Афгана Норта обокрали, он подал жалобу. Мы арестовали негодяя. Теперь мистеру Афгану следует опознать его и предъявить должные обвинения.

Николь потуже запахнула халат, попрощалась с полицейским. Озадаченная, она приняла ванну, оделась. Было уже за десять, она позвонила Розмари, но та не ответила, позвонила в контору отеля и услышала, что Эйб действительно поселился здесь в половине седьмого утра. Номер его, однако, остается не занятым. Надеясь на появление Дика, она посидела в гостиной их люкса и собралась уж уйти, когда зазвонил телефон. Портье:

– К вам мистайр Кроушоу, *un nègre*⁵⁶.

– По какому делу?

– Он говорит, что знает вас и доктайра. Говорит, что мистер Фримен, друг всех людей, сидит в тюрьме. Что это несправедливо, и он желает увидеть мистайра Норта, пока его самого не арестовали.

– Мы ничего об этом не знаем, – объявила Николь и свирепо хлопнула трубкой по аппарату. Странное возвращение Эйба ясно дало ей понять, как сильно устала она от его гульбы. Выбросив его из головы, она покинула номер, отправилась к портному и там столкнулась с Розмари, и отправилась с нею на рю де Риволи покупать искусственные цветы и разноцветные бусы. Она помогла Розмари выбрать бриллиант для матери и несколько шарфов и новомодных портсигаров для калифорнийских коллег. Николь купила сыну целую армию греческих и римских оловянных солдатиков, стоившую более тысячи франков. И на этот раз две женщины тратили деньги совершенно по-разному, и Розмари снова любовалась тем, как делает это Николь. Та нисколько не сомневалась, что расходует *свои* деньги, для Розмари же они все еще оставались чем-то чудотворно ссуженным ей, и это означало, что обходиться с ними следует очень осторожно.

Так весело было сорить деньгами в залитом солнечным светом чужеземном городе, ощущая здоровье своих тел и румянец лиц; ощущая предплечья и кисти рук, ощущая ступни и лодыжки, простирая первые и переступая вторыми с уверенностью женщин, которыми любуются мужчины.

⁵⁵ Удостоверение личности (*фр.*).

⁵⁶ Негр (*фр.*).

Вернувшись в отель, они обнаружили Дика, веселого и по-утреннему свежего, и обе ощутили безоглядную детскую радость.

У Дика только что состоялся путаный телефонный разговор с Эйбом, каковой, судя по всему, провел утро, от кого-то прячась.

– Такого удивительного разговора у меня еще не было.

Говорил Дик не только с Эйбом, но и еще с десятком каких-то людей. Представлялись эти статисты по преимуществу так:

– ...тут один поговорить с вами хочет, он вроде как от нефтяного скандала сюда сбежал, ну, так он говорит... нет, от какого?

– Эй, там, заткнитесь... в общем, он влип в какую-то историю и не может вернуться домой. Сам-то я думаю... сам я думаю, что у него...

Несколько гулких глотков, дальнейшее – молчание.

А следом новое предложение:

– Я подумал, вам, как психологу, будет интересно...

Малопонятная личность, произнесшая это, явно никак не могла оторваться от трубки – вследствие чего была неинтересна Дикю ни как психологу, ни в каком-либо ином его качестве. Затем произошел разговор с самим Эйбом:

– Аллю.

– Ну и?

– Ну и аллю.

– Вы кто?

– Ну... – веселое фырканье, а чье – непонятно.

– Ладно, сейчас я вам его дам.

Время от времени Дик слышал голос Эйба, перемежавшийся шаркотней ног, стуком упавшей трубки, далекими выкриками наподобие: «Нет, мистер Норт, нет, я...» Затем еще чей-то голос, бодрый, уверенный, произнес: «Если вы друг мистера Норта, приезжайте, заберите его».

После чего заговорил Эйб, торжественно и прозаично, заглушив все остальные шумы:

– Дик, я тут на Монмартре расовые беспорядки устроил. Собираюсь поехать и вытащить мистера Фримена из тюрьмы. Если объявится негр из Копенгагена, производитель сапожного крема, – аллю, вы меня слышите? – так вот, если объявится кто-то еще...

И снова в трубке взревел хор несчетных голосов.

– Вы зачем вернулись в Париж? – спросил Дик.

– Я доехал до Эвре и решил прилететь обратно, чтобы сравнить его с Сен-Сюльписом. Нет, Сен-Сюльпис я в Париж возвращать не собирался. И барокко тоже! Разве что Сен-Жермен. Ради бога, погодите минутку, я вам сейчас здешнего официанта дам.

– Ради бога, не надо.

– Слушайте, Мэри уехала, все нормально?

– Да.

– Дик, вы должны поговорить с человеком, с которым я тут поутру познакомился, он сын морского офицера, так тот уже обегал всех докторов Европы. Я вам сейчас о нем расскажу...

Тут Дик положил трубку, может, это и было нехорошо, но ему требовалось дать передышку мозгам.

– Эйб был таким милым, – рассказывала Николь Розмари. – Таким милым. Давно, когда мы с Диком только еще поженились. Знали бы вы его в то время. Он приезжал к нам на несколько недель, и мы по временам забывали, что он вообще живет у нас. Иногда он играл, иногда часами сидел в библиотеке у молчавшего рояля и просто поглаживал его, как любимую женщину, а помнишь тогдашнюю нашу горничную, Дик? Она считала его привидением, Эйб,

бывало, встречал ее в коридоре и говорил: «бууу», однажды это обошлось нам в чайный сервиз, но мы не расстроились.

Так было весело – так давно. Розмари завидовала им, воображая досужую жизнь, столь отличную от ее собственной: о досуге она мало что знала, но уважала за него Дайверов, никогда его не имевших. Думала о совершенном покое, не понимая, что они были так же далеки от покоя, как и она.

– Что с ним случилось? – спросила Розмари. – Почему он начал пить?

Николь покачала головой справа налево, размышлять об этом всерьез ей не хотелось:

– Сейчас так много умных людей разваливается на куски.

– Почему же «сейчас»? – спросил Дик. – Умные люди всегда ходили по лезвию ножа, других дорог у них не было – некоторые этого не выдерживали и опускали руки.

– Нет, тут что-то другое, куда более серьезное, – стояла на своем Николь, которой не нравилось, что Дик спорит с ней в присутствии Розмари. – Те же художники – Фернан, к примеру, – выпивкой не балуются. Почему в ней тонут только американцы?

Ответов на этот вопрос существовало так много, что Дик решил оставить его висеть в воздухе, пусть себе зудит в ушах Николь. Он начинал понемногу проникаться все более критическим отношением к ней. Да, он считал Николь самым привлекательным человеческим существом, какое когда-либо знал, да, он получил от нее все, в чем нуждался, и все-таки уже учуял запах боев, которые им только еще предстояло вести, и подсознательно вооружался, готовясь к ним, и час за часом ожесточался. Дик не предавался самопотворству, но понимал, что поступает не очень красиво, позволяя себе слишком многое и на многое закрывая глаза в надежде, что Николь замечет лишь простое волнение чувств, которое возбуждает в нем Розмари. Однако уверен ни в чем не был, – прошлой ночью в театре она заговорила вдруг об этой девушке, назвав ее ребенком.

Втроем они позавтракали в отеле среди ковров и неслышно ступавших по ним официантов, нисколько не походивших на шумных топтунов, которые подносили им обед вчера вечером. Их окружали американские семьи, глазевшие на другие американские семьи, с которыми им хотелось вступить в беседу.

За соседним большим столом расположилась компания, разобраться в которой им не удалось. Ее составляли: экспансивный – «вы-не-могли-бы-повторить-сказанное», – смахивавший на секретаря молодой человек и десятка два женщин. Не молодых и не старых, не принадлежавших к строго определенной социальной прослойке, и все-таки производивших впечатление некоего единства, людей более близких друг дружке, чем, скажем, жены, согнанные в табун мужьями, которые съехались на какой-то профессиональный конгресс. И уж куда более единых, чем обычные туристки.

Инстинкт заставил Дика воздержаться от насмешливого замечания, которое уже завертелось у него на языке, и спросить у официанта – кто это.

– Это матери – знаете, «Золотая звезда»⁵⁷, – объяснил тот.

Они ахнули – кто громко, кто тихо. На глаза Розмари навернулись слезы.

– Те, что помоложе, наверное, жены, – сказала Николь.

Допивая вино, Дик снова взгляделся в них: в их счастливые лица, и почувствовал в достоинстве, которое наполняло этих женщин, подлинную зрелость немолодой Америки. Спокойные женщины, приехавшие сюда, чтобы оплакать своих мертвецов, поскорбеть о том, чего они не могли поправить, осеняли зал ресторана подлинной красотой. И на миг он ощутил себя снова скачущим на колене отца с верными долгу рейнджерами Мосби на бой. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться за столик к двум его женщинам, к новому миру, в существование которого он так верил.

⁵⁷ Речь идет об американском обществе матерей, дети которых пали на войне.

Я опушу штормку, ты не против?

XXIII

Эйб Норт сидел в баре «Ритца» с девяти утра. Когда он явился туда в поисках убежища, все окна были открыты и могучие лучи солнца выбивали пыль из прокуренных ковров и мягких сидений. Свободные, не обремененные никакими делами лакеи сновали по коридорам отеля, радуясь движению в пустом пространстве. Сидячий женский бар, находящийся напротив собственно бара, казался совсем маленьким, – трудно было представить, какая толпа набьется туда после полудня.

Знаменитый Поль, здешний буфетчик, еще не появился, однако проверявший запасы спиртного Клод прервал, не выказав неуместного удивления, эту работу и смешал Эйбу порцию опохмелки. Эйб присел с ней на скамью у стены. После второй порции он начал приходить в себя и даже отлучился, чтобы побриться, в парикмахерскую. Ко времени его возвращения в баре уже был и Поль, приехавший в своей изготовленной по особому заказу машине, которую он оставлял – из скромности – на бульваре Капуцинов. Эйб нравился Полю, и тот подошел к нему, чтобы поговорить.

– Сегодня утром мне полагалось отплыть домой, – сказал Эйб. – Вернее, вчера – или когда это было? Не помню.

– А что ж не отплыли? – спросил Поль.

Эйб подумал-подумал и измыслил причину:

– Я читаю в «Либерти»⁵⁸ роман с продолжением, следующий выпуск вот-вот появится в Париже, и, уплыв, я пропустил бы его, а потом уж не прочитал бы.

– Хороший, наверное, роман.

– Ужжжасно хороший.

Поль хмыкнул, встал, помолчал, прислонясь к спинке кресла, а затем сказал:

– Если вы действительно хотите уехать, мистер Норт, то завтра на «Франции» отплывают двое ваших знакомых – мистер... как же его? – и Слим Пирсон. Мистер... никак не вспомню... высокий, недавно бороду отпустил.

– Ярдли, – подсказал Эйб.

– Мистер Ярдли. Оба поплывут на «Франции».

Поль повернулся, чтобы уйти, его ждала работа, однако Эйб попытался его задержать:

– Да, но мне еще придется в Шербур заехать. Туда отправился мой багаж.

– Так вы его в Нью-Йорке получите, – сказал, уходя, Поль.

Логика этого соображения дошла до Эйба не сразу – он уже привык, что за него думают другие, позволяя ему сохранять блаженное состояние безответственности.

Между тем в бар понемногу стекались клиенты: первым пришел огромный датчанин, которого Эйб где-то уже встречал. Датчанин сел по другую сторону зала, и Эйб догадался, что он собирается провести в баре весь день, выпивая, завтракая, разговаривая или читая газеты. Эйбу захотелось пересидеть его. В одиннадцать начали появляться студенты – не уверенные в себе, они старались держаться поближе друг к другу. Примерно тогда Эйб и попросил лакея позвонить Дайверам; но пока тот дозванивался, успел связаться с несколькими знакомыми, а затем ему пришла в голову счастливая мысль: попробовать поговорить по всем телефонам сразу – получилась своего рода куча-мала. Время от времени мысли его обращались к необходимости отправиться в полицию и вытащить Фримена из тюрьмы, однако он отмахивался от любых потребностей, как от части ночного кошмара.

⁵⁸ Нью-Йоркский еженедельник, издававшийся с 1924 по 1951 год. В нем печатался и Фицджеральд.

К часу дня бар оказался набитым битком, сквозь общий шум пробивались голоса официантов, напоминавших клиентам, кто из них что выпил и съел и на сколько.

– То есть два виски с содовой... и одно... два мартини и одно... вы, мистер Квотерли, еду не заказывали... повторяли три раза. Получается семьдесят пять франков, мистер Квотерли. Мистер Шеффер сказал, что это его... а, последняя ваша была... Как скажете, так и сделаем... премного благодарен.

В этой суете Эйб остался без места и теперь стоял, легко покачиваясь и разговаривая с человеком, с которым только что познакомился. Чей-то терьер обвил поводком его ноги, но Эйбу удалось выпутаться, не упав, и тут же кто-то рассыпался перед ним в глубочайших извинениях. Потом его пригласили на ленч, однако он приглашение отклонил. Уже почти Бриглит, объяснил он, а у него на Бриглит одно дельце намечено. Немного погодя он, блеснув изысканными манерами алкоголика, мало чем отличающимися от манер арестанта или старого семейного слуги, попрощался с новым знакомцем и, совершив поворот кругом, обнаружил, что великая пора бара завершилась так же стремительно, как началась.

По другую сторону зала завтракал в своей компании датчанин. Эйб тоже заказал еду, но почти не притронулся к ней. Потом он сидел, радуясь возможности жить в прошлом. Спиртное умеет переносить счастливые мгновения прошлого в настоящее, чтобы мы пережили их заново, – и даже в будущее, обещая, что они наступят опять.

В четыре к нему подошел отельный лакей:

– Вы хотите увидеть цветного малого по имени Жюль Петерсон?

– О боже! Как он меня нашел?

– Я не говорил ему, что вы здесь.

– А кто же тогда? – Эйба качнуло так, что он едва не упал лицом в тарелку, впрочем, ему удалось удержаться.

– Он говорит, что уже побывал во всех американских барах и отелях.

– Скажите ему, что меня и здесь нет... – Лакей повернулся, но Эйб вдруг спросил: – А сюда он зайти может?

– Сейчас узнаю.

Получив этот вопрос, Поль оглянулся через плечо, покачал головой и подошел к Эйбу:

– Извините, этого я разрешить не могу.

Эйб с трудом поднялся на ноги и направился в сторону рю Камбон.

XXIV

Ричард Дайвер, выйдя с кожаным портфельчиком в руке из полицейского комиссариата седьмого аррондисмена, где оставил Марии Уоллис записку, подписанную «Диколь», – совсем как те письма, которыми он и Николь обменивались в начальную пору их любви, – направился к шившему его сорочки портному, и там подмастерья подняли вокруг него суету, совершенно несоразмерную тому, что он платил за их работу. Эти бедные англичане ждали от него столь много – от господина с изысканными манерами и лицом, говорившим, что он владеет секретом надежной, обеспеченной жизни, – и Дик стыдился смотреть им в глаза, как стыдился того, что портной вынужден виться вокруг его особы, сдвигая туда и сюда дюймовый кусочек шелка по рукаву сорочки. Покинув портного, он зашел в отель «Крийон», выпил в баре чашечку кофе и на два пальца джина.

Свет в отеле показался ему неестественно ярким, и только покинув его, Дик понял, почему: на улицах смеркалось. Было всего четыре часа, но уже наступал вечер – ветреный – на Елисейских Полях пела и опадала истончившаяся буйная листва. Дик свернул на рю де Риволи, прошел под аркадами двух площадей к своему банку, забрал почту. Потом остановил такси и

под перестук начинавшегося дождя поехал по Елисейским Полям, сидя в машине наедине со своей любовью.

Двумя часами раньше, в коридоре «Короля Георга» красота Розмари выглядела рядом с красотой Николь так, как выглядит рядом с картинкой из журнала девушка Леонардо. Сейчас одержимый, испуганный Дик ехал сквозь дождь, ощущая, как в нем бушуют страсти не одного мужчины, но многих, и не различая в своей душе никакой простоты.

Розмари открыла ему дверь, переполненная эмоциями, о которых никому, кроме нее, известно еще не было. Она обратилась в то, что иногда называют «бесенком» – за прошедшие сутки ей так и не удалось стать чем-то цельным, эти двадцать четыре часа она лишь играла с хаосом, в который погрузилась, как если бы судьба ее была складной картинкой – пересчитаем свои преимущества, сочтем надежды, дадим по отповеди Дику, Николь, матери, режиссеру, с которым вчера познакомились, и все это – словно четки перебирая.

Перед тем как Дик стукнул в дверь, она только-только успела одеться и постоять у окна, глядя на дождь, думая о каком-то стихотворении, о переполненных водостоках Беверли-Хиллз. А открыв дверь, увидела Дика таким же неизменно богоподобным, каким он был для нее всегда, – примерно так же пожилые люди представляются косными и несговорчивыми тем, кто моложе их. Дика же, едва он увидел ее, охватило неотвратимое разочарование. Впрочем, отклик на безоглядную ласковость улыбки Розмари, на ее тело, продуманное до миллиметра – так, чтобы создать впечатление бутона, но и цветок обещать с гарантией, – родился в душе Дика мгновенно. Он отметил также отпечаток мокрой ступни на коврике за приоткрытой дверью ванной комнаты.

– Мисс Телевидение, – сказал Дик с легкостью, которой вовсе не ощущал. Он положил на туалетный столик перчатки и портфельчик, прислонил трость к стене. Властный подбородок его не позволял морщинкам страданий лечь вокруг рта, отгонял их наверх, к уголкам глаз, ко лбу, – как страх, который не следует показывать на людях.

– Подойди, присядь на мое колено, прижмись ко мне, – тихо попросил он, – дай мне полюбоваться твоим прелестным ртом.

Она подошла и села, и пока за окном замедлялась капель – кап... кааап... – прижалась губами к прекрасному, холодному образу, который сама же и создала.

Розмари несколько раз поцеловала его в губы, лицо ее разрасталось, приближаясь к лицу Дика; никогда еще не видел он чего-либо такого же ослепительного, как ее кожа, а поскольку красота иногда возвращает нас к лучшим нашим мыслям, он вспомнил о своей ответственности перед Николь, об ответственности за Николь, отделенную от него лишь двумя дверьми по другую сторону коридора.

– Дождь перестал, – сказал он. – Видишь солнце на черепицах?

Розмари встала, склонилась над ним и произнесла самые искренние ее за весь этот день слова:

– Ох, мы такие *актеры* – ты и я.

Она отошла к туалетному столику, однако, едва успела поднести щетку к волосам, как услышала неторопливый, настоящий стук в дверь.

Оба в ужасе замерли; упорный стук повторился, и Розмари, внезапно вспомнив, что дверь осталась не запертой, одним взмахом щетки покончила с волосами, кивнула Дику, чтобы тот быстро разгладил кроватное покрывало, на котором они сидели, и направилась к двери. Дик же сказал вполне естественно и не слишком громко:

– ...поэтому, если вам не по душе выходить сегодня, давайте проведем наш последний вечер тихо и мирно.

Предосторожности оказались излишними, поскольку те, кто стоял за дверью, пребывали в положении до того неприятном, что им было не до замечаний, пусть даже самых кратких, по

поводам, которые их не касались. А стояли там – Эйб, состарившийся за последние сутки на несколько месяцев, и очень испуганный, встревоженный темнокожий мужчина, которого Эйб представил как мистера Петерсона из Стокгольма.

– Из-за меня он попал в жуткий переплет, – сказал Эйб. – Нам нужен хороший совет.

– Пойдемте в наш номер, – предложил Дик.

Эйб настоял на том, чтобы и Розмари составила им компанию, и все пошли коридором к люксу Дайверов. Жюль Петерсон, невысокий, респектабельный, очень почтительный негр – в приграничных штатах такие голосуют за республиканцев – последовал за ними.

Вскоре выяснилось, что он официально числился свидетелем перепалки, которая произошла ранним утром на Монпарнасе; что сходил с Эйбом в полицейский участок и подкрепил его жалобу, согласно которой некий негр, установление личности коего стало целью начатого полицией расследования, вырвал у него из рук банкноту в тысячу франков. В сопровождении агента полиции Эйб и Жюль Петерсон возвратились в бистро и с опрометчивой поспешностью указали, как на преступника, на негра, который, что выяснилось несколько позже, появился там лишь после ухода Эйба. Полиция еще пуще запутала дело, арестовав известного негритянского ресторатора Фримена, который промелькнул в этой истории в самом начале, когда ее еще не окутал алкогольный туман, и тут же исчез. Подлинный преступник, всего-то и прикарманивший, по уверениям его друзей-приятелей, пятьдесят франков, которыми Эйб попросил его расплатиться за выпивку, появился на сцене лишь недавно и в роли несколько более зловещей.

Коротко говоря, Эйб ухитрился всего за час увязнуть в личных обстоятельствах, мыслях и эмоциях одного афроевропейца и трех афроамериканцев, проживавших во французской части Латинского квартала. Надежды выпутаться из этой истории у него пока не было даже и призрачной, и весь день перед ним в самых неожиданных местах и за самыми неожиданными углами возникали незнакомые негритянские лица, а настойчивые негритянские голоса требовали его к телефону.

Эйбу удалось улизнуть от всех этих негров – исключение составил Жюль Петерсон. Последний оказался в положении хорошего индейца, помогшего белому человеку. Пострадавшие от такой его измены негры гонялись не столько за Эйбом, сколько за Петерсоном, а тот гонялся как раз за Эйбом, на защиту которого очень рассчитывал.

У себя в Стокгольме Петерсон был мелким производителем сапожного крема, но прогорел, и теперь у него остался лишь рецепт крема и кое-какие инструменты его ремесла, уместившиеся в небольшую коробку. Однако новый его покровитель еще рано утром пообещал пристроить Петерсона к одному делу в Версале. Бывший шофер Эйба работал там сапожником, и Эйб авансом выдал Петерсону двести франков – в счет будущего заработка.

Розмари слушала этот вздор с неприязнью; для того, чтобы усмотреть в нем смешную сторону, ей попросту не хватало чувства юмора. Маленький человечек с его портативной фабричкой и лицемерными глазками, которые время от времени выкатывались от ужаса, показывая полукружья белков; Эйб с лицом, затуманенным настолько, насколько то допускали его изможденные тонкие черты, – все это было так же далеко от нее, как болезни и старость.

– Мне только шанс и нужен, – сказал Петерсон, выговаривая слова точно, но с неверной, присущей колониям интонацией. – Методы у меня простые, рецепт хорош настолько, что меня выжили из Стокгольма, разорили, потому что я не хотел его раскрывать.

Дик окинул его вежливым взглядом, ощутив некоторый прилив, а следом отлив интереса, и повернулся к Эйбу:

– Отправляйтесь в какой-нибудь отель и ложитесь спать. А как совсем протрезвеете, мистер Петерсон заглянет к вам и вы все обсудите.

– Но разве вы не понимаете, в какой он попал переплет? – возразил Эйб.

– Я подожду в коридоре, – предложил деликатный мистер Петерсон. – Возможно, вам будет трудно обсуждать мои проблемы при мне.

И он, изобразив короткую пародию на французский поклон, удалился. Эйб с неторопливостью локомотива поднялся на ноги.

– Похоже, я не очень популярен сегодня.

– Популярны, но ненадежны, – ответил Дик. – Мой вам совет: уходите из этого отеля – через бар, если угодно. Отправляйтесь в «Шамбор» или в «Мажестик», если вам требуется обслуживание получше.

– Выпить у вас не найдется?

– Мы в номере спиртного не держим, – солгал Дик.

Эйб безропотно протянул руку Розмари; он держал ее ладонь, медленно приводя в порядок свое лицо, пытаясь составить какую-нибудь фразу, но та не давалась ему.

– Вы самая... одна из самых...

Розмари жалела его и, хоть грязные руки Эйба были ей неприятны, издала вежливый смешок, словно давая понять, что не видит ничего необычного в человеке, медленно блуждающем во сне. Люди часто относятся к пьяному с непонятым уважением, примерно так же, как дикари к сумасшедшему. Скорее с уважением, чем со страхом. Человек, лишившийся всех сдерживающих начал, способный сделать что угодно, внушает порою завистливое почтение. Разумеется, впоследствии мы заставляем его дорого заплатить за этот миг впечатляющего превосходства над нами. Наконец Эйб повернулся к Дик с последней просьбой:

– Если я отправлюсь в отель и пропарюсь, и отскребусь, и немного посплю, и отражу набег сенегальцев, – можно мне будет прийти и скоротать вечерок у вашего очага?

Дик кивнул, не столько согласно, сколько насмешливо, и сказал:

– Вы явно переоцениваете ваши нынешние возможности.

– Готов поспорить, если б Николь была здесь, она разрешила бы мне прийти.

– Хорошо, – Дик достал из шкафа и поставил на стол в середине гостиной коробку, наполненную множеством картонных букв. – Если хотите поиграть в анаграммы, приходите.

Эйб заглянул в коробку с таким отвращением, точно ему предложили позавтракать этими буквами.

– Что еще за анаграммы? Мало мне сегодняшних чудес...

– Это такая тихая игра. Вы составляете из букв слова – любые, за исключением «выпивка».

– Уверен, вы и «выпивку» составить сможете. Могу я прийти, даже умея составлять «выпивку»?

– Вы можете прийти, если захотите поиграть в анаграммы.

Эйб покорно покачал головой.

– Ну, раз вы в таком настроении, тогда нет смысла... я вам только мешать буду, – и он осуждающе погрозил Дик пальцем. – Но не забывайте того, что сказал Георг Третий: если Грант напьется, хорошо бы он перекусал других генералов⁵⁹.

Он бросил на Розмари последний отчаянный взгляд из-под золотистых ресниц и вышел из номера. К его облегчению, Петерсона в коридоре не было. Ощущая себя всеми брошенным и бездомным, он отправился назад к Полю – спросить, как назывался тот корабль.

⁵⁹ Эйб все перепутал. Это Георг II, которому доложили, что победоносный генерал Джеймс Вольф – сумасшедший, сказал: «Хорошо бы он перекусал других моих генералов». Грант возник здесь в связи с любившим выпить генералом Улиссом Грантом. Когда после какой-то из одержанных им побед президенту Линкольну донесли, что Грант пьяница, президент поинтересовался, где он берет виски, пояснив, что желал бы послать по бочонку столь замечательного напитка каждому из своих генералов.

XXV

Когда он шаткой походкой удалился, Дик и Розмари коротко обнялись. Обоих покрывала парижская пыль, оба слышали сквозь нее запахи друг друга: каучука, из которого был изготовлен колпачок самописки Дика, чуть слышный теплый аромат шеи и плеч Розмари. С полминуты Дик оставался неподвижным, Розмари вернулась к реальности первой.

– Мне пора, юноша, – сказала она.

Оба, сощурилась, смотрели друг на друга сквозь расширявшееся пространство, а затем Розмари произвела эффектный выход, которому научилась в юности и которого ни один режиссер усовершенствовать даже и не пытался.

Открыв дверь своего номера, она напрямик направилась к письменному столу, потому что вспомнила вдруг, что оставила на нем наручные часы. Да, вот они, накинув браслетку на руку, Розмари опустила взгляд к сегодняшнему письму матери и мысленно закончила последнюю фразу. И только тут исподволь учуяла, даже не оглянувшись, что в номере она не одна.

В любой обжитой комнате найдутся преломляющие свет вещи, замечаемые нами лишь наполовину: лакированное дерево, более или менее отполированная медь, серебро и слоновая кость, а помимо них, тысяча передатчиков света и тени, столь скромных, что мы о них почти не думаем, – верхние планки картинных рам или фасетки карандашей, верхушки пепельниц, хрустальных либо фарфоровых безделушек; совокупность их рефракций, обращенная к столь же тонким рефлексам зрения, равно как и к тем ассоциативным элементам подсознания, за которые оно, судя по всему, крепко держится, – подобно тому, как стекольщик сохраняет куски неправильной формы стекла: авось когда-нибудь да пригодятся, – она-то, возможно, и отвечала за то, что Розмари описывала впоследствии туманным словом «учуяла», то есть поняла, что в номере она не одна, еще не успев в этом убедиться. А учуяв, быстро обернулась, произведя что-то вроде балетного пируэта, и увидела распростертого поперек ее кровати мертвого негра.

Розмари вскрикнула «ааааа!», так и оставшиеся не застегнутыми часы со стуком упали на стол, в голове ее мелькнула нелепая мысль, что это Эйб Норт, а затем она метнулась к двери и понеслась по коридору.

Дайверы наводили порядок у себя в люксе. Дик осмотрел перчатки, которые носил в этот день, и метнул их в уже скопившуюся в углу чемодана кучку других, грязных. Повесил в гардероб пиджак и жилет, аккуратно расправил на плечиках сорочку – обычное его правило: «Несвежую сорочку носить еще можно, мятую – никогда». Только что вернувшаяся Николь опустошала над мусорной корзиной нечто, приспособленное Эйбом под пепельницу, вот тут-то в дверь и ворвалась Розмари.

– *Дик! Дик!* Посмотрите, что там!

Дик трусцой добежал до номера Розмари. Там он опустился на колени, чтобы послушать сердце Петерсона и пощупать его пульс – тело было еще теплым, лицо, при жизни изнуренное и криводушное, стало в смерти грубым и горестным; коробка с материалами так и осталась зажатой под мышкой, но ботинок на свисавшей с кровати ноге был не чищен и подошва его протерлась до дырки. По французским законам Дик не имел права прикасаться к телу, тем не менее он немного сдвинул руку Петерсона – посмотреть, что под ней, – да, на зеленом покрывале появилось пятно, след крови останется и на одеяле.

Дик закрыл дверь, постоял, размышляя; но тут из коридора донеслись осторожные шаги и голос позвавшей его Николь. Приотворив дверь, он прошептал:

– Принеси с одной из наших кроватей *couverture*⁶⁰ и одеяло и постарайся, чтобы никто тебя не заметил. – А затем, увидев, как застыло ее лицо, быстро добавил: – Послушай, не расстраивайся, тут всего лишь нигтеры передрались.

– Побыстрее бы все кончилось.

Тело, снятое Диком с кровати, оказалось тощим и легким. Дик держал его так, чтобы еще текшая из раны кровь оставалась внутри одежды. Уложив тело рядом с кроватью, Дик сорвал с нее покрывало и верхнее одеяло, потом подошел к двери, приоткрыл ее на дюйм, прислушался – звон тарелок в конце коридора, громкое, снисходительное «Мерси, мадам», затем официант стал удаляться в сторону служебной лестницы. Дик и Николь быстро обменялись в коридоре охапками одеял. Расстелив покрывало поверх постели Розмари, он постоял в теплых сумерках, обливаясь потом и прикидывая, что делать дальше. Некоторые моменты прояснились для него сразу после осмотра тела: прежде всего, один из плохих индейцев Эйба шел по пятам за индейцем хорошим и застукал его в коридоре, а когда тот, испугавшись, попытался укрыться в номере Розмари, ворвался туда и зарезал несчастного; далее, если позволить ситуации развиваться естественным порядком, на Розмари ляжет пятно, которого никакая сила на свете смыть не сумеет – дело Арбакла⁶¹ было еще у всех на слуху. Ее контракт со студией строго и неукоснительно требовал, чтобы она не выходила из образа «папенькиной дочки».

Машинально попытавшись засучить рукава, хотя рубашка на нем была нижняя, безрукавная, Дик склонился над телом, ухватился за плечи его пиджака, ударом каблука распахнул дверь, выволок тело в коридор и постарался придать ему правдоподобную позу. Потом вернулся в номер Розмари, разгладил ворс плюшевого ковра. И наконец, перейдя в свой люкс, позвонил управляющему отеля.

– Мак-Бет? – говорит доктор Дайвер, очень важное дело. Нас никто не может услышать?

Хорошо, что он предпринял некогда усилия, позволившие ему крепко подружиться с мистером Мак-Бетом. Хоть какая-то польза от безоглядности, с которой он норовил сделать что-либо приятное сколь возможно большему числу людей...

– Мы вышли из нашего номера и наткнулись на мертвого негра... в коридоре... нет-нет, не из ваших служащих. Подождите минутку... я понимаю, вы не хотите, чтобы кто-то из постояльцев увидел его, потому вам и звоню. Разумеется, я должен попросить вас не упоминать мое имя. Мне вовсе не хочется, чтобы французские бюрократы вцепились в меня мертвой хваткой лишь потому, что это я обнаружил тело.

Какое исключительное внимание к интересам отеля! Уже потому, что мистеру Мак-Бету довелось два дня назад своими глазами увидеть, как проявлял его доктор Дайвер, он готов поверить его рассказу, не задавая вопросов.

Мистер Мак-Бет появился через минуту, спустя еще минуту к нему присоединился жандарм. До этого мистер Мак-Бет успел прошептать Дикю: «Будьте уверены, мы стоим на защите доброго имени каждого из наших клиентов. Я могу лишь поблагодарить вас за ваши усилия».

Мистер Мак-Бет без промедления предпринял единственный шаг, какой ему оставался, и шаг этот заставил жандарма подергать себя за усы в приливе неловкости и корыстолюбия. Он небрежно и коротко записал что-то в блокнот, позвонил в свой участок. Тем временем останки Жюля Петерсона перенесли – с поспешностью, которую он, как человек деловой, разумеется, оценил бы – в пустовавший номер одного из самых фешенебельных отелей мира.

Дик возвратился в свой люкс.

– Но что же случилось? – воскликнула Розмари. – Неужели все американцы Парижа только и знают, что стрелять друг в друга?

⁶⁰ Покрывало (*фр.*).

⁶¹ Роско «Толстяк» Арбакл (1887–1933) – популярнейший американский комик немого кино. В 1921 году его обвинили в изнасиловании и непредумышленном убийстве актрисы Вирджинии Рапп. Последовал запрет на его фильмы. Суд присяжных оправдал Абракла, запрет был снят, но больше его в кино практически не снимали.

– Похоже, открылся сезон охоты, – ответил Дик. – А где Николь?

– По-моему, в ванной.

Дик спас Розмари, и она обожала его за это – грозные, как пророчества, картины кошмаров, которые могли последовать за случившимся, одна за другой мелькали в ее голове; и улаживавший все сильный, уверенный, учтивый голос Дика она слушала в истовом преклонении перед ним. Но прежде, чем она рванулась к нему душой и телом, внимание ее отвлекло нечто иное: он вошел в спальню и направился к ванной комнате. И теперь Розмари слышала также поток звучавших все громче и громче каких-то нечеловеческих слов, проникавший сквозь замочные скважины и щелки дверей и разливавшийся по люксу, и на нее снова напал ужас.

Розмари поспешила за Диком, решив, что Николь упала в ванной и расшиблась. То, что она увидела, прежде чем Дик бесцеремонно оттолкнул ее плечом и заслонил всю картину, оказалось совершенно иным.

Николь стояла на коленях перед ванной и раскачивалась из стороны в сторону.

– Это ты! – кричала она. – Ты явился, чтобы отнять единственное уединение, какое у меня есть, явился с окровавленным покрывалом. Ладно, я буду ходить в нем ради тебя – я не стыжусь, но как жаль, как жаль! В День Всех Дураков мы устроили на Цюрихском озере вечеринку, все дураки были там, я хотела выйти к ним в покрывале, но мне не позволили...

– Возьми себя в руки!

– ...и я сидела в ванной, а они принесли мне домино и сказали: надень это. Я надела. А что мне оставалось?

– Возьми себя в руки, Николь!

– Я и не ждала, что ты полюбишь меня, – слишком поздно, но ты хоть в ванную не лезь, в единственное место, где я могу побыть одна, не притаскивай сюда покрывала в крови и не проси меня постирать их.

– Возьми себя в руки. Встань...

Вернувшись в гостиную, Розмари слышала, как захлопнулась дверь ванной, и замерла, дрожа: теперь она знала, что увидела на вилле «Диана» Виолетта Мак-Киско. Зазвонил телефон, она взяла трубку и почти вскрикнула от облегчения, услышав голос Коллиса Клэя, проследившего ее до люкса Дайверов. Розмари попросила его подняться, подождать, пока она сходит за шляпкой, ей было страшно войти в свой номер одной.

Часть вторая

I

Когда весной 1917 года доктор Ричард Дайвер впервые приехал в Цюрих, ему было двадцать шесть лет – для мужчины возраст прекрасный, а для холостяка так и наилучший. И даже в военное время хорош он был и для Дика, уже приобретшего слишком большую ценность, стоившего стране расходов слишком серьезных, чтобы ставить его под ружье. Годы спустя ему представлялось, что и в этом прибежище он пребывал не в такой уж безопасности, однако в то время подобная мысль в голову Дикю не приходила, – в 1917-м он с виноватой усмешкой говорил, что война никак его не коснулась. Призывная комиссия, к которой был приписан Дик, постановила, что ему надлежит завершить в Цюрихе научные исследования и получить ученую степень – как он, собственно, и задумал.

Швейцария была в то время островом, омываемым с одного бока грозой, грохотавшей над Горицией, а с другого – хлябями Соммы и Эне. Поначалу казалось, что в ее кантонах подзрительных иностранцев больше, чем недужных, однако догадаться, в чем тут причина, было трудно – мужчины, шептавшиеся в кафе Берна и Женевы, были, скорее всего, продавцами алмазов или коммивояжерами. Впрочем, никто не мог не заметить и сновавшие навстречу друг другу между веселыми озерами – Боденским и Невшатальским – длинные поезда, нагруженные слепыми, одноногими и умирающими людскими обрубками. На стенах пивных и в витринах магазинов висели яркие плакаты, которые изображали швейцарцев, обороняющих в 1914 году свои границы, – молодые и старые, они с вдохновенной свирепостью взирали с гор на химерических французов и немцев; назначение плакатов состояло в том, чтобы уверить душу швейцарца: прилипчивое величие этих дней не обошло и тебя. Однако бойня продолжалась, плакаты выцветали, и, когда в войну топорно ввязались Соединенные Штаты, никто не удивился сильнее, чем их республиканская сестричка.

К этому времени доктор Дайвер успел побывать на самом рубеже войны и даже заглянуть за него: 1914-й он провел в Оксфорде как коннектикутский стипендиат Родса. Потом вернулся на родину, чтобы проучиться последний год в университете Джона Хопкинса и получить степень магистра. В 1916-м Дик ухитрился перебраться в Вену, полагая, что, если он не поспешит, великий Фрейд может погибнуть от взрыва сброшенной аэропланом бомбы. Вена и тогда уже устала от смертей, но Дикю удалось раздобыть достаточно угля и нефти, чтобы сидеть в своей комнате на Даменштифф-штрассе и писать статьи, – впоследствии он их уничтожил, однако, переработанные, они составили костяк книги, опубликованной им в Цюрихе в 1920-м.

У большинства из нас имеется любимый, героический период нашей жизни – венский был таким для Дика Дайвера. Прежде всего он и понятия не имел о том, что ему присуще огромное обаяние, что расположение, которое он испытывает к людям и возбуждает в них, есть явление не столь уж и рядовое в среде здоровых людей. В последний его нью-хейвенский год кто-то отозвался о нем так: «счастливчик Дик» – и прозвище это застряло у него в голове.

– Ты большой человек, счастливчик Дик, – шептал он себе, расхаживая по комнате среди последних брикетов тепла и света. – Ты попал в самую точку, мой мальчик. А до тебя никто о ее существовании и не ведал.

В начале 1917 года, когда добывать уголь стало трудно, Дик сжег около сотни накопленных им научных монографий; и когда он бросал в огонь каждую из них, в нем посмеивалась уверенность, что он сам обратился в ее резюме, что сможет и пять лет спустя кратко изложить ее содержание, если оно того стоит. Так он и расхаживал час за часом – мирный ученый с

половичком на плечах, ближе всех подошедший к состоянию неземного покоя, которому, о чем будет рассказано дальше, предстояло вскоре сойти на нет.

Впрочем, покамест покой длился, и Дик благодарил за это свое тело, которое в Нью-Хейвене вытворяло чудеса на гимнастических кольцах, а ныне плавало в зимнем Дунае. Квартирку он делил с Элкинсом, вторым секретарем посольства, к ним часто заходили две милые гости – ну и довольно об этом, много будете знать, скоро состаритесь (последнее относилось к посольству). Разговоры с Эдом Элкинсом пробудили в Дике первые легкие сомнения в качестве его мыслительного аппарата: ему никак не удавалось увериться в коренном отличии своих мыслей от мыслей Элкинса, – человека, способного перечислить всех квотербэков, выступавших за Нью-Хейвен в последние тридцать лет.

– ...Не может же счастливчик Дик быть заурядным умником, ему потребна меньшая цельность и даже легкая ущербность. И если жизнь не наградила его таковыми, никакая болезнь, разбитое сердце или комплекс неполноценности тут не помогут, хоть ему и приятно было бы восстанавливать некую поломанную часть его устройства, пока она не станет исправнее прежней.

Дик посмеивался над собой за подобные рассуждения, именуя их лицемерными и «американскими» – как называл он любое безмозглое фразерство. Но при этом знал: расплатой за его цельность была неполнота.

«Бедное дитя! – говорит в Теккереевом «Кольце и розе» фея Черная Палочка. – Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод»⁶².

В определенном настроении он жаловался сам себе: «Ну что я мог поделать, если Пит Ливингстон весь «День отбоя»⁶³ прятался в раздевалке, и как его, черта, ни искали, все равно не нашли? Вот и выбрали меня вместо него, а иначе не видать бы мне «Элайху»⁶⁴ как своих ушей, я там и не знал, почитай, никого. По справедливости-то, в раздевалке *мне* самое место было, а Питу в братстве. Я, может, и спрятался бы в ней, если б думал, что меня могут избрать. Да, но ведь Мерсер несколько недель заглядывал что ни вечер в мою комнату. Ну ладно, хорошо, знал я, что шансы у меня есть. Лучше бы я проглотил в душевой мой университетский значок и лишний комплекс заработал, вот и была бы мне наука».

В университете он после лекций часто беседовал на эту тему с молодым румынским интеллектуалом, и тот успокаивал Дика: «Нет никаких доказательств того, что у Гёте имелся какой-либо «комплекс» в нынешнем смысле этого слова – или, скажем, что он есть у Юнга. Ты же не философ-романтик, ты ученый. Память, сила, характер – и прежде всего здравый смысл. Знаешь, в чем будет состоять твоя проблема? – в самооценке. Я знавал человека, который два года отдал исследованиям мозга армадилла, идея была такая, что рано или поздно он узнает об этом мозге больше, чем кто-либо другой на свете. Я пытался доказать ему, что он вовсе не расширяет круг человеческих познаний, что выбор его сделан наобум. И разумеется, он послал статью в медицинский журнал и получил отказ – журнал отдал предпочтение чьим-то коротким тезисам на ту же тему».

Когда Дик приехал в Цюрих, у него имелась далеко не одна ахиллесова пята – на полное оснащение сороконожки, пожалуй, не хватило бы, но их было много – иллюзии неисчерпаемой силы и здоровья, иллюзии сущностной доброты человека; иллюзии касательно своей страны – наследие вранья целых поколений первопроходцев, а вернее, их жен, которым приходилось убаюкивать своих деток уверениями, что никаких волков за дверьми их хижин днем с огнем не

⁶² У. М. Теккерей «Кольцо и роза, или История принца Обалду и принца Перекориля» (Пер. Р. Н. Померанцевой).

⁶³ В конце учебного года в Йеле празднуется «День отбоя» (Tap Day), во время которого студентов младших курсов выбирают членами трех тайных обществ старшекурсников.

⁶⁴ «Элайху» – тайное общество старшекурсников Йельского университета. Названо в честь Элайху Йеля, одного из основателей университета.

сыскать. А после получения докторской степени его отправили на работу в неврологический госпиталь, который создавался тогда в Бар-сюр-Обе.

Работа во Франции оказалась, к неудовольствию Дика, скорее административной, чем практической. Зато у него появилось время, чтобы закончить короткую монографию и собрать материал для следующей. Весной 1919-го он вышел в отставку и вернулся в Цюрих.

Все рассказанное нами до сей поры отдает биографией выдающегося человека, читатель которой лишен приятной уверенности в том, что герой ее, подобно Гранту, застрявшему в лавчонке Галены⁶⁵, более чем готов откликнуться на призыв своей головоломной судьбы. Так, случайно увидев юношескую фотографию человека, которого знаем сложившимся, зрелым, мы приходим в замешательство и с изумлением вглядываемся в лицо пылкого, гибкого, крепкого незнакомца, в его орлиный взор. И потому самое лучшее – заверить читателя, что в жизни Дика Дайвера уже наступил решающий час.

⁶⁵ Улисс Грант (1822–1885), прослужив в армии с 1843 по 1854 г., ушел в отставку в чине капитана. Некоторое время он занимался фермерством, а потом переехал в городок Галена, где до начала Гражданской войны работал в кожевенной лавке отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.